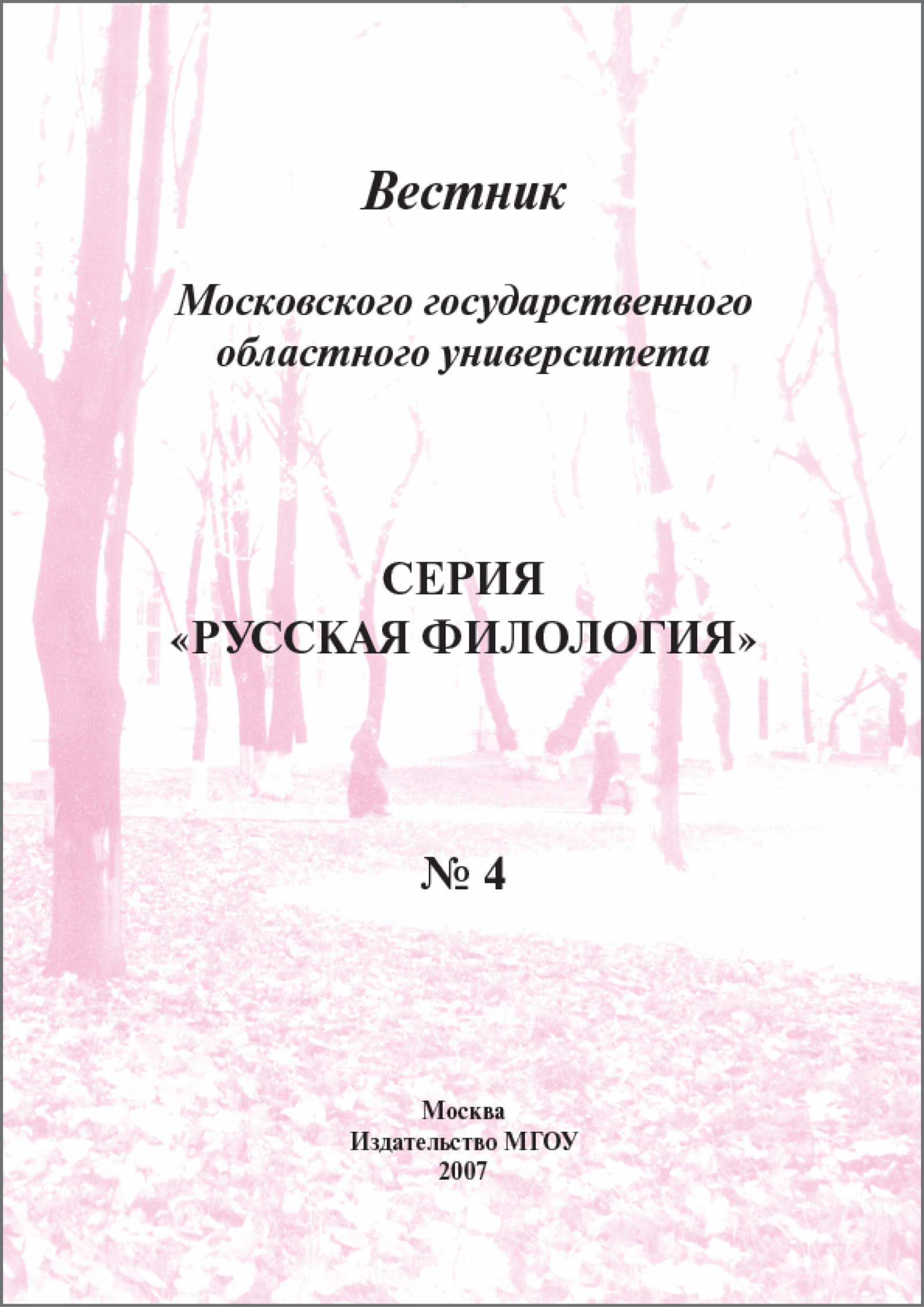


The background of the cover is a photograph of a park. In the foreground, there are many fallen leaves on the ground. Several trees with bare branches stand in the middle ground. In the background, a light-colored building with windows is visible through the trees.

Вестник

***Московского государственного
областного университета***

**СЕРИЯ
«РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»**

№ 4

Москва
Издательство МГОУ
2007

Вестник

*Московского государственного
областного университета*

**СЕРИЯ
«РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»**

№ 4

**Москва
Издательство МГОУ
2007**

**Вестник
Московского государственного
областного университета**

Научный журнал основан в 1998 году

Редакционно-издательский совет:

Пасечник В.В. – председатель, доктор педагогических наук, профессор
Дембицкий С.Г. – зам. председателя, первый проректор, проректор по учебной работе,
доктор экономических наук, профессор
Коничев А.С. – доктор химических наук, профессор
Лекант П.А. – доктор филологических наук, профессор
Макеев С.В. – директор издательства, кандидат философских наук, доцент
Пусько В.С. – доктор философских наук, профессор
Яламов Ю.И. – проректор по научной работе и международному сотрудничеству,
доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия серии «Русская филология»:

Лекант П.А. – доктор филологических наук, профессор (ответственный редактор)
Шаповалова Т.Е. – доктор филологических наук, профессор (зам. ответственного редактора)
Алексеева Л.Ф. – доктор филологических наук, профессор
Аношкина В.Н. – доктор филологических наук, профессор
Копосов Л.Ф. – доктор филологических наук, профессор
Леденёва В.В. – доктор филологических наук, профессор

Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – № 4. – 2007. – М.: Изд-во МГОУ.
– 207 с.

Вестник МГОУ (все его серии) является рецензируемым и подписным изданием, предназначенным для публикации научных статей докторантов, а также аспирантов и соискателей (См.: Бюллетень ВАК № 4 за 2005 г., с. 5).

В «Вестнике» могут публиковаться статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений.

ISBN 978-5-7017-1216-2

© МГОУ, 2007

© Издательство МГОУ, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

К.А. Войлова

Русь, Россия — культурологические феномены в русской языковой картине мира6

И.В. Замятина

Синтаксическая парадигма причастия13

В.Г. Лебединская

О некоторых вопросах истории изучения метрологической лексики в контексте изучения истории метрологии17

П.А. Лекант

Нейтрализация отрицания в грамматической системе и в речи20

Е. М. Маркова

Динамические процессы в лексике русского языка новейшего времени24

Т.М. Свиридова

Значение определений в квалификации согласия/несогласия32

И.В. Шамшин

О некоторых наименованиях государственных учреждений России Петровской эпохи42

О.В. Шаталова

Бытие и быт в философско-публицистическом произведении Николая Бердяева «Судьба России»46

*Публикации аспирантов***В.А. Алдатова**

Выражение характеристики и оценки действия в художественном тексте (на материале глаголов речи)50

И.В. Барановская

Заимствованная терминология отечественной психолингвистики54

В.А. Влайкова

Метафоры в названиях профессий на базе стереотипов58

Н. С. Куприянова

Языковая репрезентация смеха и смеховых состояний в русском языке61

О.В. Малоземлина

Названия пирогов в камчатских говорах65

С.Г. Михейкина

О проведении ассоциативного эксперимента и создании ассоциативного словаря русского языка на материале экспрессивных газетных заголовков отечественных печатных изданий 2002 — 2007 гг.69

Г.А. Мусатова

Сложносочинённые предложения с уступительной семантикой75

Е.И. Попова

Формы имен и проблема выбора именований в студенческой речевой коммуникации78

Г.А. Родионова

Разновидности художественного стиля в русском литературном языке82

Е.Г. Савельева	
О лексико-семантической группе глаголов движения в русском языке	87
Д.А. Савостина	
Употребление предикатива в русской литературе первой половины XX века	91
А.А. Сивцова	
Женские имена в лирике Н.И. Рыленкова	95
С.Н. Сорокина	
Хантыйский субстрат в гидронимии Среднего Приобья	100
И.Л. Старикова	
Основные тематические группы агнонимической лексики старшеклассников (на материале программных художественных произведений)	104
О.Н. Терентьева	
Компоненты оценочной семантики в бисубстантивном предложении	107
Д.Б. Чугаев	
Восточнославянские обрядовые наименования, обозначающие участников сватовства	112

ЛИТЕРАТУРА

А.А. Кунарев	
Панфил Харликов (заметки об антропонимике «Евгения Онегина»)	116
С.Н. Лебедева	
Разновидности сказа в повествовательной системе рассказов И.М. Касаткина	131
О.Б. Сокурова	
Символ в теоретических статьях Андрея Белого и Вячеслава Иванова	137
А.В. Шмелёва	
Русская историческая драматургия конца XVIII — начала XIX веков. Н.И. Гнедич	146
С. А. Щербаков	
Образы ели и сосны в творчестве Николая Клюева	153

Публикации аспирантов

О.М. Байзакова	
«История о великом князе Московском» как пример разрушения сакрального образа царя в литературе XVI века	159
Е.А. Гринчук	
«Винтерспелът» А. Андерша: пространственная характеристика романа	165
Т.С. Жилина	
Жизнь Стивена Дедала как пространство пути в романе Дж. Джойса «Портрет художни- ка в юности»	169
С.А. Моркунов	
Традиции Г. Дж. Уэллса в русской фантастической прозе начала XX века	173
Е.В. Никольский	
«Царское посольство» Всеволода Соловьёва как исторический нравоописательный роман	177
Т.В. Перфильева	
«Он со мной, тоже наш, самый русский, из Сарова...» (Серафим Саровский в художест- венном восприятии Ивана Шмелева)	181
О.А. Платонова	
Чеховские начала в прозе И.С. Шмелева (по рассказу И.С. Шмелева «Свет разума») ..	187

А.Ю. Слепнёва

Творчество Гюнтера Грасса и поэтика абсурда191

Е.А. Терехова

Проблема детского чтения в публицистике и критике Н.С. Лескова195

РЕЦЕНЗИИ

В.В. Леденёва

Рецензия на книгу «Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика. Стилистика: Избранные труды: Учеб. пособие/ А.М. Пешковский; Сост. и науч. редактор О.В. Никитин. – М.: Высшая школа, 2007. – 800 с., ил. (Серия “Лингвистика XX в.”)»199

ИНФОРМАЦИЯ

Т. Е. Шаповалова

Научная конференция в Московском государственном областном университете204

РУССКИЙ ЯЗЫК

К.А. Войлова

РУСЬ, РОССИЯ – КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

*О, светло светлая и красно украшенная земля Русская!
Многими красотами дивишь ты: озерами многими,
дивишь ты реками и источниками местнотимыми,
горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми,
полями дивными, зверьми различными,
птицами бесчисленными, городами великими,
селами дивными, боярами честными,
вельможами многими – всего ты исполнена,
земля Русская, о правоверная вера Христианская!*

Слово о гибели Русской земли

Оппозиция *Русь* ↔ *Россия* формировалась в русском языковом сознании на протяжении целых веков, ее природа связана с Христианским осознанием мира вообще и с замыслом Божиим о Руси в частности. Что такое *Святая Русь*, *Золотая Русь*, *Серебряная Русь*? Почему в XX в. *Русь* превращается в *Россию*, а эпитеты *святая*, *золотая*, *серебряная* заменяются эпитетом *железная* (*Железная Россия*)? Почему в русском языковом сознании утверждается сосуществование лексем *русский* < *Русь* и *Россия* как единиц одного лексико-словообразовательного гнезда?

Историософ А.Л. Казин пишет: «Русь Киевская и Московская суть именно Золотая Русь, воспринявшая благовестие Христа и пытавшаяся осуществить его в своем земном устройении» [1]. Петровская эпоха – начало новой истории Руси – она превращается в *Серебряную Русь*, когда со смертью патриарха Адриана Петр заменил Патриарший престол на Руси Департаментом духовных дел – Синодом. Насаждая на Руси западноевропейский абсолютизм, Петр превращал Русскую Церковь в институт государственного устройства, в одну из служебных структур. «При Петре официальная Россия перестала быть Святой Русью, обернувшись чем-то средним между конторой и казармой...», – замечает А.Л. Казин [2]. История *Железной России* началась с расстрела *Руси Серебряной*:

*Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь...*

А. Блок

И эта же история продолжается технологическими и экономическими заботами социума: жить по выгоде, корыстно, рассудочно, богато, обеспеченно; жить для себя, по закону человеческих страстей и желаний – нерусская идея *России* с такими гражданами – торжествует! Однако история Государства Российского еще не закончена... «Меч и золото попеременно искушали Россию в

разных личинах, но каждый раз она переобращала их в Крест, с которым шла вслед за Спасителем» [3].

Религиозно-культурная антиномия *Русь* ↔ *Россия* является своеобразной матрицей для лингвистической версии истории оппозиции *Русь* ↔ *Россия*, а также для объяснения сосуществование в одном семантическом и словообразовательном поле лексем *русский* и *Россия*, выяснение происхождения корневых морфем которых является одной из актуальнейших проблем русского и зарубежного языкознания. Эта проблема интересует нас только в том плане, что с некоторой долей вероятности можно предположить: морфема *рус-*, будучи единицей живой речи восточнославянского происхождения, в едином семантическом пространстве столкнулась с морфемой *рос-* – единицей книжного неславянского по происхождению языка.

Были выдвинуты самые многочисленные гипотезы, связывающие название *Русь* с разнообразными этническими и географическими объектами, но в научном отношении мы можем считаться только с двумя основными концепциями: «северною», или концепцией «внешнего» происхождения этнонима, и «южною», или концепцией «автохтонного» происхождения имени *Русь* (имеется в виду территориальный принцип).

Первая концепция привлекает сторонников главным образом из рядов последователей так называемой норманнской теории, хотя в более редких случаях к ней примыкают и антинорманисты, признающие славянский характер северной Руси или указывающие на ничтожность норманнского элемента в процессе образования Русского государства.

Среди «северных» концепций о происхождении этнонима *Русь* выделяют норманнские (варяжскую и собственно норманнскую), кельтскую, готскую, полабско-поморскую, прусско-литовскую и латинскую. Варяжская и норманнская концепции опираются на данные «Повести временных лет» о призвании на Русь в 862 году варягов во главе с братьями Рюриком, Синеусом и Трувором северными славянскими и финскими племенами. А.А. Шахматов в своих исследованиях установил сравнительно позднее происхождение и искусственный характер рассказа об основании варягами Древнерусского государства [4]. Опроверг варяжскую концепцию также известный русский историк С.А. Геденов [5].

Норманнская концепция теснейшим образом связана с варяжской и вытекает из нее. Эта гипотеза опирается на двоякого рода аргументацию, лингвистическую и историческую. Первую из них обстоятельно рассмотрел И.П. Шаскольский [6]. Как и варяжская гипотеза, норманнская концепция опирается на известия русской летописи о призвании варягов на Русь, а также на описанный в той же летописи путь из варяг в греки и связанные с ним имена Днепровских порогов, приведенные Константином Багрянородным. Ученые рассматривают также известия византийских писателей о варягах и Руси, сообщение Вертинских анналов, летописей о трех русских послах и данные Литупранда о руссах-норманнах, а также известия арабских писателей и скандинавских саг. Большую роль в доказательстве связи Руси с норманнами играют рассматриваемые норманистами имена русских князей и дружины, в особенности по договорам Олега и Игоря (имена варяжского происхождения). Доказательством служат также позднейшие связи русских князей со скандинавами. Лингвистическим же доказательством норманнского происхождения

Руси является финское название шведов и Швеции *Ruotsi (Rodsi)*, восходящее к шведскому названию морского побережья Рослаген. Норманисты следуют схеме: *Ro(d)slagen – Ruotsi – Русь*, которая была подвергнута довольно резкой критике сторонниками «южной» концепции.

Было и такое предположение, что слово *Русь* – не заимствование из финского *Ruotsi*. Считали, что оба названия, хотя и родственные между собой, могли развиваться независимо одно от другого из одной основы, причем проникновение в финские языки общей исходной формы должно было произойти очень давно. Для гипотезы о независимом развитии слов *Русь* и *Ruotsi* из одного корня нет никаких данных. Финские и славянские языки относятся к разным языковым семьям. Ограниченность лексического гнезда слова *Ruotsi* в финском языке указывает на его вероятное заимствование, а не на исконно финское происхождение. Точно также употребление термина *Русь* исключительно в сфере этнонимии и топонимии противоречит его исконно славянскому происхождению. Что же касается роли причерноморских готов в возможном переносе термина *Русь* на север, то ни археологические материалы, ни письменные источники не содержат никаких сведений о контактах этих готов в VI–XI вв. с прибалтийскими и северными областями Руси.

С точки зрения норманнской концепции нужно считаться с двумя гипотезами: или название *Русь* первоначально определяло норманнов, которые действовали в Восточной Европе, а затем было перенесено также и на славян в силу их политических связей с норманнами, или же оно было местом происхождения и в определенный момент стало означать и тех норманнов, которые вступили в союз со славянской *Русью*. Вторая возможность полностью согласуется с теорией внутреннего генезиса русского государства, первая же не свидетельствует как таковая о решающей роли норманнов в этом процессе.

Можно предположить, что местное государство стало называться Русью, напр., от династии норманнского происхождения. Тем не менее, скандинавское происхождение обсуждаемого названия подчеркивало бы пусть и второстепенную, но в этом случае очень важную роль норманнов в процессе создания восточнославянского государства, в то время как доказательство древнего и местного происхождения этого названия и принятия его норманнами развеяло бы еще одну иллюзию норманистов о вкладе скандинавских пришельцев в историю строительства русского государства.

Кельтская гипотеза о происхождении этнонима *Русь* опирается на так называемый список народов Афетова колена в «Повести временных лет», где народ «русь» располагается между готами и англами: «Афетово бо и то колено: варязи, свей, урмане, русь, ангяне, галичане, вольхва, римляни. немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочий...» («Повесть временных лет», 1864, 10). Таким образом, *русь* – южноприбалтийский народ, отличный от собственно скандинавов.

На легенду о призвании варягов на Русь опирается и так называемая латинская гипотеза. С этнонимом *Русь* сопоставляли латинское *rus-, ruris* (род. п.) ‘село, хутор, местность, деревня’. *Русь* связывали также с летописным именем *Рюрикъ // Рурикъ*. Это имя сближается с формой родительного падежа латинского слова *rus*, при этом ученые опирались на данные летописи: «...отъ вожа, си есть князя ... Рурика сіе имя пріятъ Русь ... якоже Ляхи отъ Леха, Чехи от Чеха ... Сице и наша Русь отъ Рурика князя своего, иже из Рускія земле къ намъ пришедъ» (ПСРЛ, 1843, 236).

Одной из самых интересных гипотез «внешнего» происхождения названия *Русь* является так называемая полабско-поморская, или западнославянская, концепция (иногда ее называют «западной версией» в противовес уже существующим классическим «северной» и «южной»). Сторонники этой гипотезы считают, что этноним *Русь* первоначально бытовал на западных славянских землях (бассейн нижнего течения реки Лабы, Одры, Вислы и бассейны Немана и Западной Двины). Поморскую Русь помещали в разных местах указанной территории, например, в области славянского племени вагров, близ границы государства Каролингов. Но большинство исследователей связывали Поморскую Русь с островом Рюген в балтийском море (лат. Rugin, нем. Rugen, польск. Rapa – из древнего славянского имени Ruĭana и т.д.). Среди западнославянских племен раны (ружане, рушане, руяне, рус(с)ы, руги) были известны своей храбростью. В то же время историкам средневековья было знакомо племя ругии, которое они относили к германцам (готам), выходцам из Скандинавии.

Гипотезы «южного», или «автохтонного», происхождения этнонима *Русь*, занимают очень большое место в концепциях антинорманистов. Эти гипотезы обнаруживают в сравнении с «северными» не меньшую зависимость от соответствующих этноисторических концепций. Идущее еще от М.В. Ломоносова, развитое в XIX в. и начале XX в., в особенности С.А. Геденовым, Д.И. Иловайским, М.С. Грушевским, А.А. Пархоменко и др., это представление было поддержано в 30-50-х годах крупными советскими историками. Советская историческая наука серьезно обосновала тезис о внутреннем развитии древнерусского государства в Среднем Поднепровье, согласно которому существовавшая до Киевского государства цепь общественных образований (VI-IX вв.) привела к возникновению в IX в. славянского государства в южнорусских степях, чему также способствовало ослабление хазарского господства на указанной территории.

Некоторые исследователи связывали этноним Русь с русским словом *русый* (цвет волос). Это так называемая «русская» концепция, которая понимает *Русь* как собирательное имя со значением «скопление рыжих, русоволосых людей». Слово имеет такую же словообразовательную структуру, как слова *чернь*, *синь*, *зелень*. Опирается эта точка зрения на данные летописи: «*Отъ русыхъ власовъ, понеже въ сей стране изъ сицевими власы мнози обретаются*».

Лексема с корнем *рос-* возникла в к н и ж н о м языке в византийской традиции обозначения реалий. Она же повлияла, вероятно, и на *hros* сирийского автора, и на ранние западнославянские сведения. На Руси эта огласовка не была известна до XV в.

Итак, все вышеперечисленные точки зрения на происхождение морфем *рус-/рос-* наглядно указывают на письменное происхождение корня *рос-* и на живой источник корня *рус-*. Подтверждением этому служит заявление М. Сюзюмова: «Известно, что византийские авторы никогда не употребляли названия «рус», а всегда писали «рос» (‘Ρως). В русских летописях, наоборот, нет названия «рос». Даже в том случае, когда летописец заимствует непосредственно из греческой хроники известие о нападении народа ‘Ρως на Константинополь при императоре Михаиле, термин переводится «Русь» [7]. Далее М. Сюзюмовым сделана ссылка: «Лаврентьевская летопись, 1926, стр.17: «яко при сем цари прихидима Русь на Црьград, яко же пишеться в летописаньи гречестемь». Подобным же образом греческое ‘Ρως передается словом «Роусь» в славянском

переводе хроники Георгия Амартола (Истрин, Хроника Амартола, 1, 511 и II, II)». «Интересно выяснить, – пишет М.Сюзюмов, – как появилась буква ѿ в словах ‘Рѡс’, ‘Рѡсїа’? Как в действительности называли себя русские IX и X вв.: «рос» или «рус»? Можно утверждать с полной уверенностью, что древние русские никогда себя «россами» не называли; в древних памятниках русского языка подобного слова нет» [8].

Таким образом, корни *рос-* / *рус-* в праславянский и дописьменный восточнославянский периоды русского языка изначально стали различаться звуковым составом, значением, ареалом распространения. Об этом свидетельствуют:

1. Данные памятников славянской письменности и различные исторические сведения в трудах византийских авторов в IX – X вв., где никогда не употреблялось олово *рус-*, только *рос-*. В памятниках древнерусской письменности обнаруживаем только слова с морфемой «*рус*»: *Азѣ Стославѣ князь Рускии*... /Дог.Свят. 971г./; ... *и ходи Игорь ротѣ и мужи его и елико поганья Руси а хртѣяную Росѣ водиша в цркви стго Ильи* /Пов.вр.л. по Ип.сп. 6452 г./; *А городовъ оу Руской земли новыхъ не ставити, ни сожъженого не рубити, доколя мирѣ стоитъ* /Дог.гр. 1349г./; ... *аще кто оумреть, не оурядивъ своего имѣнь...*, *да възвратитъ имѣнь к малымъ ближикамъ в Русь* /Дог.Ол. 911г./; ...*повелѣ в Лячкихъ божницахъ Рускимъ попомъ свою службу служити, а в Рускихъ церквахъ капланомъ* /Новг. 1л, 6949г. по Арх. сп./; *Русьская земля словеть Полочкая* ... /Грам.Герд. к Пол. 1264г./ ... *и еще есмь и Роускои земли приказаль стеречи тобѣ* /Ип.л. 6657г./; *Погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую* /Сл. плк. Игор./ и т.д.

2. Данные топонимики. Названия с морфемой *рус-* закрепились на севере – *Русь*, *Порусье*, *Старая Руса*, *Неруса*, а город *Россия*, упоминаемый в одном из договоров императора Византии с генуэзцами XII в., располагался рядом с Таматархой – Тмутараканью.

3. Русские народные говоры сохранили разные значения слова *Р/русъ*. Интересными нам представляются следующие: **Русь** ж... твр. *на виду, на открытомъ мѣстѣ, на юру. Все вывела на русь, распахнула душу, все высказала* (СД). Писатель Ф.А. Абрамов в своем романе «Братья и сестры» использует слово *русъ* в таких значениях: 1. **Русь** – луга, заливаемые водой во время паводка – *Потому что сейчас не только Богом проклятые суземные ручьевины – русь, то есть луга вокруг дома, – частично под снег уходили*; 2. **Русь** – дом, обжитая земля – *Что комарики кусают? – посочувствовала Варвара, первой возвращаясь к избе от коровы. – Свеженького они любят. Известное дело, здесь не на руси. – Не на руси? Варвара удивилась: чего тут непонятного? – У нас русью то домашнее называют. А здесь, в суземе, какая уж русь... «Да, – размышлял Лукашин, вдумываясь в смысл Варвариных слов. – Вот она, жизнь северного мужика! Какой же ценой дались ему эти сторонние сенокосы, если у него язык не повернулся, чтобы назвать их дорогим именем Русь!..»*

Слово *русъ* первоначально на севере обозначало открытое пространство, освобожденное человеком от деревьев и камней и возводимый на этом пространстве дом вкупе с бытовыми постройками. Слова же с корнем *рос-* иноязычного происхождения, первоначальным значением которых было обозначение света, цвета *белый, светлый*: праиндийское *Roка / Rauка* – «светлый, белый», древнеиндийское *roka* – «свет» [9].

В языке восточных славян этот общий семантический признак (*рус-* открытый, расчищенный, а значит, светлый и *рос* – светлый, белый) способствовал притяжению лексем *русский* и *Россия*. Слово *русский* стало обозначать национальность, а слово *Россия* – название государства. М. Сюзюмов пишет: «Как производное от ‘Рως, византийские авторы и чиновники императорских канцелярий изобрели название страны – ‘Ρωσία; начиная с IX в. это название окончательно утвердилось в греческом языке. Через церковную греческую письменность и официальные акты Византийской империи ‘Ρωσία стала переходить в русский язык. Иван Грозный писал слова *Росийский* и *Росия* в полном соответствии с греческим начертанием через одно *с*. В XVII в. по аналогии со словом *русский* слова *российский* и *Россия* стали писать через два *с*. Таким образом, наряду с собственными названиями *русский*, *Русь*, в наш язык проникла утвердившаяся в IX в, под влиянием библейской транскрипции, форма *Росия*, впоследствии *Россия*, *российский*» [10].

Нам остается только добавить к сказанному, что сосуществование в одном лексико-словообразовательном поле единиц живой по происхождению *русский* и книжной – *Россия* в современном русском языке обусловлено не только собственно языковыми причинами, но и внеязыковыми, культурологическими факторами, имевшими место в истории русского народа. Разрешение проблемы о происхождении названий *Россия* / *Русь*, а значит, о их сближении в едином семантическом поле, чрезвычайно важно для русской лингвистической и исторической науки: «...кто верно объяснит название Руси, найдет ключ к выяснению ее первоначальной истории» (Brukner, 1935).

Мы же связываем название *Русь* с малой Родиной русского человека, с той ее частью, где человек родился и вырос, где похоронены его родные и близкие, с местом, намоленным, святым – отсюда идет имя *Святая Русь*, *Золотая Русь*. Как только в истории государства русского этот культурологический феномен утратил свою первость, свой приоритет, на смену этому имени *Русь* пришло другое имя – *Россия*.

Русь (Великая Русь, Белая Русь, Малая Русь), Русская земля, Российское царство, Россия, Великороссия, Малороссия, Новороссия, Белоруссия, Российская Федерация... Так, сложными путями, благодаря собственной истории, изменениям в содержании наименования, благодаря иноземному влиянию и ученой традиции дошли до наших времен простая и близкая нам *Русь* и гордое имя *Россия*, ибо именно в сосуществовании этих имен и в том, что за ними стоит, «все концы сходятся, все противоречия вместе живут» (Ф.М. Достоевский).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Казин А.Л. Последнее царство (Русская православная цивилизация). – СПб., 1999. – С. 19.
2. Там же. – С. 37.
3. Там же. – С. 138.
4. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. – СПб., 1908. – С. 298-340.
5. Геденов С.А. Отрывки исследований о варяжском вопросе. Ч. I – XV. – СПб., 1862; Варяги и Русь. Историческое исследование. Ч. I – II. – СПб., 1876.

6. Шаскольский И.П. Вопрос о происхождении имени Русь в современной буржуазной науке // Критика новейшей буржуазной историографии. – Л., 1967; Норманнская проблема в советской историографии. – Л., 1978).

7. Сюзюмов М.Я. К вопросу о происхождении слова Россия // Вестник древней истории. – М., 1940. – С. 121.

8. Там же.

9. Трубачев О.Н. Славянские тетради. К истокам Руси (наблюдения лингвиста. – М., 1993. – С. 35).

10. Сюзюмов М.Я. К вопросу о происхождении слова Россия // Вестник древней истории. – М., 1940. – С. 123.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ПРИЧАСТИЯ

Понятие парадигмы не является новым в лингвистике. Термин был введён ещё в античной грамматике, обозначал некий образец видоизменения одного и того же слова и относился к совокупности однотипных склоняемых или спрягаемых форм слова. Со времён античных грамматик понятие парадигмы расширилось. Как определяет Лингвистический словарь, парадигма «в широком смысле – любой класс лингвистических единиц, противопоставленных друг другу и в то же время объединённых по наличию у них общего признака или вызывающих одинаковые ассоциации...» [1].

Термин «синтаксическая парадигма широко употребляется в лингвистике, однако устоявшейся и всеми признанной дефиниции не существует. С причастием, прежде всего, связан вопрос о частеречном статусе этого образования. В данной статье эта проблема не будет затрагиваться, хотя точными в вопросе статуса причастия нам представляются концепции А.М. Пешковского (смешанная часть речи) [2] и В.В. Виноградова (гибридная часть речи) [3] (далее ссылки на страницы см. в примечании). Вопрос о грамматическом статусе «смешанных» частей речи в отечественном языкознании связан в первую очередь с именем В.В. Виноградова. Его заслуга заключается в осмыслении многообразных и противоречивых грамматических явлений, в констатации неразрывной связи всех языковых уровней. «В морфологических категориях происходят постоянные изменения соотношений, и импульсы, толчки к этим преобразованиям идут от синтаксиса. Синтаксис – организационный центр грамматики» [3].

Итак, если следовать точке зрения В.В. Виноградова, высказанной выше, причастие с любой точки зрения не следует рассматривать в отрыве от его синтаксических функций и его семантики. Наиболее подходящим, на наш взгляд, является рассмотрение синтаксических позиций причастных форм и соотношения семантики и грамматики причастий в этих позициях.

Предложим дефиницию синтаксической парадигмы причастия. Синтаксическая парадигма причастия – это ряд противопоставленных друг другу его неизофункциональных синтаксических позиций, объединённых функционирующими в них причастными формами, имеющими в основе своей одинаковую морфологию и семантику.

Рассмотрим синтаксическую парадигму трёх групп причастий – невозвратные действительные причастия, возвратные причастия и страдательные причастия.

Синтаксическая парадигма невозвратного действительного причастия состоит из шести членов. Константный исходный член синтаксической парадигмы причастия – обособленное определение (причастный оборот), например: *... всё дело было не в отсутствии толпы покупателей, а в том, что молчали горластые торговцы, восточные евреи.... оглушающие вас в обычные дни, на перебой вопящие, трубящие, кликушествоющие поверх цветных, пряных, рассыпчатых своих пригорков* (Д. Рубина).

Второй член парадигмы – причастие с зависимыми словами в препозиции к определяемому слову: *И это была, осмелюсь утверждать, особая южно-пёст-*

рая порода свободно жестикулирующих, а вследствие этого и свободномыслящих до известной степени людей (Д. Рубина); Отважный петух послушно покинул сразу осевшее пламя... (М. Успенский).

Третий член парадигмы – причастие в позиции обособленного одиночного определения: *Не с кем молвить слова, некуда бежать – везде она, властная, цепенящая, презирающая* (М. Салтыков-Щедрин); *У лесных обитателей, и неподвижных, и шмыгающих, память устроена не по-людски...* (М. Успенский).

Четвёртый член парадигмы – причастие в позиции определения, находится чаще всего в препозиции к определяемому слову: *Тогда водитель притормозил и, обернувшись к дрожащему ортодоксу, воскликнул по-русски: «Отзынь, нечистая сила!»* (Д. Рубина); *Решась кокетку ненавидеть, / Кипящий Ленский не хотел / Пред поединком Ольгу видеть* (А. Пушкин).

Пятый член парадигмы – причастие в позиции актантов, чаще всего в позиции подлежащего: *... уважали за то, что рубил только сухостой, отчего остальным растущим только польза* (М. Успенский); *В тихом воздухе – тающее, знающее...* / *Там что-то притаилось и смеётся* (А. Блок).

Шестой член парадигмы – причастие в позиции сказуемого двусоставного предложения с различными связками: *А события, которые происходили со мной во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах* (Ф. Искандер); *Голос у него был как у человека, только с перепоем – хриплый и временами пропадающий* (М. Успенский).

В каждой синтаксической позиции причастие испытывает свои синтаксические «импульсы и толчки», которые могут менять его морфологическую сущность и семантическое наполнение.

Синтаксическая парадигма действительного возвратного причастия на -ся семичленна.

Константным исходным членом парадигмы причастия на -ся является обособленное определение (причастный оборот), например: *Самое шествие открывается изувером, беснующимся с саблей в руках* (В. Гаршин); *Ездили в нём и арабские рабочие, добирающиеся на заработки в центр страны* (Д. Рубина); *Она была старшей сестрой той, не то скоропостижно скончавшейся, не то застрелившейся* (Ю. Домбровский).

Второй член рассматриваемой парадигмы согласованное необособленное определение в препозиции к определяемому слову, но с зависимыми словами, например: *В окраинах было своё очарование <...> в давно заброшенных маленьких фабриках с валяющимися среди лебеды красными от ржавчины котлами...* (К. Паустовский); *В отличном настроении я заняла своё хорошо запирающееся и отлично протопленное купе СВ* (Д. Рубина)

Третий член – согласованное необособленное определение, без зависимых слов, чаще в препозиции к определяемому слову, например: *И, проходя в смеющиеся дали, / Здесь путник ждал, задумчив и смущён* (А. Блок); *Я выскользнула в коридор мимо дерущихся, пыхтящих и матерящихся Клары, Саввы и Мити* (Д. Рубина);

Четвёртый член парадигмы – согласованное обособленное определение, например: *Он появлялся редко – измятый, невыспавшийся, с набухшими веками* (К. Паустовский);

Пятый член – возвратное причастие в позиции предиката (составного именного сказуемого) с различными связками, например: *Были они (играль-*

ные кости. – И.З.) *старые, пожелтевшие, округлившиеся по рёбрам* (М. Успенский); *Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, как бывает при землетрясениях* (А. и Б. Стругацкие).

Шестой член синтаксической парадигмы – причастие в позиции актантов, с зависимыми словами или без них, например: *Опытная сестра подумала, покачала головой, и, возжегши тоненькую свечку, зажала её в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся* (Н. Лесков); *Вспомним с нами отступавших, <...> помолившись за нас* (А. Твардовский).

Потенциально в парадигме возвратного причастия может быть и седьмая позиция – страдательная конструкция с творительным субъекта типа *Дом, строящийся рабочими* / *Строящийся рабочими дом*, однако в нашей картотеке языкового материала такие конструкции пока не зафиксированы.

Парадигма страдательного причастия восьмичленна.

Первый, константный, член парадигмы – обособленное определение (причастный оборот), например: *Было время, когда она, рождённая в лютеранстве, даже собиралась принять православие* (Л. Улицкая); *Я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилёг в траве над обрывом берега* (М. Лермонтов).

Вторую позицию парадигмы занимает причастие в препозиции к определяемому слову с зависимыми словами, например: *Чистый, первобытный, ничем не осквернённый свет спускался на землю...* (К. Паустовский); *Во время погодных катаклизмов Ванька порою сходил с ума, и самые страшные мысли озаряли его изуродованную снаружи башку* (В. Войнович).

Третья синтаксическая позиция страдательного причастия – обособленное определение без зависимых слов, например: *Он донашивал свои элегантные английские костюмы, и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства* (К. Паустовский); *Он стал похож на святого Петра, причём сокрушённого и печального, уже после того, как трижды пропел петух* (Д. Рубина).

Четвёртый член парадигмы – причастие в позиции определения, например: *Набриолиненная голова консула отражала тусклый свет единственной на весь коридор электрической лампочки* (К. Паустовский); *Они франты: опуская свой оплетённый стакан в колодец в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы* (М. Лермонтов).

Пятый член парадигмы – причастие в позиции предиката с различными связками, например: *...теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным....* (Л. Толстой); *А тот покупатель был, извините, затрушенный и смахивал на босяка* (К. Паустовский).

Шестой член парадигмы страдательного причастия в позиции актантов – подлежащего и дополнения, например: *Он лежал, вдавленный в снег, с сосной на груди, и ни сдвинуть ей, ни вытащить из-под ней задавленного было невозможно* (В. Войнович); *Он уже и сейчас живёт отчасти легально: бизнес ведёт открытый, заработанным делится* (В. Войнович).

Седьмой член парадигмы – краткая форма причастия в позиции предиката двусоставного предложения, например: *Иные даже утверждали, / Что свадьба слажена совсем, Но остановлена затем, / Что модных колец не достали* (А. Пушкин); *Чужедальняя сторона: она горем посеяна, слезами поливана, тоскою покрывана, печалью горожена* (В. Даль, Пословицы русского народа).

Восьмой член парадигмы страдательного причастия – краткая форма в позиции предиката безличного предложения, например: *Ни шито, ни кроено, а клин вставлен* (В. Даль); *Вхожу побыстрее в комнату – батюшки светлы – накурено, наляпано, набросано, разбросано...* (М. Зощенко).

Как и в предыдущих случаях, в разных синтаксических позициях в морфологической и семантической структуре причастия могут происходить различные сдвиги, и причастие даже может приобрести иное категориальное значение, там, мы предполагаем, что краткое страдательное причастие, употреблённое в позиции предиката, утратило значение «причастности» и «страдательности» и приобрело категориальное значение состояния.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева, – М., 1990. – С. 366.
2. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956. – С. 115.
3. Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). – М., 1972. – С. 31, 221.

В.Г. Лебединская

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ МЕТРОЛОГИИ

В истории изучения метрологии исследователи выделяют два периода: практический и описательный. Первый период – практический, когда все без исключения работы, содержавшие какие-либо метрологические сведения, преследовали практические цели, то есть были призваны установить, узаконить, запретить, разъяснить, уточнить использование какой-либо меры. К таким памятникам письменности с XI по XVII вв. принадлежат древние уставные грамоты, договоры князей, летописные отрывки, Книги сошного письма, Книга Большому Чертежу, Торговая книга, межевые инструкции, приходо-расходные и таможенные книги, руководства для купцов и правительственных писцов. В XVIII веке задачи проводимых по метрологии работ усложняются, но носят все тот же практический характер. Процесс технического перевооружения России Петр I связывал с получением точных количественных сведений, касающихся торговли, промышленности, строительства, картографии и т.д. Для выполнения этой работы, требовавшей многочисленных измерений, необходимо было обеспечить страну мерами и измерительными приборами, улучшить измерительную базу. В XVIII веке выделились некоторые центры, где метрологическая работа велась в большей степени. Коммерц-коллегия, принявшая на себя значительную часть функций прежних приказов Большого прихода и Большой казны, ведала, в частности, вопросами дальнейшего внедрения мер в практику торговли и метрологического обслуживания этой сферы. Адмиралтейств-коллегия руководила процессом внутриведомственного использования мер, в том числе угломерных приборов и компасов [1]. Берг-коллегия ведала измерительным хозяйством горных заводов, рудников и монетных дворов с их лабораториями.

В 30-х годах XVIII века наблюдается интерес к изучению истории, географии, метрологии народов и народностей, населяющих Российскую империю. В 1737 году выдающийся историк и известный политик В.Н. Татищев представил в Академию наук “Предложения о сочинении истории и географии Российской”, которые состояли из вопросов по географии и истории народов России. Вопрос № 192 этой программы заключался в следующем: “Какие они меры и вес употребляют и как оные именуют, какую оные с русскими разницу имеют, например татары имеют батман которое слово по-русски значит “вес”, токмо они имеют разные батманы”. В.Н. Татищев разослал офицеров геодезии и геодезистов по разным российским губерниям. До нас дошли ответы капитана Г.И. Стрижевского на предложенные вопросы о башкирах. Так, отвечая на вопрос № 192, он пишет: “Меру имеют они называемую пучук и чирик, из которых входит в пучук 4 пуда, а в чирик 2 пуда” [2].

В конце 30-х годов XVIII века была образована Комиссия весов и мер, о которой нам практически ничего неизвестно. Задачи комиссии не были четко определены, и вскоре о ней все забыли. Вспомнили о Комиссии весов и мер лишь в 1742 году: 18 февраля был издан указ о ее ликвидации. Почти через

100 лет, в 1827 году, была создана Комиссия образцовых мер и весов. Сразу определили основную задачу Комиссии – уточнение мер. В состав этой Комиссии входили А.И. Ламберти, П.Г. Соболевский, А.Я. Купфер, Э.А. Коллинс, В.К. Вишневецкий. Выдающимся вкладом в развитие метрологии является исследование доктора философии, члена Комиссии образцовых мер и весов А.И. Ламберти “О первоначальном происхождении и нынешнем состоянии российской линейной меры и веса” [3]. Эту книгу следует назвать последней работой практического периода: она посвящена проблеме создания точных эталонов мер. Итак, монография А.И. Ламберти завершает практический период в развитии метрологии.

Начало описательного исследования метрологической лексики было положено в XIX веке. Ее изучение в этот период связано прежде всего с трудами известного историка и археолога XIX века Ф.И. Петрушевского. Работы этого ученого открывают новый этап в истории метрологии. Этот этап истории называли описательным. В 1831 году вышла “Метрология” Ф.И. Петрушевского – фундаментальное исследование, посвященное мерам вообще и истории метрологических единиц различных народов в разные периоды их истории, а в 1849 году – “Общая метрология”, которая явилась по существу переизданием первого труда, но значительно переработанным и дополненным [4]. Обе книги представляют читателю таблицы, показывающие состояние и соотношения различных видов мер у разных народов Земли, причем как древних, так и современных исследователю. Мер существует много. Их разнообразие, считает Ф.И. Петрушевский, проистекает “из огромного количества родов величин” [5: 5]. Автор называет основные меры: линейная (для определения длины), квадратная, или плоскостная (для измерения поверхностей), кубическая (для определения величины или объема тел), мера вместимости (для непосредственного измерения количества сыпучих или жидких тел), вес (для определения количества вещи по ее тяжести массы тела, по его объему и плотности), монета (для обозначения ценности вещей). Всякое цивилизованное государство обязано следить за употреблением и распространением всех этих мер. В связи с этим автор говорит о трех обязательных правилах (законах) государственного значения: во-первых, государство должно “иметь и сохранять первобытные, или образцовые меры”; во-вторых, “поверять по ним все копии, выпускаемые или выпущенные во всеобщее употребление”; в-третьих, “истреблять подлоги и вообще злоупотребления в мерах” [5: 6]. Ф.И. Петрушевский замечает, что мера вместимости употребляется в виде сосуда, для непосредственного вымешивания сыпучих и жидких тел. Мера для жидких веществ, пишет он, называется винною, а для сыпучих – хлебною. Эти названия объясняются тем, что употреблялись эти меры, главным образом, для измерения количества хлеба и вина. На некоторых территориях бывают еще особые меры: овсяные, пивные, масленные, угольные и другие. Последние, считает исследователь, бесполезны, только путают счет и должны уничтожаться по причине своей ненужности.

В XIX веке существовали противоположные точки зрения на предмет того, что следует понимать под метрологией, на каких источниках должны основываться исследования метрологов, в этот период была создана программа изучения различных мер и весов, остро стал вопрос о статусе метрологии среди других наук, заговорили о народной метрологии. Ф.И. Петрушевский

под метрологией понимал “описание (подчеркнуто нами. – В. Л.) разного рода мер по их наименованиям, подразделениям и взаимному отношению” [5:5]. Д.И. Прозоровский, другой выдающийся историк и метролог XIX века, метрологией называл “простое практическое познание (подчеркнуто нами. – В. Л.) различных единиц: единиц веса, единиц ценности (то есть монеты. – В. Л.), единиц объема, единиц протяжения, единиц времени”. Научкой, по Д.И. Прозоровскому, метрология становится тогда, когда переносится в область археологии, изучает происхождение и историю различных единиц и решает исторические задачи. Ученый писал, что древнерусскую метрологию следует изучать как особый, специальный отдел археологии [6:1]. Д.И. Прозоровский наметил программу изучения различных весов и мер. Сначала, полагал он, необходимо определить метрологию вообще, выяснить ее основания, происхождение мер, весов и ценностей, их развитие и приведение в порядок. Прежде чем изучать русскую метрологию, необходимо рассмотреть метрологию других народов, например, евреев, греков и римлян, указать на распространение греко-римской метрологии и на ее влияние на страны Западной Европы, а также на то, что греко-римская метрология была известна славянским племенам, в том числе и Руси. Затем должен следовать переход к русской метрологии. Ее описание следует начать с обзора письменных памятников, в которых сообщаются какие-либо метрологические сведения. Исследователь не должен оставить без внимания и вещественные памятники: гири, меры, монеты. Необходимо определить границы русской метрологии, сказать о разнообразии весов и мер по временам и местностям, указать на историю мер Великого Новгорода, Смоленска, Полоцка, Пскова и Москвы – важных политических, культурных и хозяйственных центров древней Руси, на распространение московской системы мер. Только после этого Д.И. Прозоровский предлагает изучать следующие разделы метрологии: вес, ценности, меры продольные, меры вместимости (для жидких и густых тел, для сыпучих тел), единицы объемные и примерные, меры и единицы поземельные, единицы заводские и промышленные, времяисчисление.

Исторические исследования по метрологии в XX веке во многом строятся по программе изучения мер и весов, предложенной Д.И. Прозоровским.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии XI-XIX вв. – М., 1975. – С. 96-98.
2. Татищев В.Н. Предложения о сочинении истории и географии Российской. – Казань, 1909.
3. Ламберти А.И. О первоначальном происхождении и нынешнем состоянии российской линейной меры и веса. – СПб., 1827.
4. Петрушевский Ф.Ф. Русская десятичная система мер. – СПб., 1884. – С. 5.
5. Петрушевский Ф.И. Метрология, или Описание мер, весов, монет и времяисчисления нынешних и древних народов. – СПб., 1831.
6. Прозоровский Д.И. Древняя русская метрология. – СПб., 1888.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТРИЦАНИЯ В ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И В РЕЧИ

Данная проблема – часть глобальной: категории отрицания, форм отрицания в грамматической системе русского языка.

Осмысливая и описывая систему частей речи в русском языке, грамматисты единодушны в разбиении их на два основных класса – знаменательные и незнаменательные (служебные, или «частицы речи», – по В. В. Виноградову). Незнаменательность отождествляется с неноминативностью; в этом видится некая пропасть, разделяющая указанные классы. Между тем служебность характерна не только для «частиц речи». Служебные функции выполняются местоименными словами, как «полузнаменательными», а также метасловами, имеющими категориальные признаки имени существительного (*по причине, при условии, во время* и пр.; *с той целью – чтобы, в то время – когда* и пр.), имени прилагательного (*в определенных случаях, по следующей причине* и пр.), предикатива (*был готов, склонен, должен* и т. п.). Таким образом, граница между знаменательными и служебными частями речи является весьма подвижной.

Сами служебные слова имеют весьма четкую функциональную специализацию: противопоставлены «связывающие» служебные слова (предлоги, союзы) и «несвязывающие» (частицы).

Между тем класс частиц настолько разнороден и интегральные его свойства так общи, что определить служебную функцию этой части речи невозможно. Обычно это делается более или менее успешно лишь применительно к «рядам» частиц [1].

Односторонняя характеристика частиц (как части речи) дает разительно противоположные результаты: а) чисто формальная – «слова усиливающие или оттеняющие в том или ином отношении грамматические формы или предикат... Они имеют формальное служебное значение...» [2]; б) чисто семантическая – «частицы не выражают грамматических значений, не участвуют как формальные средства в построении словосочетаний и предложений. Частицы – это элементы семантической сферы» [3].

Если добавить к характеристике частиц такие параметры, как объективность-субъективность, оценка, то придется отказаться от попытки дать их общее определение.

В разнородной массе «частиц» (в этом «свалочном месте», по образному выражению В. В. Виноградова) погребено отрицание **не** (**ни**). Семантика слова **не** и его употребление не могут квалифицироваться как служебные, формальные. Оно не «усиливает» и не «оттеняет» ни лексическое, ни грамматическое значение слов (словформ), с которыми сочетается. **Не** имеет постоянное и неизменное логическое содержание. Это получило некоторое отражение в названиях разрядов частиц, в которые зачислялось отрицание **не**: «модальные частицы, выражающие отношение к действительности» [4]; «частицы, выражающие отношение к фактам бытия» [5].

Содержание отрицания имеет предельно обобщенный и универсальный

характер. Отрицание сочетается со словами всех знаменательных частей речи, а также с местоимениями. Эта универсальность характеризует отрицание *не* как не служебное слово.

Считать отрицание грамматическим значением неправомерно. Сочетание полнозначного слова с *не* не является формой этого слова. Отрицательное слово *не* есть, скорее, слово знаменательное.

На наш взгляд, отрицание *не (ни)* представляет собой часть речи (ср.: Л. В. Щерба о связке), которую можно обозначить термином **негатив** (или отрицание).

Морфологическая природа негатива проста и непротиворечива: категориальное значение отрицательности (как основа логического смысла «противоположное»), неизменяемость, отдельность. Эти качества негатива определяют его место в системе частей речи – на границе знаменательности и незнаменательности. «Сложность грамматической природы» [6] негатива проявляется в его употреблении. Как и другим частям речи, негативу свойственно прямое и косвенное (относительное или переосмысленное) употребление при взаимодействии со словами различных частей речи, в разных позициях.

В. В. Виноградов считал принципиальным различие двух функций *не*: а) «агглютинируемой приставки», б) «отрицательной частицы» [7]. Глубокий грамматический смысл заключен в указанной характеристике приставочной функции негатива: подчеркивается сохраняемость и автономность его семантики в данном употреблении. Отметим, кстати, что «приставочное» употребление негатива, по-видимому, преувеличивается благодаря орфографической традиции. С другой стороны, чрезмерно сложная и дробная система слитного и раздельного написания *не* складывалась на основе понимания негатива как частицы, способной выполнять функции приставки.

Предлагаемая нами трактовка негатива как знаменательной части речи могла бы быть положена в основу унификации написания его с полнозначными словами по принципу сложного слова: дефисное написание, подчеркивающее словную отдельность *не*, с сохранением слитного написания этимологической приставки (*ненавидеть, нельзя* и пр.) и раздельного написания с предложно-падежными формами (*не в доме, не по себе, не до песен* и т. п.).

Прямое употребление негатива связано с определенными синтаксическими условиями, в определенных позициях, прежде всего, в составе предиката; напр.: *Я сам не трус, но также не глупец И в петлю лезть не соглашусь даром* (А. Пушкин). Семантику отрицания при предикате А. М. Пешковский определил как «нереальность» связи представлений признака (действия) и предмета [8]. В предложении в таких случаях оформляется общеотрицательное высказывание. При употреблении негатива с другими членами предложения (не с предикатом) оформляется частноотрицательное высказывание; напр.: *Здравствуй, племя, Младое, незнакомое! Не я Увижу твой могучий поздний возраст!* (А. Пушкин); *Не напрасно я носила Двадцать лет ярмо...* (А. Ахматова).

Одной из центральных проблем синтаксического употребления негатива является соотношение утвердительных и отрицательных предложений (высказываний). А. М. Пешковский был склонен трактовать это соотношение как оппозицию. «Нулевой категорией к категории отрицания служит категория утверждения, не имеющая... собственных средств выражения... Предложения, не заключающие в себе отрицательных членов, сознаются как утвердительные» [9].

Возможность систематического преобразования утвердительных предложений в отрицательные используется отдельными исследователями как показатель парадигматических отношений; делается попытка доказать существование «грамматической категории утвердительности-отрицательности» [10]. Однако данное соотношение носит отнюдь не формально-грамматический, а логический характер: утвердительное и отрицательное высказывание (*Отец вернулся – Отец не вернулся; Ветер был – Ветра не было* и под.) не обладают денотативным тождеством. Негатив как знаменательное слово создает не форму предложения, а логически противоположное высказывание.

Нейтрализация отрицательного значения обусловлена конструктивно, то есть проявляется только при определенном построении предложения; напр.: *И между тем ни одной попойки за сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями...* (И. Тургенев) – второе *не* нейтрализовано. Во временных сложных предложениях с союзом *пока не* негатив не реализует свое отрицательное значение, а лишь усиливает долженствование совпадения событий во времени: *Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен* (А. Пушкин) – второй негатив употреблен в прямом значении. Случаи нейтрализации разнообразны.

В грамматическую систему современного русского языка вошли выработанные речевой практикой не только «двойное отрицание», но также формальные единицы служебных классов слов – союзы и частицы с компонентом *не*. Одни из них имеют стабильную форму (союзы *пока не, как не* и др.), другие варьируются (частицы *едва ли не, чуть ли не* и пр. – СО: «очень вероятно»; ССС: «неуверенное предположение») [11]; третьи представляют собой комбинированные схемы (*что, кто, куда, где* и под. ... (*только*) *не; не...ли* и др.).

Кроме указанного выше временного союза *пока не*, следует обратить внимание на союз/частицу *как не* (указанными словарями не отмеченный!) – поистине «вездесущий». Вот некоторые значения *как не*:

а) категорическое утверждение, решительное согласие:

[Гурмыжская]: *Ты меня знаешь? Ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом?* [Улита]: *Знаю. Как мне не знать?* (А. Островский); – *Я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Вы мои королевские замашки знаете. – Как не знать* (И. Бунин); – *Таких петухов как не запомнить, – пробасил Травников* (Н. Телешов); – *Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность* (А. Островский);

б) выделение, акцентирование: – *Кому и знать, как не мне* (А. Островский) – «псевдосложное» предложение; варианты: *где...как не, что...как не, чьи...как не* и т. п.

Особенно яркое и продуктивное проявление нейтрализации *не* – «экспрессивное утверждение» (ср. «экспрессивное отрицание» у Д. Н. Шмелева). Этот способ нейтрализации – речевой: он захватывает и «формальные» слова (*не, только, же* и др.), и местоимения, которые переосмысливаются; в «экспрессивном утверждении» участвует интонация. Например: *Кого только не перебывало в трошинской бригаде* (В. Белов); [Городулин]: *Нам идеи что! Кто же их не имеет, таких идей?* (А. Островский); – *На что только эти бабы не способны, особенно когда им замуж позарез надо...* (В. Белов).

Продуктивной формой «экспрессивного утверждения» являются высказывания со служебным компонентом *не...ли*, в которых нейтрализуются и отрицание, и вопрос. Например:

*Не с тобой ли говорю
В остром крике хищных птиц,
Не в твои ль глаза смотрю
С белых, матовых страниц?*
(А. Ахматова).

Конечно, мы отметили лишь небольшую часть продуктивных приемов нейтрализации отрицания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. подробнее: Лекант П. А. Часть речи негатив//Очерки по грамматике русского языка. – М., 2002. – С. 32-36.
2. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. – М.-Л., 1941. – С. 505.
3. Дудников А. В. Современный русский язык. – М., 1990. – С. 308.
4. Грамматика русского языка АН СССР. – Т. 1. – М., 1953. – С. 644-646.
5. Современный русский язык: Морфология/Под ред. акад. Виноградова В. В. – М., 1952. – С. 420.
6. См.: Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М., 1947. – С. 620.
7. Там же.
8. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1935. – С. 348.
9. Там же.
10. Седельников Е. А. О грамматических категориях простого предложения в современном русском языке// Исследования по современному русскому языку. – М., 1970. – С. 226.
11. Некоторые справки даются по СО – Словарь русского языка С. И. Ожегова и ССС – Словарь структурных слов русского языка под ред. В. В. Морковкина.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

В последнее десятилетие в лингвистических исследованиях все чаще встречается термин *активные процессы*. Под происходящими в языке активными процессами понимаются явно выраженные на коротком временном отрезке (одно-два десятилетия) различные динамические языковые явления, приводящие к изменению в лексической системе языка. Лексика представляет собой систему, находящуюся в непрерывном движении. Одни единицы, устаревая, перемещаются на языковую периферию, другие появляются в языке как обозначения новых явлений, понятий, предметов. Динамические процессы в лексике активизируются в условиях смены культурно-исторических парадигм, чем характеризовался период конца XX – начала XXI века. Общественно-политические, экономические, культурные, духовные и иные изменения, отчетливо обозначившиеся с середины 80-х годов, привели к неологическим процессам в словарном составе русского языка. Лексическая система языка оказалась наиболее «восприимчивой» к внешним изменениям, наиболее подвижной и проницаемой. Это отмечается в работах Ю. А. Бельчикова, Л. П. Крысина, Л. К. Граудиной, Ю. Н. Караулова, Н. Н. Кохтева, А. В. Бондарко, Ю. Д. Апресяна, В. Г. Костомарова, Е. М. Верещагина, Г. Н. Складневской, В. В. Химика и других известных русистов. Инновационные явления в лексике современного русского языка стали и одной из проблем, вызвавших пристальное внимание участников проходившего в сентябре 2007 года в Варне XI Конгресса МАПРЯЛ.

В настоящее время в лексической системе русского языка происходят ускоренные неологические процессы. Результатом этих процессов является активное возникновение в языке неологизмов, новообразований и инноваций. Эти термины обозначают новые лексические явления современного русского языка, но они не являются обозначением одного и того же. *Новообразования* являются продуктом словообразовательных процессов по определенным моделям, продуктивным в данном языке. Процессы *неологизации* приводят к появлению ранее не существовавшей лексемы, в том числе и в результате заимствования, в процессе *инновации* изменяются (семантически обновляются, преобразуются, приобретают новую коннотацию или утрачивают старую, возвращаются из активного словаря в пассивный, переходят из одной сферы употребления в другую, из разряда малоупотребительных – в разряд частотных) уже существующие в языке единицы. Таким образом, *инновации* не исчерпываются только семантическим и коннотативным обновлением лексем, «можно говорить по меньшей мере еще о двух разновидностях инновационного процесса на уровне функционирования, которые меняют социолингвистический статус лексических единиц: миграции («возврат» и «переход») и активизации («частотность употребления»)» [1]. Эти процессы характеризуют динамику лексической системы, которая активизируется в периоды общественно-политических изменений в жизни носителей данного языка. Подобно тому как бурные исторические изменения в начале XX века вызвали активные процессы в

лексике русского языка, активизацию лексико-семантических процессов мы наблюдаем и на рубеже XX и XXI веков, в период разрушения системы ценностей социалистического образа жизни.

Если процесс неологизации связан с появлением лексических неологизмов, то процесс инновации характеризуется изменением статуса лексических единиц и словосочетаний, что выражается в обновлении семантической структуры слова, его плана выражения или значения.

Одним из характерных языковых процессов новейшего времени является активное проникновение в русский язык ставших интернационализмами иноязычных наименований различных реалий жизни современного мирового сообщества, отражающее процессы расширения и углубления международных связей, резкого увеличения потока информации с Запада. Лексические неологизмы возникают в результате внешних заимствований, число которых многократно увеличилось во всех сферах жизни, в том числе в экономике: *бизнес, ваучер, инфляция, консалтинг, приватизация, оффшор, оффшорная зона, демпинг, роуминг, девелоперская фирма, дилер* и др., в политике: *инаугурация, рейтинг, спикер, плюрализм, импичмент, электорат, менталитет, популизм* и др., среди спортивной терминологии: *боулинг, дайвинг, скейтборд, сноуборд, шейпинг, фитнес, байкер* и др., в косметологии: *лифтинг, пилинг, скраб, блефаропластика, ринопластика, липосакция, имплантация* и т. д. В связи с компьютеризацией появились такие неологизмы, как *сайт, файл, чат, интернет, электронная почта, провайдер, принтер*, появились новые профессии, а вместе с ними и лексемы, их обозначающие: *хэндмейкер* ‘тот, кто занимается ручной работой’, *имиджмейкер* ‘кто разрабатывает имидж’, *мерчендайзер* ‘кто занимается оформлением торговых полок’, *брокер* ‘кто зарабатывает на ценных бумагах’, *риэлтор* ‘агент по продаже недвижимости’, *киллер* ‘профессиональный убийца’, *рекетиер* ‘вымогатель’, *хайджекер* ‘угонщик самолета’, *шоумен* ‘ведущий развлекательной программы’ и др.

Большинство из перечисленных выше слов были когда-то терминами, то есть номинативными единицами, составляющими ядро языка науки. Научно-технический прогресс, результаты которого с фантастической быстротой входят в повседневную жизнь большинства людей, способствует тому, что огромное количество терминов перемещается из научной сферы функционирования в общелитературный лексический фонд. Немаловажную роль в процессе внедрения терминов в повседневную речь играют печатные СМИ, где активно проявляется тенденция к усилению информативности. Язык газет в наши дни стал сферой наиболее яркого проявления происходящих в русском языке динамических процессов.

Инновации в языке представлены инносемемами и инноформами. Статус лексических единиц изменяется в результате появления *инносемем* (новых значений лексических единиц). Например, слово *эвакуатор*, известное ранее в значении ‘тот, кто занимается эвакуацией чего-л.’ расширило свой семантический объем за счет появления инносемемы ‘машина для удаления неправильно припаркованных автомобилей’ [2]. Инносемемы появились в последнее десятилетие и у лексем *застой, обвал, перестройка, прорыв, челнок, крутой*. Разновидностью инноваций являются и *инноформы*, сущность которых состоит в замене формального выражения существующего слова при сохранении его значения, например, появление слова *прайс-лист* вместо старого *прей-*

скурант, сэндвич вместо бутерброд, тинейджер вместо подросток, микровэн вместо микроавтобус, паркинг вместо стоянка, сейл вместо распродажа, секьюрити вместо старого охранник, офис ‘контора’, блокбастер ‘популярный фильм’, хит ‘популярная песня’, сингл ‘отдельно записанная песня’, ремейк ‘переделка’, дизайн ‘оформление’, имидж ‘образ’, постер ‘плакат с изображением артиста’, мультиплекс ‘многозальный кинотеатр’ и др.

В свете усиления аналитических тенденций, которые отмечаются исследователями в русском языке в последнее время, обращают на себя внимание многочисленные словосложения, созданные в соответствии с продуктивной в английском языке моделью «неизменяемый определитель + определяемое существительное». Образования на русской почве типа *прайм-тайм, шоу-рум, реалити-шоу, топ-менеджер, шоп-тур* как особый род составных существительных (биноминов) были названы В. Г. Костомаровым *изафетами* [3]. Некоторые определители образуют целые цепочки композитов: *бизнес-образование, бизнес-школа, бизнес-семинар, бизнес-аналитик, бизнес-портал, бизнес-форум* и т. д.; *интернет-магазин, интернет-каталог, интернет-реклама, интернет-маркетинг, интернет-аукцион, интернет-обозрение, интернет-портал, интернет-провайдер, интернет-зависимость, интернет-сообщество, интернет-библиотека* и т. п. Как видим, многие из определителей имеют практически неограниченную сочетаемость, на основе которой можно сделать вывод об их автономности. Актуализацию данной словообразовательной модели можно рассматривать как знаковое явление в области усиления аналитических тенденций, свойственных современному русскому языку.

Другая важная особенность развития русского языка наших дней – пополнение словарного состава за счет аббревиатур (как русского происхождения, так и иноязычных). Это явление уже названо исследователями «аббревиатурным взрывом». Рост числа подобных образований наиболее значителен в терминологической сфере. Получили широкое распространение в последнее время такие сложения, как *СМИ, ГИБДД, МАГАТЭ, НАСА, СПИД, ЭКГ, УЗИ, МОК, ФИДЕ, VIP, SMS, PR, DVD* и др. Некоторые из них также образуют изафеты – составные наименования по той же модели, что и приведенные выше композиты, например, *VIP-зал, VIP-клиент, VIP-обслуживание, VIP-апартаменты* и т. д., *PR-менеджер, PR-агентство, PR-кампания, PR-акция*.

Исследователями отмечается социолингвистическая детерминированность развития русского языка в целом, включая его лексическую составляющую, которая отреагировала на внешние обстоятельства значительным движением внутри себя. Этот процесс оказался двунаправленным – от центра к периферии, в которую входит устаревшая, или так называемая «резервная лексика», и от периферии к центру, что связано с «возвращением» лексики, а также с проникновением жаргонизмов в литературный язык. Значительное число словарных единиц с середины 80-х годов XX века из ядра лексической системы стало активно перемещаться на языковую периферию (в частности, так называемые советизмы: *товарищ, соцсоревнование, колхоз, совхоз, октябренок, пионер, пионервожатый, комсомолец, ленинец, коммунизм, социализм, социалистический лагерь, Варшавский договор, СЭВ* и др.). Перейдя в пассивный словарный запас носителей русского языка, эти лексемы ограничили свои функции хранением определенной историко-культурной информации о советской жизни. Они весьма редко используются представителями старших

поколений, их уже не поймут родившиеся в последнее десятилетие прошлого века и позже. С другой стороны, в ядре и на ближайшей периферии языка появилось значительное число образований, утративших в свое время (в начале XX века) актуальность, но вновь актуализируемых под влиянием изменившихся условий жизни носителей языка.

Заметное место в указанных динамических процессах русского языка занимает такое явление, как пополнение его лексического состава единицами, когда-то входившими в состав ядерной лексики, но по разным причинам перешедшими на периферию словарного состава, в частности в его пассивный запас в качестве устаревших слов (архаизмов и историзмов). В новых исторических условиях они вновь возвратились с периферии в центр языковой системы, в активное употребление. Это дало основание назвать данный пласт лексики *возвращенной лексикой* [4], определившей необычность языковых динамических процессов современности. Это лексемы типа *президент, дума, либерал, мэр, парламент, радикал, спикер, чиновник, вексель, инфляция, чартер, акциз, акция, банкир, банкрот, ферма, фермер, анархист, забастовка, безработица, муниципалитет, приют, беспорядки, меценат, прислуга, целитель, кадет, лицей, гимназия, бакалавр, магистр, гувернер* и др. В большом количестве представлены в этой лексике слова религиозной тематики: *Бог, вера, грех, богослужение, вероучение, благочестие, знамение, литургия, творец, седмица, соборование* и т. д. В «Толковом словаре русского языка конца XX века. Языковые изменения» подобная лексика дается с пометой «возвращение в актив».

Возникновение возвращенной лексики в русском языке связано с общими процессами неологизации и инновации его словарного состава, в котором под влиянием экстралингвистических факторов новые номинативные единицы возникают не только с использованием традиционных способов их образования, но и нетрадиционным путем «возвращения» ранее употреблявшихся слов. Указанная лексика представляет собой специфическую категорию номинативных единиц русского языка, созданную особым способом вторичной номинации. «Возрождение», возвращение устаревшего слова в активное употребление, его деархаизация – всегда новый этап в истории слова. Возвращенная лексика – это социально и культурно мотивированная часть словарного состава русского языка конца XX века, в основном представляющая собой лингвокультураны. Лингвистический статус единиц рассматриваемой части лексики как относительных неологизмов конца XX века определяется тем, что в диахронии они являются частью резервного фонда в виде устаревших единиц, на синхронном срезе они представляют собой «реинкарнированные» в новых политических и социальных условиях языковые единицы. «Возвращение» подобной лексики в активное употребление стало возможным благодаря «языковой памяти» народа – носителя языка, вернувшегося к утерянным духовным и материальным ценностям, определяющим общую культуру народа, говорящего на этом языке. Процесс «возвращения» подобных единиц сопровождается смещением в значении, приобретением дополнительных семантических наслоений.

Среди возвращенной лексики немало и слов безэквивалентных, то есть слов, обозначающих реалии, характерные для жизни одного народа. Изменения в составе безэквивалентной лексики также отражают происходящие в на-

шем обществе процессы. Возрождение некоторых реалий приводит не только к возвращению соответствующих лексических единиц, но и к изменению их семантики в новых исторических условиях. Эти изменения могут выражаться как в компрессии, сужении семантической структуры лексической единицы, так и в расширении значения. Примером семантического сужения является изменение семантики возрожденного слова *дума* в его общественно-политическом толковании. В дореволюционный период оно имело более широкую семантическую структуру, о чем свидетельствует сочетаемость: *боярская дума, земская дума, царская дума, городская дума*. В современном русском языке лексема входит только в состав словосочетаний *Государственная дума, Городская дума*. Обратный процесс – семантическое расширение – пережило, например, слово *соборность*, по поводу которого В. Г. Костомаров отмечает, что оно, кроме религиозно-философского значения, ныне употребительно и в общественно-политическом контексте в значении ‘добровольное объединение усилий для достижения каких-либо важных целей’ [5].

Возвращение в активный состав слов с языковой периферии характеризуется не только семантическими в сторону сужения или расширения семантической структуры, но и разного рода коннотативными наращениями, что является яркой чертой происходящих в настоящее время семантических преобразований. Как известно, коннотации входят в лексическое значение слова, определяя его концептуальную значимость, функционирование, употребительность. Вместе с тем именно коннотации придают лексеме национально-культурное своеобразие. Многие мифологемы с позитивной коннотацией советского периода стали употребляться в негативных контекстах с осудительной, иронической или презрительно-уничижительной окраской: *большевик, сталинист, субботник, пятилетка, директива, политинформация, соцреализм, герой труда, соцсоревнование, светлое будущее* и др. Наоборот, лексемы, называвшие в советское время явления реакционные, ретроградные, вредные и имевшие резко отрицательную коннотацию, в последние десятилетия утратили ее, перейдя в класс номинативной, стилистически нейтральной лексики. Это относится к таким словам, как *белогвардеец, эмигрант, дворянство, меньшевик* и др. История перечисленных единиц является отражением перемен в общественном сознании носителей языка.

Комплексные семантико-коннотативные изменения произошли при актуализации слова *олигарх*. В своем первоначальном значении эта лексическая единица восходит к античности и средневековью со значением ‘лицо, принадлежащее к правящей группе, являющееся членом олигархического правительства’ [6]. В наши дни за этой лексемой закрепилось новое значение, отражающее явление, появившееся в русской действительности в конце XX века. «Во-первых, произошло семантическое переосмысление этого слова: в нынешнем понимании речь идет о представителе уже не политической власти, а некой экономической, финансовой элиты, стремящейся принимать активное участие в политической жизни страны. Во-вторых, нельзя не отметить отрицательную коннотацию, которой сопровождается слово *олигарх* в современном употреблении: деятельность олигарха часто связывается с противозаконностью, финансовыми махинациями и особыми моральными принципами» [7].

По мнению ряда ученых, процесс возвращения в активное употребление лексики, некогда сознательно отодвинутой в пассивный запас и получившей

«вторую жизнь» в русском языке в настоящее время, завершается. И завершение его свидетельствует если не о «заметной стабилизации лексической системы русского языка, то, во всяком случае, об обретении ею равновесия» [8].

Изменение статуса лексических единиц характеризуется и их перемещением из одной сферы функционирования в другую. Характерной чертой динамики лексического состава современного русского языка является перемещение большого количества лексем, принадлежавших к жаргонной лексике, в сферу литературного русского языка. Это объясняется тем, что динамика социальных перемен привела к «разгерметизации» жаргонов и проникновению их элементов в другие сферы языка. По своей интенсивности процесс настолько значим в русском языке новейшего времени, что говорят о жаргонизации литературного языка, «экспансии сниженной лексики», об очередном «витке варваризации» [9], «глобальном стилистическом снижении живой речи» [10]. Об этом свидетельствуют многочисленные факты присутствия жаргонизмов в СМИ, публичной речи, бытовом общении. Количество слов, потерявших свою социальную прикрепленность и ставших хорошо известными в различных социальных группах носителей русского языка, дает право исследователям говорить о формировании *общего жаргона*, или *общего сленга*. Под общим жаргоном понимается «тот пласт современного жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка» [11]. Это промежуточное образование между разговорной и сниженной лексикой, через которое лексика жаргонов проникает в литературные сферы языка, И. А. Стернин считает новой функционально-стилистической подсистемой, заполняющей лакуны в стилистических парадигмах языка [12]. Характерна культурно-историческая «знаковость» наиболее употребительных слов так называемого общего жаргона: *беспредел*, *тусовка*, *бабки*, *совок*, *совковый*, *разборки*, *бомж*, *крутой*, *баксы*, *чернуха*, *халява*, *туфта*, *крыша*, *кайф*, *лох*, *лохотрон*, *лохонуться*, *кинуть*, *обуть*, *замочить*, *наезжать/наехать* и др. Некоторые из приведенных слов имеют омонимы в общелитературном языке. Но повсеместное употребление слова в жаргонном значении иногда приводит к выталкиванию традиционного значения на периферию, и лексемы начинают употребляться в соответствии со значением его сниженного коррелята, как, например, в ситуации, описанной в статье «Малява про халяву. Русский язык выставили на бабки» [13]. В этой статье речь идет об учителе, который, разбирая стихотворение А. С. Пушкина «На статую играющего в бабки», на вопрос, что такое бабки, получил дружный ответ: «деньги».

Жаргонная лексика криминальных кругов появляется в языке политиков, журналистов, присутствует в современных СМИ, в газетных заголовках, рекламах и объявлениях, в литературных произведениях, звучит по радио, телевидению. Слово начинает бытовать одновременно в жаргонном и общеязыковом значении, претерпевая трансформации в семантике и меняя свою стилистическую принадлежность. Так произошло, например, со словом *беспредел*, которое из речи уголовников в значении «группировка, притесняющая окружающих» стало использоваться в качестве характеристики разнообразных негативных явлений в разных сферах жизни, что отразилось в возникновении словосоче-

таний: *административный беспредел, правовой беспредел, армейский беспредел, беспредел власти, налоговый беспредел, бандитский беспредел* и др. В современных неологических словарях многие слова, имевшие ранее квалификацию «жаргонизм», представлены как просторечные и разговорные.

Не только элементы воровского жаргона, но и лексические единицы, употребительные в других видах корпоративного и профессионального сленга (молодежного, армейского, компьютерного) выходят за пределы своей специфической функциональной сферы, проникают в художественные и массмедийные тексты, приобретают статус общеизвестности, употребляются широкими кругами носителей русского общелитературного языка. Это такие номинативные единицы, как *голимый, балдеть, достать* (кого-л.), *грузить, раскрутить, по барабану, аська, безнал, приколы, прикольно, фигня, хрень, прибалбасы, выпендриваться, продвинутый, фишка* и т. п. Общий жаргон, или общий сленг, в настоящее время выступает пограничной зоной в плоскости «просторечие – литературный язык», и, по прогнозам лингвистов, часть слов общего сленга со временем может получить статус общелитературности.

Нельзя не отметить, что большую роль в перемещении языковых единиц из узко специальных сфер общения в общелитературный язык играют средства массовой информации. Всё, что используется сегодня в бытовой речи, допускается в письменные тексты (на страницы газет, художественных произведений). Постоянное присутствие жаргонизмов в газете как бы стабилизирует их, снижает их жаргонность. Язык прессы и звучащих СМИ все менее смыкается с книжно-письменным типом литературного языка, и это не может не сопровождаться раскачиванием и расшатыванием литературной нормы. В этих условиях происходит демократизация речи, которая связана с обновлением литературного языка за счет внутренних языковых ресурсов, за счет заимствований из нелитературных сфер общенационального языка.

Несомненно, резкие перемены в жизни языкового коллектива ведут за собой быстрые сдвиги в языке, прежде всего в лексике. Однако нужно признать, что еще рано судить о значимости происходящих на рубеже XX и XXI века перемен и о том, какие лексико-семантические трансформации превратятся в языковые факты. Как справедливо заметили Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, «язык не склад, а сито: мелкое, преходящее, незначительное просеивается, а остается только то, что заслуживает хранения» [14].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гочев Г. Н. К вопросу о неологических процессах в современной русской лексике // Мат-лы XI Конгресса МАПРЯЛ. – Варна, 17-23 сент., 2007. – Т. 3. – С. 59-64.
2. Словарь русского языка. – Т. 1-4. – М., 1981-84.
3. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1997.
4. Андрейченко Е. В. Возвращенная лексика русского языка конца XX: лингвистический статус, социокультурная детерминированность, функционирование: Дисс. ...канд. филол. наук. – Алматы, 2007.
5. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1997.
6. Большой толковый словарь. – СПб., 2000.
7. Баранова А. С. Изменения в составе общественно-политических реалий в лексике русского языка на рубеже эпох // Мат-лы XI Конгресса МАПРЯЛ. –

Варна, 17-23 сент., 2007. – Т. 3. – С. 12-16.

8. Толковый словарь русского языка XX в. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. – СПб., 2006. – С. 5.

9. Елистратов В. С. Словарь русского арго (мат-лы 1980-1990-х гг.). – М., 2000. – С. 609.

10. Химик В. В. Глобальное снижение как объективный процесс развития русского языка // Мат-лы X Конгресса МАПРЯЛ. – СПб., 30 июня-5 июля 2003. – Т. 1. 2003.

11. Слова, с которыми мы встречались: Словарь общего жаргона / Под ред. Р. И. Родиной, О. П. Ермаковой, Е. А. Зелиной. – М., 1999. – С. 4.

12. Стернин И. А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Вып. 2. – Язык и социальная среда. – Воронеж, 2000.

13. МК от 19. 09. 2003.

14. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. – М., 1990. – С. 45.

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В КВАЛИФИКАЦИИ СОГЛАСИЯ/НЕСОГЛАСИЯ

Имена прилагательные являются доминирующим средством раскрытия разнообразного характера выражения согласия/несогласия и включаются в сферу обозначения предметов или явлений через взаимодействие с существительным, в «многослойные семантические связи, которые реализуются в тексте» [1].

Наличие прилагательных дает возможность оформлять определение существительного с разными аспектами признаков, определять пропозицию.

Существуют различные ситуативные типы, характеризующие концептуальное содержание согласия/несогласия. Знание употребления согласия/несогласия достигается посредством исследования различных областей действительности. Имена прилагательные *официальное, неофициальное, устное, письменное, молчаливое, внутреннее, скрытое, информационное, лицензионное, нотариальное, институтское, ректорское* и т.д. (*согласие/несогласие*) эксплицируют разные аспекты функционирования согласия/несогласия, отражающие основные соответствующие способы действий.

Согласие/несогласие находится в рамках кодекса, регулирующего модели взаимоотношений людей и приводящего отношения в систему. В коммуникативном процессе есть официальный ответственный за оформленную реакцию согласия/несогласия. Акты согласия/несогласия отражают разные фрагменты действительности: *Фактически Кремль дал официальное согласие на «интернационализацию» процесса урегулирования в Приднестровье, признав его «зоной ответственности» ОБСЕ* («Литературная газета». – 2006. – № 14); *Для несовершеннолетних требуется нотариальное согласие от родителей на перевозку детей за границу* («Литературная газета». – 2005. – № 33); *Телекомпании заключают лицензионные соглашения с РАО* («Литературная газета». – 2005. – № 21-22); *В поликлинике предлагают подписать лист информационного согласия* («Аргументы и факты». – 2004. – № 42); *Лукину инкриминируют Хасавюртовские соглашения* (С. Есин).

Согласие/несогласие кодируется с точки зрения принадлежности к определенным типам наименований, связанных с обозначением объектов. Согласие/несогласие приобретает значимую роль в данных условиях, вносит отрицательную составляющую: *Путин укрепил ощущение единства страны, дал ясно понять: хасавюртовских соглашений больше не будет* («Литературная газета». – 2004. – № 45); *Молдавия вышла из состава СССР до Беловежских соглашений* (С. Есин); *Приехал из Албании мой переводчик и издатель без нашего институтского согласия* (С. Есин); *Студентам объявили о ректорском несогласии на проведение вечера рок-музыки* («Дружба народов». – 1987. – № 12).

Согласие и несогласие, не имеющие официального значения, способствуют/не способствуют реализации каких-либо действий, являются предварительным положительным/отрицательным ответом, оформленным не в соответствии с заданными требованиями: *Получив неофициальное согласие на*

проект из советской России, Горький выпустил первый номер «Беседы» («Литературная газета». – 2004. – № 15); Мы получили неофициальное несогласие на вселение в новый дом (С. Залыгин).

Имена прилагательные *устное, письменное, внутреннее, скрытое, молчаливое* и под. вербализуют формы передачи понятия согласия/несогласия.

Согласие и несогласие реализуются устно, воплощают функциональный знак ответственности, проявляемый со стороны участников речевого акта, поскольку отношения выстраиваются на основе доверия. В процессе намеренного общения (ср.: *позвонил*) говорящий обозначает свои интенции (ср.: *хочу*) и получает в ответ согласие на осуществление действия: *Я позвонил М.С. Шагинян и сказал, что хочу попробовать написать пьесу по мотивам ее романа. Устное согласие я получил* («Литературная газета». – 2004. – № 15).

Документальное оформление согласия/несогласия характеризуется необходимостью (ср.: *требуется, необходимо*) соблюдения определенных формальностей во взаимоотношениях, особой ответственностью за данный ответ: *Требуется письменное согласие родителей на выезд ребенка за границу* («Комсомольская правда». – 1999. – 3 августа); *Необходимо письменное несогласие в связи с отказом от операции* («Аргументы и факты». – 2003. – № 3).

Согласие и несогласие не имеют письменного и устного оформления, они определяются в процессе внутренней речи, приобретают характер «предметно-изобразительного кода» [2]. Некоторые имена прилагательные маркируют такой вид согласия/несогласия. Невыраженная вербально реакция согласия/несогласия на значимые события, явления и т.п. трактуется по признакам внешнего речеповедения соответственно как согласие/несогласие по отношению к предмету речи в заданной ситуации: *С молчаливого согласия партийного руководства на ленинском письме был поставлен гриф «Для служебного пользования»* («Аргументы и факты. Долгожитель». – 2003. – № 3).

Неманифестируемая реакция согласия/несогласия приводит к позитивным/негативным последствиям в обществе, глобально изменяет мироустройство: *В ходе Второй мировой войны в Европе при молчаливом согласии населения уничтожили несколько миллионов людей* («Аргументы и факты». – 1998. – № 33); *Молчаливое несогласие людей с принудительной отставкой мэра нанесло городу непоправимый ущерб* (Из радиointервью).

Внутреннее, скрытое согласие/несогласие является необходимым способом формирования убеждений, позволяет субъекту адекватно относиться к реалиям мира, в зависимости от знаний, опыта истинно/ложно оценивать их. Свободное формулирование субъектом позиции совершенствует нравственные принципы человека, обуславливает значимость его действий в жизнедеятельности общества: *Внутреннее, скрытое согласие и несогласие делает людей свободными* (В. Соловьев). Такая позиция не оценивается собеседником, не создает конфликтности отношений, позволяет субъекту быть самим собой, в полной мере объективным, искренним.

В интеракции речевая стратегия коммуниканта ориентирована на достижение тех или иных отношений, которые характеризуются рациональным подходом к предмету речи. Само движение процесса согласия/несогласия носит качественный характер. Согласие/несогласие подвергается переосмыслению, направлено на конкретный результат. На стадии формирования отношения к чему-, кому-либо согласие/несогласие обозначается как неопреде-

ленный/определенный вариант принятого решения, о чем свидетельствуют такие определения, как *предварительное, неокончателное, намечавшееся* и т.д. – *окончателное, последнее* и под. (*согласие/несогласие*). Подобный тип согласия/несогласия определяет последующие действия участника ситуации. Цель предварительного согласия/несогласия заключается в том, чтобы выяснить коммуникативные ходы, определить речевые действия и возможность их выполнения, подготовить продуманный акт согласия/несогласия. Усиленные намерения (ср.: *добилась*) коммуниканта способствуют/не способствуют достижению согласия/несогласия: *Я добилась предварительного согласия в издательстве на подготовку к печати книги-альбома «Мгновения жизни», посвященного В. Шукшину* («Литературная газета». – 2004. – № 30). Реализация зарождающейся (ср.: *намечавшееся*) позиции согласия/несогласия зависит от обстоятельств (ср.: конфликтные условия (*конфликт помешал*) и целенаправленное вмешательство (ср.: *преодолели*)), которые активно препятствуют внедрению согласия/несогласия в создавшиеся отношения: *Политический конфликт помешал намечавшемуся соглашению социалистических партий* («Литературная газета». – 2004. – № 44); *Намечавшееся несогласие преодолели* (К. Паустовский).

Согласие/несогласие становится вполне определенным, основательно продуманным актом в результате предварительных договоренностей, реконструкции правил речеповедения в целях рациональности взаимодействия: *Окончателное согласие на перезахоронение праха Анны Павловой определило дальнейшие действия администрации* («Комсомольская правда». – 1999. – 3 ноября); *Я услышал от нее окончательное несогласие и решил уехать* (В. Астафьев); *Это мое последнее несогласие* (К. Паустовский).

Согласие/несогласие конкретизируется во временном аспекте. Имена прилагательные *моментальное, неторопливое, постоянное* (*согласие/несогласие*) обозначают сему времени. Согласие/несогласие определяется в течение короткого/длительного времени в связи с пониманием/непониманием/неопределенностью роли данного отношения в контексте действительности: *Властям удастся достигать моментального согласия масс* («Литературная газета». – 2005. – № 12-13); *Его неторопливое согласие заставило нас поволноваться* (К. Паустовский); *Постоянное несогласие с государством в своем логическом завершении ведет к отрицанию самой идеи российского государства* («Литературная газета». – 2005. – № 26). Качественная временная характеристика согласия/несогласия приводит к корректировке ситуации, ее оценке.

В речевых актах активно функционируют имена прилагательные *народное, национальное, общенациональное, общественное, политическое, социальное, мировое, трудовое, религиозное, богословское, профессиональное, творческое* и др., сочетающиеся с именами существительными *согласие* и *несогласие* и маркирующие согласие/несогласие в аспекте того или иного признака явления.

Согласие/несогласие имеет тотальный характер распространения. Оно масштабно в своем охвате носителей, которые широко манифестируют согласие/несогласие и таким образом заявляют о проблемах бытия. Согласие/несогласие является своеобразным барометром качества подлинного существования человечества и имеет огромное значение в жизни общества. Согласие и несогласие являются реакцией на фрагменты действительности, которые затра-

гивают интересы человека: *Народное согласие с Путиным объясняется тем, что он лучше Ельцина* («Аргументы и факты». – 2006. – № 14); *Недовольство «монетизацией» льгот вылилось в народное несогласие* («Литературная газета». – 2005. – № 21-22).

Согласие и несогласие проецируют надежды общества, определяют цивилизованный/нецивилизованный путь развития нации: *Пока не будет общенационального согласия, общего понимания того, что только все вместе мы можем спасти страну, наверное, ничего значительного не произойдет* («Литературная газета». – 2003. – № 34); *Национальное несогласие ведет общество в тупик* (Из радиointервью); *О каком национальном согласии можно говорить, если тон на нашем ТВ задают «отравители колодцев»?* («Литературная газета». – 2004. – № 37).

В коммуникативном акте стратегической задачей является достижение общественного согласия, которое отвечает разумным потребностям человеческого общества, его развитию, обновлению. Согласие обуславливается целенаправленными действиями (ср.: *призывает*) коммуниканта, которые сигнализируют о необходимости взаимопонимания в обществе: *Примаков призывает к общественному согласию* («Комсомольская правда». – 1999. – 18 августа); или запросом (ср.: *требуется*), обязательным для исполнения в данной ситуации: *Процессы в России не будут мгновенными. Требуется, во-первых, общественное согласие* («Аргументы и факты». – 1999. – № 11) (ср.: актуализация значимости общественного согласия подчеркивается посредством вводного компонента *во-первых*).

Намерения (ср.: *предлагают*) инициаторов сводятся к официальному узакониванию (ср.: *правовые решения*) концепции общественного согласия: *Правовые силы предлагают правовые решения сохранения общественного согласия в стране* («Аргументы и факты». – 1999. – № 48).

Согласие/несогласие определяет правила действий коммуникантов, является исходной точкой в моделировании ситуации: *Общественное согласие или несогласие сделает ясным новый расклад сил и определит место каждого политика в этом раскладе* («Красное знамя». – 2006. – 16 марта).

Наличие общественного согласия/несогласия характеризует объективный уровень развития человеческого сознания, соответствующее человеческое бытие и устройство государства: *Общественное несогласие на фоне слабой власти дробит общество* («Красное знамя». – 2006. – 16 марта). Ср.: *Общественное согласие на фоне сильной власти укрепляет (объединяет) общество*. В предложениях оценочные компоненты *слабая (власть)*, *дробит* с отрицательным смыслом и *сильная, укрепляет* – с положительной семой актуализируют функциональную сущность общественного согласия/несогласия.

Наличие/отсутствие (ср.: эксплицируется формой безличных слов *есть, нет*) общественного согласия/несогласия является неким символом, определяющим проблемы цивилизации. Общая цель в необходимости (ср.: *нужно*) достижения положительного результата в общей деятельности объединяет людей и порождает общее согласие. В контексте имя прилагательное *общее* синонимично лексеме *общественное*: *Есть и общее согласие, что реформы нужно наконец делать* («Аргументы и факты». – 1997. – № 15).

Отсутствие общественного согласия выявляет актуальную тему о сложившихся конфронтационных отношениях, базирующихся на приоритете интересов одной из сторон, о пренебрежении взаимными обязательствами в общей

целенаправленной деятельности людей: *Нет общественного согласия, нет общественного договора* («Комсомольская правда». – 1998. – 24 декабря).

Специфическим диагнозом общества являются акты *политического согласия/несогласия*, осознаваемые с точки зрения полезности в деятельности человека. Согласие и несогласие, реализуемые в политическом пространстве, определяют чьи-либо интересы, создают новые коннотации ситуации, характеризуют эффективность деятельности людей. Функция согласия/несогласия в сфере политической реальности может быть и позитивной, и негативной: *Политическое согласие/несогласие стабилизирует/дестабилизирует общество* (Из радиointервью). В действительности отмечается ориентир на политическое согласие, которое мотивируется успешным осуществлением замыслов. В результате стратегия субъекта направлена на манифестацию политического согласия, которое оформляется как идея, концепция, проект, документ и т.д. и репрезентируется посредством конкретных действий, обозначенных глагольными формами *предложить, выдвинуть, выступить, искать* и т.д.: *Предложили проект соглашения о политическом согласии* («Комсомольская правда». – 1999. – 22 февраля); *Кремль выдвинул собственную концепцию политического согласия* («Аргументы и факты». – 1999. – № 6); *Экс-премьер Степашин выступил с идеей политического согласия* («Комсомольская правда». – 1999. – 19 ноября); *Ищут политическое согласие «Яблоко» и «СПС»* («Аргументы и факты». – 1999. – № 9). В существующих условиях согласие намеренно задается, планируется.

Модель ситуации, маркируемая лексемами несогласия, разногласия, которые сочетаются с именами прилагательными *политический, социальный, экономический, религиозный, творческий* и т.д., характеризуется поиском истины человеком на фоне конфликта, проблемой выбора адекватного решения, проблематичностью взаимопонимания участников. Факт отрицательной оценочной составляющей во взаимоотношениях (ср.: *чуть не развелись, агрессия, страдания, кризис* и т.д.) является результатом отсутствия согласия: *Мы с мужем чуть не развелись на почве политических разногласий* («Комсомольская правда». – 1998. – 29 июля); *Социальные несогласия порождают агрессию* («Литературная газета». – 2006. – № 11-12); *Религиозные разногласия приносят страдания людям* (В. Розанов); *Творческие разногласия привели к кризису* («Аргументы и факты». – 1999. – № 12). Несогласия порождают коммуникативные неудачи, создают условия неуспешности.

В рамках конфликтных взаимоотношений усиленно подчеркивается необходимость (ср.: интенсификатор *обязательно* + модальный компонент *надо*) соблюдения кодекса речеповедения, а «навязывание партнеру собственной коммуникативной стратегии» рекомендуется внести «в список запрещенных форм речевого поведения» [3]. Такой коммуникативный ход является стратегическим и способствует формированию прогрессивных отношений, выполняет интегрирующую функцию: *При всех разногласиях – политических, экономических, каких угодно – обязательно надо оставаться в рамках дозволенного* («Комсомольская правда». – 1999. – 3 августа).

В социуме потребность в социальном согласии становится критерием формирования политики, свидетельством поиска кооперативных приоритетов в трансформационной практической деятельности. Согласие применимо в построении модели жизнедеятельности: *В Европе пришли к мирной жизни через социальное согласие* («Аргументы и факты». – 2000. – № 3). Надежда человека

на согласие в трудовой деятельности (ср.: *Мы будем жить, и наступит трудовое согласие* (из фильма «Комиссар»)) и констатация несогласия людей в этой сфере (ср.: *Трудовое несогласие захлестнуло мир* (Из теленовостей)) являются показателями глобальных проблем в обществе.

В сфере масштабной деятельности людей является закономерным то, что мировое согласие/несогласие возникает как очевидная реакция на существующие глобальные проблемы отрицательного характера и имеет предназначение изменить «положение дел»: *Есть мировое согласие по проблемам ликвидации голода на Земном шаре и мировое несогласие с шумящими войнами на отдельных территориях* («Комсомольская правда». – 1999. – 19 ноября).

Имена прилагательные *полное, единогласное, единодушное, взаимное, полюбовное, дружное, мирное, обоюдное, тесное, безоговорочное, очевидное, категорическое, принципиальное, непримиримое, серьезное, строгое, резкое, насильственное, фундаментальное, большое, маленькое* и др. актуализируют сему интенсивности проявления признака, характеризующего семантическую парадигму выражения согласия/несогласия в речевом акте.

В ходе речевого взаимодействия намерения коммуникантов полностью совпадают, что производит должное впечатление в связи с темой сообщения: *Браки заключались по взаимному согласию* (В. Катаев); *По обоюдному согласию установили кодовые замки* («Комсомольская правда». – 1999. – 15 апреля); *Дело закрыли по обоюдному согласию сторон* («Комсомольская правда». – 1999. – 15 апреля); *В связи с обоюдным несогласием сторон дело отправили на исследование* («Аргументы и факты». – 1999. – № 47); *Четыре бывших лицеиста выразили единодушное согласие с мнением Пушкина* (С. Абрамович). Сходные представления о сущности предмета речи служат фактором успешного реального общения.

Согласие/несогласие характеризуется проявлением отношения, достигающего предела. Ср.: *Полное согласие/несогласие было в семье (коллективе, обществе, мире)*; *Они ответили полным согласием/несогласием*.

Согласие – это понимание, принятие, поддержка «мира» другого человека (ср.: *Я вижу на лицах моих учеников полное согласие с позицией писателя* («Литературная газета». – 2004. – № 30)), а несогласие – несовпадение представлений, непонимание коммуникантов, обнаруживаемые на высшем психоэмоциональном уровне. «Гармонический тип людей характеризуется врожденным чувством законности мирового порядка, полным согласием собственного разума с закономерностью, господствующей в природе, это – души абсолютно акклиматизированные» [4]. Согласие объединяет людей в познании глобальных проблем общества и человека: *Фундаментальное и общее согласие людей относительно проблем войны и голода* (В. Розанов).

Имена прилагательные *истинное, полное (согласие/несогласие)* обозначают то свойство отношений, которое является нормой, идеалом, определяющими взаимодействия участников. Отсутствие такой тенденции в построении взаимоотношений характеризуется негативной оценкой. Это своего рода итог «абстрагирующей работы сознания говорящего, логического умозаключения или эмоциональной реакции на свойства объекта оценки» [5]: *До сих пор до истинного согласия в нашем больном обществе далеко* («Красное знамя». – 1999. – 6 ноября); *До полного несогласия с подхалимами далеко* (В. Шаламов). В данных предложениях предлог *до* актуализирует согласие/несогласие, а наречие *далеко* указывает на степень достижения данных отношений.

Квалификаторы согласия и несогласия конкретизируют степень их выражения, которая определяется как высокая/низкая. Качественная характеристика смыслового содержания согласия/несогласия разнообразна. Имена прилагательные *серьезное, резкое, непримиримое, строгое, четкое, категорическое, принципиальное, убежденное* и др. (*согласие/несогласие*) актуализируют соответствующий признак, дают представление о ценностном характере отношения, подчеркивают существенность позиции в данной ситуации.

Квалификация согласия/несогласия/разногласия (*стойкое, серьезные, непримиримые*) определяется характером тех обстоятельств, в которых находятся коммуниканты, убежденно отстаивающие свои позиции посредством различных тактик. В результате оценочные имена прилагательные обозначают компонент недопущения каких-либо уступок, согласований в действиях, таким образом, манифестируют суть фрагментов взаимоотношений: *Стойкое согласие его вызывало и симпатии, и раздражение* (К. Паустовский). Отсутствие согласия свидетельствует о негативном признаке во взаимоотношениях. Конфликтные расхождения являются осознаваемыми, контролируемыми коммуникантами, но не способствует решению проблемы: *Среди членов КПРФ серьезные разногласия* («Красное знамя». – 2006. – 28 марта); *В правительстве есть непримиримые разногласия* («Литературная газета». – 2006. – № 11-12).

Коммуникант находится в состоянии конфликта с участниками ситуации, поскольку направленность их действий не отвечает его требованиям. Несогласие характеризуется как позиция, отражающая истинность представления о предмете речи (имя прилагательное *убежденное (несогласие)* подчеркивает уверенность коммуниканта в собственной оценке): *Он не скрывает своего убежденного несогласия со всеми, кто мешал журналу жить и работать* («Дружба народов». – 1990. – № 9); или актуализирующая негативную оценку (имя прилагательное *резкое* усиливает интенсивность отрицательного состояния, остроту экспрессивности выражения отношения): *Резкое несогласие с инициативой Фонда высказали родственники мужа, узнав о планируемом переносе праха балерины Анны Павловой* («Аргументы и факты». – 2001. – № 6).

Высокая степень убежденности в выражаемой позиции заключается в используемых именах прилагательных *категорическое, принципиальное (согласие/несогласие)*: *М.С. Горбачев заявил о принципиальном согласии на объединение двух германских государств* («Аргументы и факты». – 2004. – № 24); *Я выразила принципиальное согласие с проведенной экспертизой* («Литературная газета». – 2004. – № 41); *Эксперт выразил категорическое несогласие с тем, как именуют революции на Украине и в Грузии* («Литературная газета». – 2005. – № 2-3).

Имена прилагательные *принципиальный, категорический* обозначают градуированную степень выражения согласия/несогласия. Согласие/несогласие подчеркивается компонентом интенсивности. Подтверждение убежденности в истинности принятой позиции актуализируется интенсификатором *единогласно*: *На заседании совета директоров научно-исследовательских институтов Российской академии наук единогласно приняли постановление, в котором выражено категорическое несогласие с «Концепцией»* («Литературная газета». – 2004. – № 41).

В разных типах ситуаций согласие и несогласие являются вполне законо-

мерными реакциями, отражающими объективное понимание действительности. Имена прилагательные *очевидное, безоговорочное, беспристрастное, четкое, строгое, стройное, логическое* и др. (*согласие/несогласие*) указывают на адекватное выражение позиции и объединяются семами 'ясность', 'точность': *Строгое согласие с законом дает полное ощущение свободы* (В. Шаламов); *Безоговорочное согласие критика с патриотической направленностью автора порадовало* («Литературная газета». – 2004. – № 41); *Я подчеркиваю мое беспристрастное согласие с мыслью писателя* («Дружба народов». – 1990. – № 7); *Они выразили свое четкое несогласие с устранением из УК конфискации* («Литературная газета». – 2005. – № 21-22). Определенность выражения согласия/несогласия не дает оснований сомневаться в отдельных элементах речевого акта, создает бесконфликтность ситуации и побуждает к кооперативному общению.

Объективность оценки ситуации согласия актуализируется интенсификатором *вполне* и именем прилагательным *очевидное*, которые обнаруживают маркер 'правильно', и контекстом, подтверждающим справедливость выбора позиции согласия: *Что касается войны в Чечне, то важно, что в общественном мнении есть на этот счет вполне очевидное согласие. Ведь либо боевики нас, либо мы их* («Комсомольская правда». – 1999. – 10 декабря). Значимость функции согласия (лексема *важно* указывает на позитивную оценку наличия сформированной позиции) определяется бесспорностью самой ситуации, которая требует осознанного подхода к анализу столь трагичной проблемы.

Ответное согласие/несогласие, вопреки препятствиям, мешающим осуществлению намерений, выражается без психоэмоционального напряжения или с особым специфическим психоэмоциональным усилием. Подобное согласие/несогласие оформляется посредством антонимической пары *легкий – трудный*: *Его легкое согласие (это-то после долгих споров!) всех покорило* (В. Шаламов); *Трудное несогласие председателя (а он долго был на стороне тех, кто яро критиковал меня) было подарком судьбы в такой запутанной ситуации* («Красное знамя». – 2006. – 28 марта). Вводные конструкции дополняют информацию о характере проявления согласия и несогласия, возникающие как неожиданные реакции в речевом поведении.

Согласованность в высказываниях, поступках, даже жестах говорящего вызывает благосклонное отношение со стороны коммуникантов. Несогласие приобретает экспрессивное наложение: *Ее очаровательное несогласие даже не вызвало споров* (С. Довлатов) (частица 'даже' подчеркивает результат действия, вызванный выраженной позицией); *В каждом ее движении было очаровательное согласие* (Ф. Сологуб).

Качественные определения, находящиеся при лексемах *согласие* и *несогласие*, имеют разные оценки. Имена прилагательные *большой, максимальный, наивысший – маленький, минимальный, малейший* и др. обладают градуальной функцией, отражают «содержание мерительного отношения говорящего к высказыванию, к реальной действительности» [6]. Такие имена прилагательные обладают градусемой – семой меры, степени актуализации признака, осознаются человеком «в результате одноступенчатой мыслительной операции сопоставления с “нормой”» [7].

Параметрические имена прилагательные используются при оценке позиций согласия/несогласия, выражение которых, во-первых, оказывает по-

ложительное/отрицательное воздействие на деятельность человека: *Ваше большое согласие побуждает меня к решительным действиям* (В. Астафьев); во-вторых, обнаруживает рациональность действий человека: *То маленькое согласие, какое есть в обществе, оно как-то связано и со мной* («Аргументы и факты». – 1999. – № 21); в-третьих, преследует конкретные цели: *В целях примирения надо начинать с минимального согласия* («Литературная газета». – 2005. – № 12-13); в-четвертых, определяет уровень понимания предмета обсуждения: *Это был момент наивысшего несогласия* (Из телеинтервью) и т.д.

В контексте определения *первое, единичное, отдельное, сотое, любое, каждое, многие, общее* и т.д. выражают количественную оценку посредством оппозиции ‘много’ – ‘мало’: *Отдельные несогласия возникают при чтении каждой из статей дискуссии* («Литературная газета». – 2004. – № 44). Определения сочетаются с местоимениями, которые актуализируют принадлежность позиции. Такие согласия/несогласия характеризуются как неожиданные для самого говорящего: *Это первое мое несогласие* (В. Шаламов); как часто проявляемые и вызывающие недоверие (ср.: *настораживает*): *Сотое его согласие настораживает* (С. Довлатов); и запрет (ср.: *долой*): *В театре при железной диктатуре любое ваше несогласие – долой* («Аргументы и факты». – 1997. – № 7); как истинные или ложные (ср.: *справедливо, стыдиться*): *Каждое ее несогласие – справедливо* (В. Астафьев); *Многие его согласия заставляют стыдиться* (Из телеинтервью).

Лексемы *большинство, меньшинство, многие, некоторые* и под. маркируют неопределенную совокупность коммуникантов, придерживающихся мнения согласия/несогласия: *Общие согласия многих не улучшили ситуацию* (Из радиointервью); *Он надеется на выкрики общего несогласия некоторых* (С. Есин).

Согласие и несогласие индексируются именами прилагательными *свободное* и *насильственное*. Согласие/несогласие, выражаемое коммуникантом самостоятельно, без влияния другого лица, понимается как норма речевого поведения: *Свободное согласие всех – вот единственная нравственная норма* (В. Соловьев). В целях достижения определенного результата оказывается влияние на коммуниканта. Согласие/несогласие, находящееся под воздействием адресанта, по сути не является истинной позицией адресата и имеет негативную оценку: *Насильственное согласие в обществе – пагубно для самого же общества* («Комсомольская правда». – 1999. – 28 октября).

Имена прилагательные *обреченное, губительное – спасительное* (согласие/несогласие) оценивают позицию знаком ‘минус’ и ‘плюс’: *Вопросы: что делать и какую Россию мы хотим обрести? – не обсуждаются ни властью, ни элитой из-за обреченного согласия с формулой «умом Россию не понять»* («Литературная газета». – 2004. – № 44); *Губительные несогласия нас будут терзать до могилы* (В. Розанов); *В заключение доклада прозвучало спасительное согласие председателя профкома* («Красное знамя». – 2006. – 28 марта).

Согласие/несогласие как реакция на высказывание адресанта сопровождается эмоциональной составляющей, которая является «компонентом внутреннего мира человека» и «прочитывается» собеседником [8]. Определения *искренний – неискренний* указывают на оценку согласия/несогласия с точки зрения истинности/неистинности чувства, проявляемого человеком. «Искренность – это истинность чувства, выявляемого в вербальном общении». Однако

следует отметить, что искренность в разные периоды ситуации может быть и «правдой момента» [9]: *Его искреннее согласие помочь мне тронуло до глубины души* (К. Паустовский).

Искреннее согласие/несогласие – это откровенное выражение собственных представлений относительно предмета речи, которые, как правило, положительно воспринимаются собеседником: *Его искреннее несогласие с моими аргументами заставило меня по-другому посмотреть на собственные убеждения* («Дружба народов». – 1987. – № 12). Неискренность согласия/несогласия обуславливается наличием ложных чувств, которые человек распознает и воспринимает негативно (ср.: *Его неискреннее согласие меня оскорбило*), и непреодолимых внутренних препятствий, побуждающих к выражению неоткровенности во взаимоотношениях: *Это было неискреннее несогласие. Но так надо было* (В. Шаламов).

Имена прилагательные являются одним из активных средств многоаспектной характеристики позиции согласия/несогласия.

Следовательно, лексемы *согласие*, *несогласие* характеризуются теми определениями, с которыми они соотносятся и которые широко раскрывают аспекты функций реакций согласия и несогласия в реальном и лингвистическом мире. Определения семантически измеряют, оценивают реакции участников, характеризуют глубину мыслительной компоненты содержательной структуры согласия и несогласия, связаны с референцией. Характеризующие, субъективно-оценочные определения представляют ментальную природу отношений согласия и несогласия и подчинены их системе заданности. Вторичные компоненты составляют значительный пласт наименований, акцентирующих различные стороны жизнедеятельности человека и квалифицирующих согласие/несогласие.

Определения являются носителями темы фрагмента согласия и несогласия, структурируют их когнитивное пространство.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вольф Е.М. Прилагательное в тексте («Система языка» и «картина мира») // Лингвистика и поэтика. – М., 1979. – С. 133.

2. Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. – 1964. – № 6. – С. 36.

3. Ключев Е.В. Речевая коммуникация. – М., 1998. – С. 115-116.

4. Роль человеческого фактора в языке: Язык и языковая картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М., 1988. – С. 30.

5. Маркелова Т.В. Развитие оценочной семантики в местоименных словах // Тенденции развития грамматического строя русского языка. – М., 1994. – С. 9.

6. Колесникова С.М. Семантика градуальности и способы ее выражения в современном русском языке. – М., 1998. – С. 27.

7. Шрам А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных. – Л., 1979. – С. 21.

8. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999. – С. 600.

9. Там же. – С. 600, 601.

О НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

Административные реформы Петра I (1672-1725) привели к появлению в России новых государственных учреждений и, следовательно, новых слов, их называющих.

Так, к 1711 году обнаружился главный недостаток предпринятой Петром I губернской реформы (1708-1710) — отсутствие центрального органа в системе губерний (*Боярская дума* как высшее государственное учреждение России XVII века перестала функционировать к 1704 году; сменившая ее *Консилия министров* — совет начальников важнейших приказов — перестала в полной мере отвечать требованиям времени).

Отправляясь в Прутский поход, закончившийся для России потерей Азова, Таганрога и Каменного Затона, Петр I 22 февраля 1711 года издает указ об учреждении нового высшего государственного органа — *Сената*:

Мы для всегдашних нших в сихъ войнахъ отлучкахъ определили Управительный Сенатъ которому всякъ и ихъ Указамъ да будетъ послушенъ так какъ намъ самому под жестоким наказаниемъ или смертью по вине смотря (1711, 1451, 1, 8, 1) [1].

Само наименование этого государственного органа, по-видимому, вошло в русский язык не ранее конца первого десятилетия XVIII века, так как *Сенат* создавался в спешке, практически без учета опыта работы подобных учреждений в других странах, без четких представлений о его правах и обязанностях [2].

Источником слова *Сенат* является латинский язык (лат. *senâtus* — ‘совет старейшин’ < *senex* — ‘старый, старец’), из которого оно могло войти в русский язык как непосредственно (на возможность прямых заимствований в XVIII веке из латинского языка указывают, например, авторы «Очерков по исторической лексикологии русского языка XVIII века») [3], так и через посредство немецкого языка (нем. *Senat*) [4].

Помимо основного значения ‘высший орган по делам законодательства, управления и суда’ у слова *Сенат* в начале его существования в русском языке было и еще одно — ‘члены Сената; сенаторы’, то есть оно употреблялось как собирательное существительное. Сравним: *Господа Сенатъ. Понеже получили ннѣ вѣдомость отъ подканцлѣра Барона Шафирова изъ цря града (1712, 1451, 1, 5, 35); Мы не сумнѣваемся что Сенатъ крайнѣе прилагаетъ тцание и трудъ (1763, 370, 1, 28, 1).*

Как правительственный орган, осуществляющий функции высшего суда и надзора за деятельностью правительственного аппарата, *Сенат* просуществовал в России до 1917 года, при этом в 1726-1730 гг. именовался *Высоким Сенатом* (в связи с учреждением *Верховного тайного совета*, являвшегося в этот период высшим государственным органом России), все остальное время — *Правительствующим (Управительным) Сенатом*:

Мы Верховный Тайный Совѣтъ, и Высокий Сенатъ отставили, а для правления опредѣлили Правительствующий Сенатъ, на такомъ основании,

и въ такой силѣ, какъ при Дядѣ Нашемъ, блаженные и вѣчно достойные памяти Петрѣ Великомъ (1730, 16, 1, 11, 36).

Создание *Сената* положило начало реформам высших и центральных государственных учреждений.

Строительство флота, создание регулярной армии, война — все это привело к резкому увеличению работы государственных учреждений. Создаются два новых приказа — *Адмиралтейский* и *Военно-Морской*, но очень скоро становится ясно, что приказный аппарат не выдерживает все возрастающей нагрузки, не справляется с поставленными перед ним задачами. К 1718 году разрабатывается проект о подчиненных Сенату центральных учреждениях — *коллегиях* [5].

Слово *коллегия* (польск. *kollegja* < лат. *collegium* — ‘товарищество, собрание’) в значении ‘корпорация, профессиональное объединение’ [6] известно в русском языке, по крайней мере, с XVII столетия.

С появлением в системе центрального управления *коллегий* слово приобретает новую семантику — ‘коллегиальный орган центрального управления, созданный взамен упраздненных приказов’ [7].

У многихъ потентатовъ находитца великое число разныхъ совѣтниковъ по разности коллегий и канцелярій (1721, 370, 1, 16, 51/об).

Коллегии, по сути дела, сменили собой старые *приказы*, но отличались от последних как совместным (коллегиальным) обсуждением дел, так и единообразием организационного устройства:

Чего ради учинены коллегии, то есть собрание многихъ персонъ [въ мѣсто приказовъ] (1718, 9/1, 2/1, 32, 188); *Коллегиумъ* правительское не что иное есть, токмо правительское собрание, когда дѣла нѣкия собственныя не единому лицу, но многимъ къ тому угоднымъ и отъ Высочайшей власти учрежденнымъ подлежатъ ко управлению [8].

В законченном виде система коллегий в России сложилась не сразу. Указом от 14 декабря 1717 года было создано 9 коллегий: *Военная, Берг, Ревизион, Иностранных дел, Адмиралтейская, Юстиц, Камер, Штатс-контор, Мануфактур* [9], образцом для устройства которых послужили шведские коллегии, считавшиеся образцовыми в Европе [10].

Всѣмъ коллегиямъ надлежитъ нынѣ на основании шведскаго устава, сочинить во всѣхъ дѣлахъ и порядкахъ по пунктамъ, а которые пункты въ шведскомъ регламентѣ не удобны, и оныя ставить по своему разсуждению [9, № 3197].

Всего к концу первой четверти XVIII века в России было создано 13 коллегий [11] вместо 80 приказов, существовавших в XVII веке, что «обеспечило абсолютистской монархии централизованный ведомственный аппарат и являлось большим прогрессом в развитии высшего управления» [12].

Коллегии просуществовали в России вплоть до издания «Манифеста об учреждении министерств» (1802). «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847) при толковании слова *коллегия* употребляет причастие прошедшего времени — ‘присутственное место, заведовавшее некоторой частью государственных дел’ [13]. Следовательно, в русском языке того времени слово *коллегия* в указанном значении уже является историзмом. В «Новом словотолкователе...» Н. М. Яновского, изданном в 1803-1806 гг., указания на архаизацию рассматриваемой лексики еще нет: *Присутственное место, учрежденное*

верховой властью для управления особенными государственными делами. Все государственные коллегии имеют то преимущество, что они зависят единственно от Е. И. В. и Сената, который посылает в оные указы [14].

В начале второго десятилетия XVIII века [3: 356] в русский язык входит слово *губернамент* (франц. *gouvernement* — ‘правление; губернское правление; губерния’; непосредственно и через шведск. *gouvernement, gubernament*).

В памятниках деловой письменности XVIII века оно встречается весьма редко:

Положенные по табелю деньги на губернаментъ, на дачу аптекарямъ и лѣкарямъ присылать изъ губерний по прежнему къ Комисариату [9, № 2671].

Из примера не совсем ясно, в каком из указанных значений употребляется слово *губернамент* (скорее всего, в значении ‘губернское правление’, так как рядом стоит слово *губерния*, значение которого не вызывает сомнений). Заметим, что в дальнейшем его вытесняет словосочетание *губернское правление* (в «Новом словотолкователе...» Н. М. Яновского, являющемся, по сути дела, словарем иностранных слов, *губернамент* отсутствует, но встречается указанное словосочетание) [14: I, 649-650].

В другом документе значение слова *губернамент* предельно ясно: [*В Швеции*] *в каждомъ губернаменте есть оборъ лантъ рихтеръ, которой имянуетъ лагманъ, и кромѣ того, еще обретаются -4-, -5-, или -6- лантъ рихтеровъ. [В России] в губерниях определены одни толко лантъ рихтеры, и то по одному члвку, а оборъ лантъ рихтерскаго чина нѣтъ, ни в которой губернии* (1718, 248, 2, 58, 4/об).

Как видим, в этом значении недавно заимствованное *губернамент* вытесняется ставшим уже привычным к тому времени словом *губерния*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь и далее цифры в скобках обозначают по порядку: год, номер фонда Российского государственного архива древних актов (РГАДА), номер описи, номер единицы хранения, номер листа). Орфография и пунктуация подлинников сохранены.

2. См.: Павленко Н. И. Петр Первый и его время. — М., 1989. — С. 92.

3. Биржакова Е. Э., Воинова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. — Л., 1972. — С. 176.

4. См. Смирнов Н. А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. — Сб. ОРЯС. — СПб., 1910. — Т. 88, № 2. — С. 274; Огиенко И. И. Иноземные элементы в русском языке. История проникновения заимствованных слов в русский язык. — Киев, 1915. — С. 60; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1986-1987. — Т. 3. — С. 601; Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 1994. — С. 286.

5. «Самые ранние свидетельства о составлении Петром I первоначального общего плана коллегий относятся к 1715 г. Но уже 12 февраля 1712 г. в именном указе Сенату было “велено учинить коллегіум для торгового дела исправления”». — Государственные учреждения России XVI-XVIII вв. / Под ред. Н. Б. Голиковой. — М., 1991. — С. 138.

6. Словарь русского языка XI – XVII вв. / Под ред. Г. А. Богатовой. — М.,

1975 и посл. – Вып. 7. – С. 242.

7. Российский, с немецким и французским переводами, словарь, соч. Иваном Нордстетом. – СПб., 1780-1782. – Ч. 1. – С. 298.

8. Духовный регламент. — СПб., 1779. — С. 7.

9. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. – СПб., 1830. – № 3254.

10. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. – М., 1987-1990. – Т. 4. – С. 154.

11. По своим функциям к коллегиям приближались Главный магистрат и отчасти Синод.

12. Российское законодательство X-XX веков: В 9 т. / Под ред. О. И. Чистякова. – М., 1984-1991. – Т. 4. – С. 162.

13. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии Наук. – СПб., 1847. – Т. 2. – С. 189.

14. Яновский Н. М. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. – СПб., 1803 – 1806. – Ч. 2. – С. 261.

О.В. Шаталова

БЫТИЕ И БЫТ В ФИЛОСОФСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА «СУДЬБА РОССИИ»

*Россия – страна великих контрастов
по преимуществу, нигде нет таких
противоположностей высоты и низости,
ослепительного света и первобытной тьмы.*

Николай Бердяев

«Судьба России» – философско-публицистическое произведение Николая Бердяева, созданное им в период эмиграции и посвященное удивительной, до конца не разрешенной и в наши дни проблеме – проблеме «особого пути» России и его связи с национальной идеей, воплощающей в себе духовную глубину народа.

Одной из важнейших функций в публицистике является употребление ключевых слов, которые отражают сущность этого вида литературы, его стремление к воздействию на пишущего, слушающего, читающего. Публицистика стремится влиять на аудиторию, оценивая излагаемый факт, сообщение.

В рассматриваемом нами произведении Н. Бердяева ключевыми являются понятия *бытие* и *быт*, используя которые автор может высказать, донести до читателя свое позитивное или негативное отношение к тому, о чем пишет, и тем самым повлиять на мнение читающего. Философский подход к проблеме бытия позволяет увидеть художественное явление в адекватной ему системе эстетических и этических координат: универсальный языковой контекстный подход помогает найти ключ к нетрадиционному прочтению известных явлений.

Так, в реализации оценочной функции участвуют ключевые слова, составляющие определенную концепцию *бытия*, через которые передается противоречивая картина культурного *бытия* эпохи: *«Противоречия русского бытия всегда находили себе отражение в русской литературе и русской философской мысли. Творчество русского духа так же двои́тся, как и русское историческое бытие»* [1: 14]. Не случайно в одном контексте автор несколько раз употребляет прилагательное *русский*: тем самым противоречие предстает перед нами в виде своеобразного круга (*русское бытие – русская литература, русская философская мысль, творчество русского духа – русское бытие*).

Н. Бердяев впитывает *бытие* своей эпохи не только в творческом процессе, но и лично, на уровне *быта*, в доставшейся ему духовной и культурной ситуации. Он пишет об антиномичности, которая проходит через все *русское бытие*: *«Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал самую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни? Эта тайна связана с особенным соотношением женственного и мужественного начала в русском народном характере. Та же антиномичность проходит через все русское бытие»* [1: 19].

Итак, основой противоречий является противоречие женственного и мужественного начала, которое ложится в основу оппозиции понятий *бытие* – *быт*. *Бытие подлинное* соотносится с духовным голодом, с неудовлетворенностью натуралистической национальной пищей, а *национально-религиозный быт* – с духовной сытостью: «В лице Достоевского воплощена эта религиозная антиномия России. У него два лица: один обращен к охранению, к закреплению *национально-религиозного быта*, выдаваемого за *подлинное бытие*, – образ *духовной сытости*, а другой лик – пророческий, обращенный к граду грядущему, образ *духовного голода*» [1: 44].

Глубокая религиозность и высокая нравственность русской культурной традиции определяется через православие, которое не допускает подмены языческими, сектанскими идеалами. Несомненно, такие понятия, как язычество и христианство состоят в более сложных отношениях, чем элементарное противостояние, однако в данном случае рассматривается синхронический аспект отношений, в котором православие тождественно русской культуре и государственности: «Русская религиозность – женственная религиозность, – религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой, как *теплота мистическая*... Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, *женского божества*, освещающего плотский *быт*» [1: 23]; «На необъятной русской равнине возвышаются церкви, поднимаются святые и старцы, но почва равнины еще натуралистическая, *быт* еще *языческий*» [1: 25]. Так, понятие *быта* соотносится с женственным началом, с языческими, мистическими традициями, а *бытие* – с мужественным началом и православной религией. Важно отметить, что соотношение *бытия* и подлинной религии Христа выражено в тексте имплицитно, то есть не имеет в высказывании своего специального выражения. Сигналом наличия скрытого содержания является намеренный смысловой пропуск противоположного понятия. Осознание этого нарушения стимулирует читателя к поиску логической и событийной основы сообщения, к восполнению недостающих содержательных звеньев.

Бытие у Бердяева – это понятие *многообразное*, многоступенчатое, индивидуальное, конкретное, связано с движением по иерархической лестнице вверх, движением последовательным, движением к совершенству. В семантическое окружение субстантива *бытие* входят лексемы *иерархия*, *ступени*, *путь*: «Всякое *бытие* – индивидуально. Отвлеченность же не есть *бытие*. В отвлеченном, от всякой конкретной множественности освобожденном гуманизме нет духа *бытия*, есть пустота» [1: 136]; «Человек не может перескочить через целую *ступень бытия*, от этого он обеднел бы и опустел бы» [1: 29]; «Весь мировой *путь бытия* есть сложное взаимодействие разных ступеней мировой иерархии индивидуальностей...» [1: 139]. Высшей ступенью *бытия* является Бог /Так Бог не есть угашение всех индивидуальных ступеней многообразного *бытия*, но их полнота и совершенство/ [1: 136]. Константами *быта* у Бердяева становятся неподвижность, консерватизм, замкнутое, мертвое царство, враждебное отношение к восхождению: «Россия – страна неслыханного сервизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни государством, страна *крепкого быта* и тяжелой плоти. Россия – страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стяжателей, консервативных

до неподвижности, страна чиновников, никогда не переступающих пределов замкнутого и мертвого бюрократического царства..., страна духовенства, погруженного в **материальный быт**...» [1: 29]; Это реакционное идеализирование нередко у нас принимает форму упоенности **русским бытом**, теплом самой русской грязи и сопровождается враждой ко всякому восхождению» [1: 84]. Оппозиция *бытие* – *быт* выражается через противоположность понятий *движение* – *неподвижность*.

Следовательно, некоторые константы, свойственные понятиям *бытие* – *быт* в философско-публицистическом произведении Николая Бердяева можно представить следующим образом:

БЫТИЕ

Мужественное начало

Духовный голод

Православие

Движение вверх

БЫТ

Женственное начало

Духовная сытость

Язычество

Неподвижность, консерватизм

Построение и изучение деривационного поля ключевых слов *бытие* – *быт* позволяет выявить когнитивные признаки общего концепта *бытие*. Так, для лексемы *быт* в произведении «Судьба России» Бердяев использует следующие однокоренные единицы: *бытовой, традиционно-бытовой, самобытный (самобытно, самобытность), избыточность /Русский мессианизм не может быть связан с Россией бытовой, инертно-косной, Россией, отяжелевшей в своей национальной плоти, с Россией, охраняющей обрядоверие, с русскими – довольными своим градом, градом языческим, и страшящимися града грядущего* [1: 43]; *...Россия...означает нераскрытость, невыявленность начала мужественного, человеческого и личного, рабства у начала природно-стихийного, национально-родового, традиционно-бытового* [1: 41]; *Национальная самобытность не должна быть пугливой, мнительно себя охраняющей, скованной* [1: 102]; *Россия не любит красоты, боится красоты, как роскоши, не хочет никакой избыточности* [1: 30]/ которые позволяют выявить когнитивный признак – «общий уклад жизни».

Деривационный потенциал лексемы *бытие* представлен формами *небытие, бытийственный /Денационализация, проникнутая идеей интернациональности Европы, интернациональной цивилизации, интернационального человечества, есть чистейшая пустота, небытие* [1: 143]; *Россия бытийственный факт, через который все мы пребываем в человечестве* [1: 144], через которые передается основная мысль бытия (пустота, небытие – жизнь, бытие).

Дериваты от глагола *быть* в философско-публицистическом произведении Бердяева помогают выразить еще одно противопоставление – это противоречие России и Европы. Лексемой *бытие* окружено в тексте понятие России, а формами, образованными от слова *суть* (*существование, существовать, существо* и т. п.) – понятие Европы: *Такие русские национальные идеологи, как славянофильство, оправдывали провинциально-замкнутое, а не мировое бытие России. Россия все себя противопоставляла Европе как некоему единству. И славянофильское, и западническое сознание одинаково верило в существование Европы как единого духа, единого типа культуры* [1: 187]; *Париж – живое существо, и существо это выше и прекраснее современных буржуазных французов* [1: 218].

Понятие *бытия* может иметь высшую точку развития, а выражение *высшее бытие* выступает в данном произведении в качестве эпитета: *Человечество и весь мир могут перейти к высшему бытию, и не будет уже материальных насильственных войн с ужасами, кровью и убийством [1: 275]; И как бы ни слагалась внешняя судьба, наше дело – выковать волю к высшему бытию [1: 272]; Все народы призваны сказать свое слово, сделать свой вклад в мировую жизнь, достигнуть высшего цветения своего бытия [1: 276].*

Все формы, образованные от глагола *быть*, семантически значимы, семантически нагружены, нельзя сказать, что они отвлеченного характера, так как именно в философском произведении они наполняются особым смыслом: *Славянская раса идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою роль, уже склоняющимся к упадку; это – раса будущего [1: 39];* а в отдельных случаях эти формы выделяются авторским курсивом: *Народ должен быть* (выделено автором), *должен хранить свой образ, должен развивать свою энергию, должен иметь возможность творить свои ценности [1: 154].* В одном контексте могут сталкиваться несколько дериватов, образованных от глагола *быть*, с разными корневыми основами (*ес-*, *бы-*, *су-*): *«Совершенное единство (общенациональное, общечеловеческое, космическое или божественное) есть высшая и наиболее полная форма бытия всей множественности и индивидуальных существований в мире» [1: 136].*

Таким образом, в философско-публицистическом тексте отвлеченные понятия становятся семантически значимыми, а универсальный языковой контекстный подход, безусловно, помогает найти ключ к нетрадиционному прочтению известных явлений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Николай Бердяев. Судьба России. – М., 2005. – 333 с.

ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ

В.А. Алдатова

ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ)

В структуре предложений со сказуемым-глаголом речи употребляются лексемы, заключающие оценку этого действия. *Вот ведь с тобой и говорить-то по-человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о том, что тебе должны сказать, и отношение к этому представлению – тебе и обидно, что они не совпали* (А. Битов).

Собственно оценку выражают оценочные наречия *хорошо/плохо* (*хорошо говоришь, плохо сказано*). Но семантика глаголов речи ограничивает такую оценку. Н.Д.Арутюнова, рассматривая сочетание оценочных наречий с семантикой глагола, пишет: «Оценочное наречие обычно не охватывает все аспекты речи» [1].

Объектом оценки в рассматриваемых предложениях является глагол речи, субъектом – рассказчик, от лица которого ведется повествование, аксиологический оператор – обстоятельство образа действия. Основание оценки – чувства, впечатление.

При изучении предложений с оценкой действия, как ядро системы рассматривались инфинитивно-подлежащие предложения, а также акциональные и предложения с описательными глагольно-именными оборотами [2]. Семантика оценки действия может выражаться в словах, занимающих синтаксическую позицию как главного члена (оценочный предикат), так и второстепенного. Предметом данной работы являются предложения с глаголами речи, оценка которых выражена в обстоятельстве образа действия.

В оценочных словах говорящий (субъект) выражает свое ценностное отношение – хорошее или плохое – к объекту (в данном случае – действию, выраженному глаголом речи).

Уже выбор лексемы при обозначении процесса речи может выражать яркую оценку: «*Ну, – горделиво замычал Артамонов, – меня и без этого издали видно*» (М. Горький). **Мычать** (перен.) ‘Издавать нечленораздельные звуки, похожие на мычание (разг. фам.)’ [здесь и далее ТСУ]. «*Старуха...невнятно бормотала*» (А. Куприн) **Бормотать**. ‘Невразумительно, невнятно произносить’. «*Когда он ушел, Баймакова обиженно завывала: «Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать*» (М. Горький.). Переносное значение глагола имеет помету (вульг.) ‘Громко плакать, вопить’.

Говорящий оценивает процесс речи, воспринимая ее лексическое, интонационное, эмоциональное наполнение и соотносит это в своем сознании со шкалой ценностей – представление о том, что «хорошо» или «плохо». На формирование этих представлений влияют моральные, психологические, эстетич-

ческие нормы, которые являются главенствующими на данном историческом этапе, в определенном обществе.

«Субъективный компонент предполагает ценностное (положительное или отрицательное) отношение субъекта к объекту» [3].

Пожалуй, самый распространенный способ выражения оценки действия – наречие. *А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил: «Видали, лапы-те каковы у него длинны...»* (М. Горький). **Недоброжелательный.** «Проявляющий вражду, неприязненно настроенный». Отрицательную оценку позволяют выразить не только семы значения наречия: этому также способствует лексика контекста. *Какой-то смутный инстинкт осторожности... заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно: «Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел»* (А. Куприн). **Небрежно.** «Развязно, пренебрежительно по отношению к окружающему». *«Зачем нам секунданты, – сказал он мне сухо, – без них обойдемся»* (А. Пушкин). Одно из значений слова сухой ‘лишенный мягкости, доброты; безучастный, неласковый’.

Не несущие на первый взгляд оценку слова могут иметь оттенки значения, характеризующие слово в ценностном плане: *«Василиса Егоровна прехрабрая дама», – заметил важно Швабрин...* (А. Пушкин). Слово **важно** имеет дополнительный оттенок значения – ‘горделивый, надменно-спесивый (разг. ирон.)’, что позволяет воспринимать оценку как отрицательную. Пометы в словарях (пренебрежительное, ироническое, вульгарное) являются «индикаторами отрицательной оценочности» и показывают отношение говорящего к объекту речи [4]. Эмоциональный компонент является ярким показателем оценки.

При глаголе речи может находиться не только одиночное наречие, но и однородный ряд с разнообразной семантикой отношений: *«Еще чего скажешь – сердито и насмешливо спросила она»* (М. Горький). **Насмешка.** ‘Обидная шутка, издевка; выражение иронического отношения’. Эксплицитная сема обидная и гиперсема издевка сами заключают в себе оценку. Сердитый. ‘Выражающий раздражение, гнев’. В значении слов содержатся отрицательные коннотации, которые играют важнейшую роль в формировании оценочности. *«Мне некому даже рассказать о своей жизни – вы не поймете», – сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально* (А. Битов); *– Эк тебя, батенька, опять перекосило! – тихо, но как-то очень слышно сказал дед. Лева так и остался с половиной слова во рту...* (А. Битов).

Наречие, выражающее оценку, может иметь при себе зависимые слова.

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась она подкупленной (М. Горький);... *Ступа... смешным гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил: «Кто таков?»* (М. Горький); *«Бог в помощь», – неожиданно для себя умиленно сказала женщина...* (М. Горький).

Речь может характеризоваться также в форме сравнительной степени наречия: *Илья Артамонов все настойчивее говорил: «Поторопитесь со свадьбой, а то они сами поторопятся»* (М. Горький).

Характеристика глагола речи может выражаться существительным с предлогом. Наиболее частотные падежные формы – творительный с предлогом с, а также предложный с в: *Он ушел неохотно, тяжело шаркая ногами, а*

Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой: «Бес бородатый. Вязался...» (М. Горький); «Ты лжешь, мерзавец! – вскричал я в бешенстве, – ты лжешь самым бесстыдным образом» (А. Пушкин); «А потому, – отвечал он с адской усмешкой, – что знаю по опыту ее нрав и обычай» (А. Пушкин). Прилагательное усиливает значение существительного с предлогом, которое несет оценку, основанную на переносе; говорящий ассоциирует усмешку с абсолютным злом.

Безусловно, такие лексемы не только оценивают сам процесс речи, но через него дают оценку персонажу.

Ярко и разносторонне позволяет охарактеризовать процесс речи сложное слово, так как совмещает в себе два лексических значения: *Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково: «Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая!»* (М. Горький).

Синтаксически неделимое словосочетание обладает ярким потенциалом при оценке речи: «*Отчего же нельзя, Петрович?» – сказал он почти умоляющим голосом ребенка...*» (Н. Гоголь).

Положительную оценку позволяют сформировать семы, соответствующие представлению говорящего о понятии «хорошо».

Говорящий оценивает речь, исходя из своего отношения, восприятия душевных, моральных качеств того, кто ее воспроизводит. Может оцениваться и оформление, содержание речи: *Говоря, он произносил слова четко, задумываясь, прислушиваясь к ним...* (М. Горький). Четко. 'Ясно, точно'. *Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских...* (М. Горький.). Дельный. 'Серьезный, деловой, существенный'. *Она... говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно...* (М. Горький). Одно из значений слова *мятый* – 'скомканный' – развивает переносное значение, поясняемое в контексте: *непонятно*.

Глагол речи может оцениваться с точки зрения уместности или неуместности: «*Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть...*» (А. Пушкин). Усиливает значение наречие меры. *Повидимому, она слушала меня рассеяннo и отвечала невпопад* (А. Куприн) **Невпопад**. 'Не вовремя, неуместно, некстати (разг.)'. Субъективный аспект оценки усиливает вводное слово.

Положительная оценка глаголов речи, как и отрицательная, часто основывается на лексеме, обозначающей чувство: *Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался* (А. Куприн). Ласковый – проникнутый нежностью. «*Нет, нет, вы, пожалуйста не смейтесь*», – *весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые, задорные, татарские глаза* (А. Куприн). Контекст усиливает оценку: прилагательное задорные. «*А! Вы были у Николаевых?» – вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назнанский* (А. Куприн). Прилагательное **живой**, от которого образовалось слово **живость** имеет оттенки значения *выразительный, яркий; занимательность, увлекательность*.

В научной литературе отдельно описываются оценочный и признаковый компоненты значения в языковой семантике оценки. Не все имена качеств соотносятся с понятием «шкалы оценки», стереотипа, на которых она базируется. Большинство оценочных слов совмещают дескриптивный и оценочный смысл [5]. Прилагательные, не являющиеся оценочными, в своем лексическом

значении содержат семы – коннотативные, потенциальные, которые в сознании говорящего тем или иным образом ассоциируются с оценочным компонентом «хорошо», «плохо».

«Ульяна жалобно крикнула: Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь» (М. Горький). **Жалобный**. 'Выражающий скорбь, тоску, внушающий жалость'. В этом значении проявляется положительная коннотация. Она связана с моральными нормами и их отражением в сознании говорящего: того, кто скорбит, тоскует, следует жалеть, сострадать ему.

Оценочный компонент может вступать в противоречие с контекстом предложения: ... *Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья...* (М. Горький). **Утешить**. 'Успокоить чем-нибудь радостным' – «положительно», а в контексте – лексика с противоположным значением.

Глагол речи может быть заменен метафорой, которая формирует оценочное значение [6]: *Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свесив ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не топясь кует звено за звеном цепи слов* (М. Горький); *И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, – он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и в голове у меня, видел все лишнее, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами: «Врешь, брат!» Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность* (М. Горький). В текстах таких художников слова, как Горький, оценочная лексика неизменно сопутствует глаголам речи, наполняет контекст, создавая яркие образы героев.

Семантику оценки действия, выраженного глаголами речи, определяет, главным образом, сфера человеческих чувств, эмоций по отношению к объекту: доброта, нежность, пренебрежение, ненависть; настроение: веселость, грусть. Характеризуя речь, автор вырисовывает черты характера героя: решительность, бесстрашие, злобность, безволие. Может оцениваться уместность содержания речи: некстати, удачно (подметил); передаваться эстетическое восприятие: красиво, звучно; отношение к содержанию: участие, равнодушие, хладнокровие. Эти качества говорящий соотносит с представлениями «хорошо» и «плохо», чем позволяет выражать отношение к процессу речи через оценку.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М., 1988. – С. 222.
2. Олзоева Я. В. Выражение оценки действия в простом предложении современного русского языка. – М., 2005.
3. Маркелова Т. В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. – М., 1993. – С. 10.
4. Там же. – С. 89.
5. Там же. – С. 31.
6. Метафора в языке и тексте. – М., 1988. – С. 52-65.

ЗАИМСТВОВАННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Среди научных объектов мало таких, которые по сложности и значимости могут сравниться с человеческими языками и с процессом их функционирования и развития – с речевой деятельностью. Наука, занимающаяся изучением и описанием особенностей порождения, понимания, функционирования и развития речи, называется психолингвистикой. Психолингвистика возникла в начале 50-х годов прошлого столетия, «на стыке» двух «старейших» отраслей научного знания – психологии и языкознания (лингвистики), которые за сравнительно небольшой срок своего существования выдвинулись в число основных «речеведческих» и языковедческих наук. Как убедительно показал в своих исследованиях один из основателей отечественной школы психолингвистики А.А. Леонтьев, возникновение этой новой области науки было объективно обусловлено потребностями общественного развития человеческого общества, в частности потребностью научного познания природы психической интеллектуальной деятельности человека [1].

Основное внимание мы уделяем происхождению специальной лексики из области психолингвистики. Мы отмечаем, что в учебных пособиях, предназначенных для дефектологов, не раскрывается смысл традиционных терминов. В первую очередь, это касается терминов, заимствованных из других языков.

Заимствование иноязычных терминов представляет собой особый способ пополнения лексики, заметно отличающийся от использования средств родного языка. Увеличение масштаба заимствований, а также сложности, возникающие при освоении иноязычных терминов, требуют обратить особое внимание на процесс заимствования, на его особенности.

При изучении данного способа пополнения лексического состава языка в первую очередь необходимо решить вопрос о том, что следует понимать под заимствованием и какие термины можно считать заимствованными.

В сборнике статей по психолингвистике мы находим следующее определение заимствования: «... обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся в обозначении неизвестных прежде предметов» [2]. Это определение, характеризующее сущность заимствования, не указывает конкретных признаков, выделяющих заимствованные слова.

Тем не менее, некоторые исследователи выделяют ряд внешних признаков иноязычных заимствований, которые условно можно свести в следующие категории: фонетические, графические, морфологические, словообразовательные, синтаксические, семантические.

Существует много классификаций заимствований с учётом различных аспектов их рассмотрения. Наиболее очевидными основаниями классификации являются время заимствования, язык (источник заимствования) и сфера употребления заимствований.

Довольно очевидной представляется классификация, в основу которой положены *причины заимствования*. Они разделяются на две группы – экстралингвистические (внеязыковые) и собственно лингвистические причины.

Наиболее важная классификация основана на характере заимствуемого материала и выглядит следующим образом.

1. **Материальное заимствование**, предусматривающее заимствование материальной формы иноязычного термина и разделяемое на три разновидности: лексическое заимствование; формальное заимствование; морфологическое заимствование.

2. **Калькирование**, при котором заимствуется не материальная форма лексической единицы, а только её структура или значение. Существуют три разновидности калькирования: словообразовательное калькирование; фразеологическое калькирование; семантическое калькирование.

3. **Смешанное заимствование**, при котором одна часть лексемы заимствуется, а вторая переводится или существует в языке. Определяют две разновидности такого заимствования: гибридное заимствование; полузаимствование [3].

Терминология проходит длительный путь становления. При анализе формирующихся терминологий перед исследователем встаёт ряд сложных задач лингвистического, логического, классификационного характера. Типичным для периода формирования терминологии является языковой факт заимствования термина из другой терминологии или сферы неспециальной лексики во вторичном, чаще всего метафорическом, значении. Однако в настоящее время преобладает заимствование терминов из других терминологий или терминосистем (такое заимствование получило наименование межсистемного).

По мнению В.М. Лейчика, существует четыре вида межсистемного заимствования терминов [4]:

1. Заимствование отдельного термина.

Примером такого заимствования может стать термин **дискурс** – текст, рассматриваемый в многообразии его когнитивных и коммуникативных функций [5: 32]. **Дискурс** (от франц. discours – речь) [6: 136].

2. Заимствование фрагмента терминологии.

Основными понятиями психолингвистической концепции языка и мышления Н. Хомского являются язык, языковая способность, познание, продуктивность/креативность языка, компетенция и др. По нашим подсчётам, к заимствованным наименованиям относится примерно 45% языковых единиц [12].

3. Заимствование целой терминологии. Например: **афазия** – полная или частичная потеря речи [5: 12]. Афазия (от греч. aphasia, от а – отрицат. Приставка и высказывание) – речевое расстройство, вызванное поражением определённых зон головного мозга, обычно левого полушария. Афазия – системное нарушение речи, складывающееся из ряда связанных с первичным дефектом компонентов [6: 438].

4. Заимствование принципа построения терминологии (терминосистемы) [4: 113].

Так, современная психолингвистика включает следующие разделы:

Фоносемантика – раздел общей психолингвистики, который изучает соотношение звука и смысла в языковом сознании [5: 12]. Фоносемантика (от греч. phone – звук и logos – обозначающий) [6: 438], через англ. Phonosemantics.

Кинесика – наука о кинемах – значимых жестах, мимических, пантомимических движениях, входящих в коммуникацию [5: 56]. Кинесика (от лат. kinesis – движение) [6: 221], через англ. Kinesics .

Системология – наука о системах объектов, каковыми люди окружают свой мир, о функциях и смыслах, которые эти объекты выражают в процессе коммуникации [5: 56]. Системология (от греч. systema – целое, составленное из частей; соединение и греч. logos – слово, учение) [6: 453], через англ. Systemology.

Метаграфемика – наука о паралингвистических средствах письменного текста [5: 63]. Метаграфемика (от греч. meta – через, после) [6: 297], через англ. Metagraphemics.

Нейролингвистика – область психолингвистики, изучающая механизмы центральной нервной системы, ответственные за порождение и понимание речи [5: 114]. **Неврон, нейрон** – (от греч. neuron – жила, нерв) – нервная клетка со всеми отходящими от неё отростками и их конечными разветвлениями [8: 367]. **Лингвистика** – (от фр. linguistique < лат. lingua – язык) – языковедение, языкознание, наука о языке [8: 454].

Патография – тот вид биографии, который стремится вскрыть причинное значение телесной конструкции соматических и психических заболеваний, наследственной отягощённости, признаков дегенеративности, истерических и эпилептических состояний, сексуальных извращений, склонности к алкоголизму и других патологических признаков для понимания деятельности героя [7: 148]. Патография (от греч. patos – страдание) [8: 367], через англ. Patography.

Окулесика – наука о языке глаз и визуальном поведении людей во время общения [5: 56]. Окулесика (от лат. okulus – глаз) [9: 454], через англ. Oculistics.

Проксемика – наука о пространстве коммуникации, его структуре и функции [5: 56]. Проксемика (от лат. proximus – ближайший) – мед., анат., ближе расположенный к срединной оси тела [9: 523], через англ. Proxemics.

Хронемика – наука о времени коммуникации, о его структурных, семиотических и культурных функциях [5: 56]. Хронемика (от лат. chronika – хроника, летопись, от греч. chronika – временные; исторические книги, от chronos – время) [10: 857], через англ. Hronemics.

Герменевтика – наука о понимании текстов [11: 45]. Герменевтика – учение о принципах толкования древних текстов (от нем. Hermeneutik – Герменевтика, фр. Hermeneutique – тж., англ. Hermeneutics – тж., греч. Hermeneutikos – разъясняющий, истолковывающий) [10: 153].

Психосемантика, как особая область психолингвистики, изучает проблему происхождения, строения и функционирования индивидуальной системы знаний, опосредованной знаками языка [11: 42]. **Психо** – (от греч. psyche – дыхание, дух, душа) [10: 637]. **Семантика** – (от греч. semantikos – обозначающий) [6: 438], через англ. Psychosemantics.

По нашему мнению, эта схема удобна для интерпретации фактического материала.

Таким образом, в психолингвистике, как и в других терминологиях отбираются и заимствуются те термины, которые позволяют заполнить лакуны в изучаемой области познания. Как свидетельствует фактический материал, по-прежнему одним из самых перспективных способов пополнения отечественной психолингвистической терминологии является использование греко-латинских корней, хотя и прошедших в своём большинстве англоязычное посредство.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. – М., 1965. – С. 46.
2. Психоллингвистика. Сб. статей. – М., 1984. – С. 67.
3. Гринёв С.В. Введение в терминоведение. – М., 1993. – С. 157.
4. Лейчик В.М. Терминоведение. – М., 2006. – С. 113.
5. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психоллингвистики. – М., 2004.
6. Большой энциклопедический словарь / Под. ред. Ярцевой. – М., 1998.
7. Дружинина В.Н. Психология. – СПб., 2000.
8. Словарь иностранных слов. – 1998.
9. Большой словарь иностранных слов. – 2001.
10. Современный словарь иностранных слов. – 1993.
11. Глухов В.П. Основы психоллингвистики. – М., 2005.
12. Д. Слобин, Дж. Грин. Психоллингвистика. – М., 1976. – С. 19-22.

МЕТАФОРЫ В НАЗВАНИЯХ ПРОФЕССИЙ НА БАЗЕ СТЕРЕОТИПОВ

Многие названия профессий порождают определенные устойчивые коннотации, формирующие так называемые профессиональные стереотипы. Это связано с особенностями семантики названий лиц. Так Н.Д. Арутюнова обращает внимание на тот факт, что “отождествление лиц по функциональному (оказиональному или профессиональному) критерию не учитывает внутренних качеств и внешних признаков исполнителя” [1]. В результате чего названия профессий получают возможность реализовываться в языке как идентифицирующую, так и предикатную функцию, то есть выступают в качестве бифункциональных знаков.

Как отмечает О.П. Ермакова, о синтаксически обусловленном значении у функциональных имен впервые писал И.Б. Шатуновский, подчеркивая, что некоторые функциональные имена – *доктор, учительница, офицер* (но не *автор, кассир, новатор* и т.п.) “помимо функции имеют и другие общие характеристики, как-то: определенная форма, знаки отличия, физические и психологические качества и т.д.” [2]. О.П. Ермакова относит такого рода значения к предикатным, к тому же метафорическим. Эти значения возникают на основе коннотаций, связанных с внешними и внутренними характеристиками лица определенной профессии. В связи с этим О.П. Ермакова выделяет у названий профессий 2 типа коннотаций – коннотации по сигнификату и коннотации по денотату.

“Первые порождают метафорические значения на основе представления о самой функции” [3], то есть характеризуют лицо с точки зрения его профессиональных качеств (примитивность, неквалифицированность – *сапожник*; бюрократизм, формализм – *сановник, чиновник*; жестокость, произвол – *полицейский*; притворство, фальшь – *актер, артист* и др.). О.П. Ермакова обращает внимание на то, что коннотации такого типа чаще всего зафиксированы в словарях.

Действительно, все вышеперечисленные профессии имеют переносные значения (причем чаще всего с ярко выраженной негативной окраской), например, *чиновник* (перен.) – человек, ограничивающийся в каком-нибудь деле формальным выполнением своих обязанностей, относящийся к делу с казенным равнодушием: [Никитин] с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а *чиновник*, такой бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка (А. Чехов, Учитель словесности) [БАС]. Заметим, что у *министра* подобные негативные коннотации отсутствуют, более того, в словарях у профессии можно найти позитивное переносное значение “об умном, находчивом человеке”: По уму кто-либо – *настоящий министр*, но с пометой “шутливое”. У *политика* также есть переносное значение с позитивной окраской “о человеке, тонко и умело действующем в отношениях с другими”: *тонкий политик*. Однако *политикан* – уже презрительная номинация беспринципного политического деятеля и интригана, а также (перен.) “человека, проявляющего ловкость и предусмотрительность в отношениях с людьми для достижения

своих целей” [БТС]. Таким образом, негативные коннотации у этой профессии также лексикализованы. А у *депутата* негативные коннотации (*пустословие, формализм, взяточничество*) не закреплены в словаре, хотя в бытовом массовом сознании давно перекликаются с коннотациями чиновника.

Исследуя журналистский портрет политика и предпринимателя, С.И. Соломатов [7] обращает внимание на тот факт, что в настоящий момент происходит преодоление негативных стереотипов, связанных в общественном сознании с властью и бизнесом. СМИ пытаются ассоциировать с этими образами ряд положительных представлений, основанных на профессионализме и прагматизме лиц этой профессии. Особо автор говорит о словах *бюрократ, аппаратчик*, которые становятся обоснованием позитивной оценки героя. Однако исследователь подчеркивает, что отрицательную оценочность слов преодолеть трудно, так как она поддерживается реалиями жизни.

Таким образом, со временем коннотации могут претерпевать изменения, порой довольно существенные. Так, *адвокат* имеет переносное значение “о том, кто заступает за кого-л.”: *Хотел бы я иметь такого верного адвоката, как вы, матушка Вера Алексеевна. Никому бы меня в обиду не дали...* (А. Степанов, Порт-Артур) [БАС]. Хотя в современном мире эта профессия давно лишена ареола преданности, честности и неподкупности. Т.И. Снегова, исследуя лексико-семантическое поле профессии *юрист* в современном русском языковом сознании, говорит о том, что “на страницах газет адвокат предстает как эмоциональный участник судебного процесса..., который нередко демонстрирует нарушение принятых норм, скандальность, профессиональную некомпетентность” [4]. Недаром ещё у Н. Тэффи есть рассказ “Модный адвокат”, в котором лицо названной профессии вместо того, чтобы защищать, то есть выполнять свою прямую обязанность, способствует тому, чтобы человека казнили за “распространение слухов о роспуске первой Думы”, в результате чего название рассказа и сама профессия *адвокат* приобретают ярко выраженный иронический характер.

Анализ материала показывает, что коннотации по сигнификату отражаются в языке не только в переносных значениях, но и в уменьшительно-уничижительных номинациях (*чиновничиха, чиновничик, учителька (учительша)* и др.), производных (*актерствовать, генеральствовать* и др.); а также в характерных адъективных сочетаниях, сравнительных оборотах, фразеологизмах, специальных наименованиях: *чиновническое отношение к делу, чиновничья важность (равнодушие), чиновничий произвол; артист своего дела, артистическая натура, артистический темперамент; пить, материться, как сапожник (грузчик)* и др.

Коннотации по денотату, по Ермаковой, “чаще всего касаются внешности людей, манеры поведения и некоторых других свойств” [5]. Действительно, в текстах художественной литературы и СМИ нередко можно встретить описание “типичного” представителя какой-либо профессии: *Одна из них, высокая, с головокружительной длины ногами, настоящая красotka, прямо манекеница, только зажатая какая-то, явно испытывающая неловкость* (Влада Валеева, Скорая помощь (2002)).

В словаре у слова *манекеница* не отмечено переносного значения “красивая, стройная, эффектная женщина”, однако в массовом сознании эта профессия давно имеет подобные коннотации, что отражается в языке в характерных

сравнительных оборотах, сочетаниях с интенсификаторами прямо, просто: *Между тем через два месяца после родов Клаша стала выглядеть, как манекенщица с обложки парижского “Вога”: полуметровые прямые ноги, маленькая головка, шейка колонной, ленивые, но точные движения* (Найман Анатолий, Все и каждый // “Октябрь”, 2003).

Коннотации по денотату, по замечанию О.П. Ермаковой, “могут отражаться в производных прилагательных и “высвечиваться” в лексической сочетаемости” названий профессий [6]: *иметь вид профессора, модельная внешность, парикмахерский вид и др.*

В заключение отметим, что метафорическое значение, основанное на различных типах коннотаций, развивается у названий профессий в позиции предиката, то есть является синтаксически обусловленным. Степень четкости этого значения различна: оно может быть закреплено в словаре и реализовываться в производных, мотивированных названиями профессий, характерных аффиктивных словосочетаниях, сравнительных оборотах, фразеологизмах; или без закрепления в словаре отражаться на характере производных и лексической сочетаемости названий профессий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Арутюнова Н.Д. Логико-коммуникативная функция и значение слова // Язык и мир человека. – М., 1998. – С. 58.

2. Шатуновский И.Б. Синтаксически обусловленная многозначность («имя номинального класса – имя естественного класса») // Вопросы языкознания. – 1983. – №2. – С. 76.

3. Ермакова О.П. О синтаксической обусловленности и синтаксической подвижности метафор // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения В.В. Виноградова). – М., 1995. – С. 143.

4. Снегова Т.И. Стереотипный образ юриста в языковом сознании россиян 20 столетия: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – М., 2005. – С. 17.

5. См. [3]. – С. 143.

6. Там же. – С. 144.

7. Соломатов С.И. Ключевые слова в журналистском портрете политика и предпринимателя: Автореф. дис. ...канд. филол. наук: – Екатеринбург, 2005. С. 15.

Словари

БАС – Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. – М.; Л., 1948-1966.

МАС – Словарь русского языка: в 4 т. /АН СССР, Ин-т русского языка; под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981-1984.

БТС – Большой толковый словарь русского языка / под ред. Кузнецова. – СПб., 2006.

Н. С. Куприянова

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СМЕХА И СМЕХОВЫХ СОСТОЯНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Способность смеяться является одной из универсалий человеческой природы: во-первых, смех – это особая психофизическая реакция, выражающая разнообразные эмоциональные состояния, во-вторых, это невербальный знак коммуникации, особое неречевое действие. Представления о смехе, однако, различаются в разных культурах, и выявить эти несовпадения позволяет, прежде всего, их языковая экспликация.

Исследование языковой репрезентации смеха предполагает выявление и описание языковых единиц, отражающих смеховое состояние на разных уровнях языковой системы в семантическом, грамматическом и функциональном аспектах. На наш взгляд, оно является наиболее перспективным, поскольку позволяет очертить границы существования смеха в языке, выявить национально-культурную специфику природы смеха, структурировать концепт смеха как фрагмент русской языковой картины мира.

Одним из действенных инструментов изучения когнитивных и лингвокультурных моделей концептов становится ассоциативный эксперимент, предполагающий выявление и описание актуальных ассоциативных связей, языковых валентностей лексем-номинаций смеха (лексических и грамматических), а также стереотипных способов отражения смеховых состояний – их номинации и предикации. Ассоциативное поле, получаемое в результате проведения ассоциативного эксперимента, – это, по словам Н. В. Уфимцевой, «не только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженный в сознании «среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» [1]. Человек, овладевая словом, «автоматически усваивает сложную систему связей и отношений, в которой стоит данный предмет, и которые сложились в многовековой истории человечества» [2]. Учитывали мы и тот факт, что номинации смеха – лексемы, называющие эмоции, и потому «вероятность актуализации ассоциативных виртуальных эмотивных сем, имеющих у каждого слова данной лексико-семантической группы более велика, чем у остальных единиц лексикона любого языка» [3].

При формировании анкеты для направленного ассоциативного эксперимента (АЭ) мы использовали материалы Словаря лексической сочетаемости слов русского языка [4], Русского ассоциативного словаря [5] и Синтаксического словаря Г. А. Золотовой [6].

АЭ проводился по следующей схеме: на предъявленное слово-стимул требовалось дать первые пришедшие на ум синтагматические ассоциации: ответные реакции необходимо было получить только в рамках возможной синтаксической модели, включающей номинацию смеха. Были учтены важнейшие признаки синтаксемы: 1) категориально-семантическое значение слова (номинации смеха), 2) соответствующая морфологическая форма, 3) вытекающая из (1) и (2) способность синтаксически реализовываться в определенных позициях. В процессе АЭ были выявлены синтагматические ассоциации – лексемы,

грамматический класс которых отличен от грамматического класса слова-стимула.

В ходе АЭ было предложено заполнить пробелы, отвечая на вопросы, обусловленные грамматической природой слов-стимулов и грамматической природой русского предложения, а именно: *смех* (какой?), *смеяться* (как?), *смеётся* (кто?), *смеяться* (над кем/чем?), *смешной* (кто?), *смеяться* (что делать?) и др.

В эксперименте участвовали 927 человек (394 юноши, 533 девушки): студенты технических и гуманитарных специальностей вузов в возрасте от 17 до 25 лет, средний возраст испытуемых – 20 лет. Общее количество вербальных реакций – свыше 20 000. Статистическая обработка результатов позволила выявить инвариантные особенности рассматриваемого явления, характеризующие, в частности, виды, субъект и объект смеха. Остановимся на некоторых из них.

1. Виды смеха. Атрибутивные сочетания *смех* (какой?).

Количество вербальных реакций – 4256. Количество лексем, образующих круг сочетаемости – 564.

Наибольшую частотность обнаружили прилагательные: *громкий* (588), *веселый* (560), *заразительный* (401), *истерический/истеричный* (379), *звонкий* (290), *тихий* (229), *радостный* (228), *задорный* (210), *добрый* (201), *злой* (197), *заливистый* (191), *глупый* (175). Это результаты совпадают с данными Русского ассоциативного словаря (курсивом выделены синтагматические ассоциации атрибутивного характера, совпавшие с результатами нашего эксперимента):

Смех: *звонкий* 9; радость, сквозь слезы 7; и слезы 6; *веселый, громкий, истерический*; и грех 4; *заразительный* 3, анекдот, весело, *глупый*, грех, *детский, саркастический*, слезы юмор 2; плюс 15 минут к жизни, балдеть, в глазах, вопль, *гомерический, горький*, девочка, дом, за дверью, *задорный, заразный, звучный, здоровый*, игрища, *идиотский, истеричный*, компания, куры, *лошадиный*, от души, отлично, плач, праздник, прекрасная улыбка, пугать, рефлекс, ржачка, следы, слышен, соседа, *счастливый*, телевизор, услышав 1, ха-ха, хохот, хрип, цирк, человек, шутка, эмоция 1.

Заметим, что значительное преобладание реакций *громкий* и *веселый* может быть обусловлено и тем, что словосочетания *громкий смех* и *веселый смех* являются речевыми штампами.

Языковые средства, маркирующие смех, представлены широким кругом имен прилагательных, реже причастий, еще реже формами имен существительных (*сквозь слезы, без причины, от души, как лошадь/у лошади, не к месту/к месту, с издевкой/иронией/сарказмом* и др.) и наречиями (*взахлеб, до упаду* и др.). Ассоциативные маркеры смеха в большинстве своем содержат сему оценки *хороший/плохой*. Разумеется, такое деление не абсолютно, о преобладании той или иной составляющей лексического значения говорить трудно, однако в группе, характеризующей психическое состояние субъекта смеха, наблюдается явное деление на подгруппы, находящиеся в антонимических отношениях и выражающих положительную (*радостный* (228), *добрый* (201), *добродушный* (7), *жизнерадостный* (22), *счастливый* (58), *беззаботный* (14), *приятный, задорный, хороший* (9), *милый* (3), *обаятельный* (2), *очаровательный* и др.) или отрицательную оценку (*злой* (197), *злобный* (25), *злорадный* (15), *недобрый, неприятный, противный, страшный, ужасный, жуткий, сквозь слезы, грустный* (51), *горький* (7), *мрачный, печальный* (6) и др.).

Заметим, что количество маркеров психического состояния, выражающих положительную оценку, меньше, чем аналогичных с отрицательной оценкой (соотношение приблизительно $\frac{1}{2}$). Однако ассоциативная частотность «положительных» выше.

Значимость смеха в коммуникации подтверждается многочисленными примерами. В ходе эксперимента были выявлены ассоциаты, характеризующие степень осознанности смеха и позволяющие даже говорить о смехе как об орудии манипуляции (*наигранный, фальшивый, неестественный, искусственный, деланный, лживый, притворный, ненастоящий, неправдоподобный, напускной, показной, нарочитый, принужденный, вынужденный, заискивающий, лицемерный, обманчивый, умышленный, неискренний*); как о средстве позиционирования субъектов коммуникации (*высокомерный, надменный, покровительственный, снисходительный, робкий*); как о средстве оценки отдельных действий (в том числе речевых) или поведения коммуникантов (*одобрительный, одобряющий, благодарный*) и др.

2. Субъект смеха. Смеется (кто?).

Общее количество: 1336 реакций. Круг сочетаемости: 341 лексема.

Человек (137), друг (90), я (82), ребенок (45), дети (40), он (37), мама (35), подруга (33), солнце (28)/солнышко (15), клоун (26), друзья (21), прохожий (20), папа (20) и др.

Данные эксперимента подтверждают представление о том, что смеяться способен только человек (подавляющее большинство реакций – одушевленные имена существительные). Включение в круг сочетаемости неодушевленных существительных обусловлено их «очеловечиванием» (приписыванием животным или неодушевленным предметам человеческих качеств) либо, как следствие, речевыми штампами, которые, в свою очередь, родились как метафоры.

3. Объект смеха.

А. Смеяться (над кем/чем?). Общее количество: 1796 реакций. Круг сочетаемости: 310 лексем.

Над собой (337), шуткой (205), анекдотом (174), другом (158), человеком (118), ситуацией (74), фильмом (72), клоуном (72), животными (56), историей (45), глупостью (43), рассказом (38), людьми (35), жизнью (34) и др.

Абсолютное преобладание варианта *над собой* заставляет задуматься о том, является ли это представление, закрепленное в русском языке, общечеловеческим или оно отражает особенность лишь русского национального самосознания.

Б. Смешной (кто?) Общее количество реакций – 1498, количество лексем, образующих круг сочетаемости – 338.

Человек (213), анекдот (102), случай (74), клоун (60), фильм (68), ситуация (53), история (41), ребенок (41), животное (40), поступок, книга, одежда, походка, вопрос, преподаватель, дети и др.

Смешной – то есть вызывающий смех, нелепый, не соответствующий нашим представлениям об идеале. Синтагматические ассоциации на данный стимул показывают, что смешным может быть человек и все, что так или иначе связано с человеком: анекдот (история, рассказанная человеком о человеке), случай, ситуация (в которой оказался человек), поступок, одежда, походка (человека) и пр.

Таким образом, результаты эксперимента позволяют сделать вывод о

существовании устойчивых и регулярных способов языковой репрезентации смеха в русском языке. Это подтверждается существованием обширного ассоциативного поля концепта *смех*. Широта ассоциативных связей номинаций смеха позволяет судить о многообразии видов смеха, о неоднозначности этого явления в представлении русских: большая часть синтагматических ассоциатов лексемы *смех* имеет оценочный, амбивалентный характер. Данные эксперимента свидетельствуют также о наличии в русском языковом сознании стереотипных представлений о субъекте и объекте смеха.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Уфимцева Н. В. Психолингвистика и межкультурная коммуникация // Речевая деятельность. Языковое сознание. Общающиеся личности. 15 Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Тезисы докладов / Под ред. Е.Ф. Тарасова. – М., 2006. – С. 308.
2. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. – М., 1975. – С. 254.
3. Шаховский В.И., Сорокин Ю.А., Томашева И.В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология). – Волгоград, 1998. – С. 149.
4. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под. ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. – М., 2002.
5. Русский ассоциативный словарь. В 2-х кн. Книга 1. Прямой словарь: от стимула к реакции // Сост. Ю.Н. Караулов и др. – М., 1994.
6. Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. – М., 1988.

О.В. Малоземлина

НАЗВАНИЯ ПИРОГОВ В КАМЧАТСКИХ ГОВОРАХ

Камчатские говоры – одна из интереснейших, но недостаточно изученных диалектных групп севернорусского наречия; это говоры метисированного населения полуострова Камчатка: с одной стороны, «окамчадалившихся» русских, с другой – обрусевших ительменов. В целом, «языковая ситуация на полуострове может быть охарактеризована как многокомпонентная трёхязычная: языковое разнообразие полуострова представлено русским, ительменским и корякским языками с учётом их диалектной неоднородности» [1].

Целью настоящей статьи является описание и анализ лексики камчатских говоров, обозначающей названия пирогов, входящих в родо-видовую группу «Названия выпечных изделий», являющейся частью лексико-семантической группы «Названия пищи».

Камчадалами выпекаются самые разнообразные виды пирогов. Они различаются по форме (закрытый – открытый), по качеству или виду теста (кислое – пресное), по способу приготовления (пирог-самоделка, слоёный пирог); в зависимости от начинки различают пироги рыбные, мясные, ягодные и т. п. Одним словом, всё, чем богата камчатская флора и фауна, используется в качестве основных ингредиентов для приготовления начинки для пирогов.

Лексема **пирог** – общерусская, имеет в литературном языке (далее ЛЯ) следующее значение: «Печеное изделие из теста с какой-л. начинкой» [2]. В говорах слово функционирует с идентичным значением: *Йа тут мно́гих научи́ла пиро́ги ста́вить, сестра́ прие́жжэ́йт, говори́т, што́ у меня́ пиро́ги краси́вые*. Длн. *Пиро́ги стра́пали*. Клч. *Пю́рэ с ыкро́й разло́жат, свэ́рху йаи́чько би́ли, э́то пиро́к получи́лся*. Млк. *Фче́ра ф се́бя пришла́, но́чьйу пиро́к спекла́*. Сбл. [3]. В качестве синонимичного наименования в говорах используется лексема **ку́рник**: *Пира́ги ку́рники пикли́*. У.-Б. В МАС 1981-1984 гг., на который ссылаемся при толковании значений общерусских лексем, подобное слово не зафиксировано. Зато в БТС данное наименование представлено двумя акцентными (различающимися местом ударения) вариантами **ку́рник** : **курни́к** [4]: «Национальное русское блюдо: праздничный или обрядовый пирог из сдобного пресного теста с начинкой из курятины с белыми грибами, яйцами, петушиными гребешками, пряной зеленью» [5]. В связи с этим считаем лексему **ку́рник** общерусской с иным семантическим наполнением в говорах камчадалов.

В зависимости от формы различаются следующие виды пирогов: **пирог закры́тый** и **пирог откры́тый**. **Пирог закры́тый** – пирог с начинкой, покрытый сверху тестом. **Пирог откры́тый** – это пирог с начинкой, который сверху тестом не покрывается. Причём рыбные пироги или пироги, в которых в качестве начинки используется мелко нарубленное отварное яйцо вперемешку с луком, бывают только закрытыми, а вот сладкие пироги – открытой формы: *Смотри́ какóй пиро́к: йе́сли ры́бный и́ли йаи́чько с лу́ком, закры́тый, а сла́ткий – откры́тый, кто како́йе украше́ние де́лает, арома́тный, ни че́та самоде́лке, хотя́ э́то то́жэ самоде́лка*. Млк. *Сла́ткий – откры́тый, а с ры́бой – закры́тый*. Сбл. В приведённых контекстах встретилось наименование **пирог-самоделка**, что означает: «Пирог, изготовленный в домашних условиях».

В зависимости от качества, вида теста пироги у камчадалов подразделяются на **пирогі́ кі́слые** (тесто для которых готовится опарным способом) и **пирогі́ прэ́сные** (тесто в основном состоит из муки и воды, без закваски): *Ма́ма пекла́ не кі́слыйе пирогі́, а пирогі́-сло́йбнки, прэ́сныйе*. Длн. Наименования **пирог-слоёнка** и **пирог прэ́сный**, встретившиеся в данном контексте, используются информантом как синонимичные.

В зависимости от начинки различаются следующие виды пирогов:

Пирог ры́бный – пирог, в качестве начинки для которого используется рыба (свежая, консервированная, солёная), чаще всего это чавыча, так как её мясо отличается высоким процентом жирности (по сравнению, например, с неркой): *Йа пирок с цавы́цей гото́вила, фкусня́тина бы́ла. Ры́бны пирогі́ пеклі́*. Клч. *Ры́бныйе пирагі́ ис солё́най ры́бы. Ры́бный пыйро́к гото́вили, как ы щя́с: те́сто, внут́рь ры́бу и ф пе́цку*. Млк. *Ма́ма ры́бныйе пирогі́ пекла́, больш́ыйе. Распласта́ли ры́бу, немно́шко поцсо́лили, све́рху рис мо́жно. Капу́ста, ры́ба, и закрыва́ли све́рху. А йе́щё чере́мшү́* (вид дикорастущего лука, по вкусу и запаху напоминающий чеснок) *кла́ли*. Сбл. *Ры́бныйе пироги – рис, консе́рва, лук*. У.-Б. *Ка́ждый пра́зьник с ры́бным пиро́гом*. У.-К. Зафиксированы номинативные варианты (различающиеся структурно, то есть с одной стороны вариантной пары свободное сочетание, с другой – устойчивое составное) – **пирог с ры́бы : пирог с ры́бой**: *Пирок с ры́бы, све́рху риси́ү, копу́сту, лук*. Млк. *С йа́годой пирогі́ и с ры́бой. Пластінку́* (пласт) *ви́пластайут, леплёску све́рху покладу́т и сні́зу леплёску и ф пе́чку ста́вят*. Длн. *Пирок с ры́бой стря́пали. Те́сто разло́жыш, пото́м ры́бу, рис, лук, пото́м сно́ва те́сто, и ф пе́цку. Пирок с ры́бой накрыва́ли, а то ф пе́чке ры́ба згорі́т*. Млк. В говорах отмечены синонимичные наименования **ры́бного пирога́** – **по́рсень** = **солони́к** = **вы́скачка : ви́скоцка**: *Из ры́бы пирок де́лали – по́рсень*. Тгл. *Солони́к так потя́паш: ры́бу поло́ш, со́ли нало́жыш, вот ы пиклі́*. Квр. *Бы́ло, называ́ли пирок вы́скоцька. Пирок ры́бный ви́скоцкой* (называли), *на стол пе́рвый подайо́ца*. Млк. *Пеклі́ ры́бный пирок, ви́скоцкой называ́лься. Он подайо́ца пе́рвый на стол*. Крг. Как видно из приведённых контекстов, рыбный пирог получил у камчадалов название **вы́скачка** потому, что подаётся на стол в первую очередь. Данное наименование функционирует в говорах также в общерусском значении (значение 1 ЛЯ): ‘Разг. Человек, который, желая выслужиться, выдвинуть себя, вмешивается во все раньше других’ [МАС, 1: 280]: *Вы́скоцька. Фперё́т фсех говори́ть. Фперё́т высека́лось, говори́ла фперё́т, запрётна што-то ска́жэш, вы́скочил и сказа́л. Вы́скоцька – тот, кто шы́пко лю́бит фперё́т вы́скаки́вать, шы́пко гра́мотный, у́мный. Сама́ ничево́ на сообража́ет, а лэ́зет. Ино́й рас поруга́ют, пожуря́т «Пирок-вы́скоцька»*. Млк.

Кулебя́ка – общерусская лексема, обозначающая: ‘Продолговатый большой пирог с рыбой, мясом, капустой, кашей и т. п.’ [МАС, 2: 147]. Значение лексемы в говорах соответствует значению, зафиксированному в ЛЯ. Также в говорах отмечен оттенок значения: ‘Пирожок с рыбой’: *Кулебя́ка – она бо́льшэ, и на ма́сле, и в духо́вке*. Млк. || *Бори́ц ва́рят с ры́бой. Из ры́бы фсе́ што уго́дно. И бори́ц, и кулебя́ку – те́сто кі́слые на дрожжа́х, как пирожо́к*. Млк. В приведённом контексте лексема **пирожо́к** используется в общерусском значении: ‘Уменьш. к пирог; маленький пирог’ [МАС, 3: 124]: *Се́рцэ́* (медвежье) *ва́рят, отлі́чно ф пирошки́*. Млк. *Ма́ленькийе пирошки́ с ры́бой*. Сбл. Для номинации пирожков, начинка в которых – рыбы пупки́ (жирная часть рыбьего брюшка

около нижних плавников, считающаяся у камчадалов деликатесом), в говорах используется составное наименование **пирожок с пупков**: *Пупки срезали, solúlu, коптílu, пироскí с пупкóф*. Кмн.

Пирог ягодный – пирог, в котором в качестве начинки используется ягода, чаще всего морошка или голубика: *Йáгодныйе пироги тóже фкúсныйе пикли́*. Длн. Зафиксированы номинативные варианты – **пирог с ягодой**: **пирог с ягоды**: *Пирогí рáньсе пекли́. С йáгодой пироги́ и с рíбой*. Длн. *С йáгодой пироги́ пикли́. Пирок с йáгоды дéлайут. У зенихá дéлайут пирок с морóски, голуби́цы*. Млк. Для номинации **пирогá с морóшкой** в говорах также используется номинативный вариант **пирог морóшечный**: *Пирогí из йáгот, голубéль* (голубица), *брусни́ца* (брусника), *морóсосны пироги́*. Кмн. В качестве синонима к номинативным вариантным наименованиям **пирог ягодный**: **пирог с ягодой**: **пирог с ягоды** используется синоним – **пирог слáдкий**: *Пекли́ слáткие пироги́. Нацúнку вари́ли*. Длн. *На прáзьник вари́ли борщ, пирок дéлайут с рíбы, потóм пирок дéлайут с йáгоды, назывáйут слáткий пирок*. Млк.

Пирог с мя́сом – пирог, в качестве начинки в котором используется мясо: *Пирок с рíбой, пирок с мя́сом*. Млк.

Пирог с кипр́еем – пирог, в качестве основного ингредиента которого используется мякоть из стебля растения **кипр́ея** = **Иван-чая** (это высокое травянистое растение семейства кипрейных с пурпурно-розовыми цветками): *Пирогí с кипр́еем дéлали*. Млк.

Пирог с саранóй – пирог, в качестве начинки для которого используется **саранá** (**сарáнка**). Саранóй камчадалы называют несколько видов растений семейства лилейных с луковичным корнем, обладающим пищевой ценностью, а также сам луковичный корень этих растений: *Сарана. Она круглая, белая. Её копают, промивают на рец'ки. И потом на иголку надевают и потом весат на сонци. И когда висохнит, пироски стряпат мозно и ф суп класт' наместо ришу /Коз./ [СРКН: 153]. Пирогí пекли́ с саранóй, йа их йещё терпéла*. Млк. *Пирогí с саранóй ба́бушка пекла́*. Сбл.

Пирог с черёмухи – пирог, начинка для которого приготавливается из ягод черёмухи: *И óчень-óчень фкúсныйе пираги́ с черёмухи*. Длн.

Пирог яи́чко с лу́ком – пирог, в качестве начинки в котором используется мелко нарубленное отварное яйцо вперемешку с луком: *Смотря́ ка́кой пирок: йесли́ рýбный или́ йаи́чко с лу́ком, закрýтый, а слáткий – открýтый, кто ка́койе украшэ́нийе дéлайет, аромáтный, ни четá самодéлке, хотя́ это тóжэ самодéлка*. Млк.

Таким образом, проанализированный материал позволяет сделать следующие выводы. Названия пирогов в камчатских говорах представлены однословными и составными наименованиями как общерусского (лексемы, функционирующие в ЛЯ и в говорах), так и собственно диалектного характера (лексемы, характерные только для камчатских говоров и отсутствующие в ЛЯ). Для лексики, представленной в статье, свойственны отношения синонимии и вариантности, что позволяет сделать вывод о её системном характере.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Глущенко О. А. Лингвистическое краеведение: камчатские говоры. Учебно-методическое пособие. – Петропавловск-Камчатский, 2004. – С. 8.

2. Здесь и далее семантическая структура слов представлена через словарные дефиниции Словаря русского языка (МАС): В 4-х т./ АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981-1984. – Т. 3. – С. 124. Далее в скобках том и страницы указаны по этому изданию.

3. Иллюстративный материал, представленный в статье, выбран из карточки лаборатории региональной этнолингвистики Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ им. Витуса Беринга), а также из Словаря русского камчатского наречия под редакцией К. М. Браславца (СРКН). – Хабаровск, 1977. – 195 с. Контексты, взятые из СРКН, приведены в том виде, в каком они представлены в Словаре.

4. Здесь и далее через «:» приведены вариантные наименования, через «=» – синонимичные.

5. Большой толковый словарь русского языка (БТС) / Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб., 2006. – С. 482.

Список населённых пунктов Камчатского края и их сокращений

Долиновка – Длн.	Ковран – Квр.	Тигиль – Тгл.
Каменское – Кмн.	Козыревск – Коз.	Усть-Большерецк – У.-Б.
Кирганик – Крг.	Мильково – Млк.	Усть-Камчатск – У.-К.
Ключи – Клч.	Соболево – Сбл.	

С.Г. Михейкина

О ПРОВЕДЕНИИ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И СОЗДАНИИ АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 2002 – 2007 ГГ.

Ассоциативные эксперименты отражают определенную лингвистическую реальность, состоящую в том, что между словами в словаре имеются разнообразные ассоциации, на что в свое время указывал еще Фердинанд де Соссюр.

Первый словарь ассоциативных норм русского языка под редакцией А.А. Леонтьева [1977] включал данные по 196 словам [первый выпуск]. Словарь имел четко определенную направленность на преподавание русского языка студентам–иностранцам и предлагался для использования составителям учебников, учебных пособий и словарей.

С 1989 по 1998 в России проходили исследования и издание отдельных частей «Ассоциативного тезауруса современного русского языка» – объемная и трудоемкая работа, направленная на проведение массового ассоциативного эксперимента. Сбор материала проводился в три этапа, в течение десяти лет. Было использовано около 7000 стимулов, принадлежащих к различным частям речи, – слов, словоформ и словосочетаний. В ходе массового эксперимента было опрошено 11000 тысяч студентов, в основном первых – третьих курсов разнопрофильных вузов. Результатом проведенной работы явился Русский ассоциативный словарь в 2-х томах под редакцией Ю.Н. Караулова [2002].

Обработанные результаты массового ассоциативного эксперимента – бесценный научный труд, уникальный документ периода перестройки, беспристрастное «зеркало» не жизни языка в целом, а ментально-эмоционального состояния его среднего носителя в определенный исторический момент его жизни, а значит, жизни общества. Однако нам кажется спорным утверждение составителей словаря о том, что «Русский ассоциативный словарь – это «выход» в будущее сознание русских, живущих в XXI столетии» [1: 4]. Данному выводу послужили следующие разъяснения составителей словаря. Возрастной состав участников эксперимента – 17–25 лет. В этом возрасте становление языковой личности в основном завершается, и ее структура остается относительно стабильной на протяжении всей жизни. Следовательно, анализируя социальные, этические, историко-культурные, прочие оценочные реакции испытуемых, можно прогнозировать некоторые характеристики состояния массового сознания в российском обществе на ближайшие десятилетия, то есть на период, когда испытуемые будут составлять активное ядро общества. На наш взгляд, структура языковой личности не остается стабильной на протяжении всей жизни, ментально-эмоциональное состояние среднего носителя языка меняется в зависимости от жизненных приоритетов: образования, профессии, социального положения и многих факторов [субъективных и объективных], влияющих на выбор реакции. Сеем предположить, что частотные реакции на отдельные слова-стимулы, данные в РАС, спустя 10-15 лет, окажутся единичными или же полностью перешедшими в глубины «семантической памяти», представляя собой скрытые резервы языка.

Для выявления «ассоциативного профиля» русского языка на современном этапе мы решили провести ассоциативный эксперимент, а на основе обобщения результатов создать Ассоциативный словарь русского языка на материале экспрессивных газетных заголовков. Во-первых, это позволит провести сравнение с данными РАС. Во-вторых, послужит объективным отражением современной действительности, так газета мгновенно реагирует на все социально-политические изменения в обществе, являясь оперативно-информационным источником для населения. Отбор экспрессивных заголовков для иллюстрации подобного словаря поможет сориентироваться на массового читателя, чье внимание стремится привлечь большинство изданий.

Проведенный нами ассоциативный эксперимент представляет собой разновидность свободного ассоциативного эксперимента – с регистрацией первичного ответа. В ассоциативном эксперименте приняли участие 300 человек в возрастном интервале 20–50 лет, имеющие высшее и незаконченное высшее образование [в основном студенты МГТУ «МАМИ» и МПГУ разнопрофильных факультетов].

Цель эксперимента: выявление «ассоциативного профиля» русского языка, создание Ассоциативного словаря русского языка на материале экспрессивных газетных заголовков.

Для проведения ассоциативного эксперимента было использовано 160 слов-стимулов. Они были включены в анкету – по 40 в каждую – и предложены участникам эксперимента. Каждый участник эксперимента, получивший анкету, в течение 5 минут должен был заполнить ее, записав против каждого стимула, только одну, первую пришедшую ему на ум ассоциацию-реакцию, вызванную этим стимулом. Реакция могла быть выражена в виде слова в любой форме, в виде словосочетания или фразы. Формирование словника стимулов определялось следующим образом. Обработанные результаты проанализированных экспрессивных газетных заголовков выявили некую частотность слов, встречающихся в качестве опорных для газетных заголовков разных изданий. Таким образом, были сформированы 4 группы слов, предложенные в качестве стимулов для реципиентов. Параллельно автором данной научной работы проводился сравнительный анализ этих слов по ассоциативным и частотным словарям разных лет. Сравнительно-сопоставительный анализ показал, что отдельные, выбранные нами единицы русского языка как наиболее частотные в газетах на современном этапе отсутствуют в Русском ассоциативном словаре под редакцией Ю.Н. Караулова [2002], Словаре ассоциативных норм русского языка под редакцией А.А. Леонтьева [1977], Частотном словаре русского языка под редакцией Л.Н. Засориной [1977], Частотном словаре языка газеты Г.Н. Поляковой и Г.Я. Солганик [1971] [2].

Из 160 лексических единиц данного словника в ассоциативных словарях отсутствуют 30, то есть около 20%. В рамках данного исследования не ставится цели выявить все слова-стимулы, актуализированные на современном этапе в качестве газетных заголовков и отсутствующие в ассоциативных словарях. Это может быть продолжением нашего исследования, делом будущего. Наша задача заключается в обнаружении самой тенденции изменения «семантических сдвигов» в сознании носителей языка. И дело не в том, что с течением времени происходит количественное изменение реакций на слово-стимул, превращение частотной реакции в единичную, хотя это тоже очень важно, а в том, что

в ассоциативных словарях и проводимых ранее ассоциативных экспериментах отсутствуют слова, востребованные сегодня для привлечения массового читательского внимания.

В ходе эксперимента было получено более 40 000 ответов-реакций. Упорядочение и классификация полученных реакций позволили составить словарь, который был дополнен примерами экспрессивных газетных заголовков. Настоящий словарь [от стимула к реакции] – прямой словарь. В дальнейшем планируется создание обратного словаря [от реакции к стимулу], который будет являться индексом первого.

Структура составленного нами словаря такова:

- слово-стимул;
- звездочками отмечены слова, отсутствующие в Русском ассоциативном словаре в 2-х томах/ Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.Ф. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов [2002]/ Словаре ассоциативных норм русского языка под редакцией А.А. Леонтьева [1977];

- в скобках дана частотность слова-стимула по двум словарям: Частотный словарь русского языка под редакцией Л.Н. Засориной [1977]// Частотный словарь языка газеты/Г.Н. Полякова, Г.Я. Солганик [1971]. По первому изданию представлен следующий цифровой ряд: общая частота/ число появлений слов в газетных [журнальных] текстах/ количество публицистических текстов [максимально 15]. По второму – первая цифра означает частотность слова, вторая – количество тем, в которых оно встретилось [максимально 10]. Если слово отсутствует, на его месте стоит прочерк;

- слова-реакции расположены в последовательности от более частых к менее частым [если имеется несколько слов с одинаковой частотностью ассоциаций, то они даются в алфавитном порядке];

- количественные характеристики в конце словарной статьи:

I цифра – общее число реакций на слово-стимул;

II цифра – на число разных реакций;

III цифра – на число отказов испытуемых;

IV цифра – на число единичных реакций;

- примеры экспрессивных газетных заголовков.

В качестве примеров приведем несколько словарных статей:

Билет [59/25/9// -/-] – в кино 20, на поезд 17, экзамен 15, проездной 14, студенческий 10, купить 5, железнодорожный, поезд, трамвай, трамвайный, автобус 4, вопрос, входной, касса, экзаменационный 3, домой, ехать, лотерейный, на электричку, счастливый 2, авиа, без билета, белый, билетов нет, бумага, бумажка, взять, возьми, вокзал, вытянуть, выучить, в детство, в Кремлевский дворец, в один конец, в театр, в Театр сатиры, деньги, дорогой, жесть, кассир, кинотеатр, кондуктор, контролер, контроль, концерт, лишний, на самолет, на футбол, на экзамене, не смогла ответить, номер семь, партийный, проезд, пропуск, проходить, ряд, сдавать экзамены, синий, трудный, ужасный 1. 165+62+0+42

Д. Харатьян: Никогда не знаю, вытяну звездный билет или волчий [ВМ]; Билет виртуален, полет реален [МК]; Билет без проезда [АиФ]; Билеты за деньги. Или за поцелуи! [СС], Билет в детство Счастливого [СЭ].

Битва /* [80/16/5// -/-] – сражение 9, война, насмерть 8, защищать Родину 7, победа, поле 5, враг 4, не на жизнь, а на смерть, не сдаться 3, атака, вин-

товка, выстоять, до победного конца, за Москву, Куликовская, кровавая, Сталинградская 2, Аустерлиц, беспощадная, биться до конца, борьба, ветераны, вечная память, внезапное нападение, войско, выжить, герой, драка, драться, драться с врагом, дойти до Берлина, жестокая, за место под солнцем, за Родину, за Русь, за урожай, за что-то, награда, Наполеон, на поле боя, на ринге, не сдаться врагу, неприятель, много горя, оружие, отдать жизнь, пленный, поле боя, Полтавская, поражение, при Ватерлоо, смерть, спортивная, рыцарь, танков, тяжелая, убить, умереть, умов, ура, храбрый, храбрые воины, штык 1. 115+63+0+47

Сталимирская битва [СС]; *Битва экстрасенсов: кто грамотнее снимет порчу. Вместе с деньгами* [Т]; *Да это будет битва!* [Т]; *Битва Полтавского* [СС]; *Сражение проиграли. Битва впереди!* [СЭ]; *Битва со временем* [ВМ]; *Ибрагимов – Холифилд: битва хороших парней* [СЭ]; *Это не выставочные игры – битва!* [СС]; *Битва в тумане «Гороховый суп»* [СЭ].

Кредит */* [6/3/3// -/-] – банк 12, заем 9, кабала 7, взять, выплатить, долг, невыгодно, отдать, погасить 4, кредитор 3, взять в кредит, взять машину, доллары, дорогостоящая покупка, кредитоспособность, машина, не дать, неплатежеспособность, отказать, платежеспособность, покупка 2, большие комиссии, глупая затея, доверие, заем в рублях, краткосрочный, кредит доверия, купить в кредит, купить квартиру, на доверии, на пять лет, не стоит, переплата, проценты 1. 100+35+7+13.

Кредит индивидуального покроя [МК]; *Уловки оКРЕДИТации* [АиФ]; *Все ли вы знаете вы о своем кредите?* [ВМ]; *Кредит кошельку вредит* [АиФ]; *Аггариям выдали кредит – доверия* [АН], *Береги кредит смолоду* [МК].

Данное издание имеет ряд особенностей, отличающих его от словарей подобного типа:

1. Впервые словарь содержит иллюстративный языковой материал, полученный методом сплошной выборки из периодических изданий 2002-2007 гг. и является ценным источником лингвистической и экстралингвистической информации. Газета, являясь оперативно-информационным жанром, посредством экспрессивных заголовков стремится привлечь внимание большинства читателей. Частотность лексических единиц, выбранных в качестве опорных слов для создания экспрессивного заголовка, говорит о том, что данные единицы представляют собой «лексический пласт», актуальный на современном этапе для большинства носителей языка.

2. Данное издание включает слова-стимулы, отсутствующие в Русском ассоциативном словаре [2002] и Словаре ассоциативных норм русского языка [1977], но являющихся частотными в современном русском языке, что подтверждается многократной письменной фиксацией в печатных изданиях. Это позволяет подчеркнуть ценность проведенного научного исследования в качестве важного дополнения к уже имеющимся уникальным документам отражения русского языка и языкового сознания его носителей.

Сравнивая ассоциативные данные РАС, отражающие языковое сознание носителей русского языка периода перестройки, с данными нашего исследования, мы имеем возможность наглядно увидеть семантические сдвиги ассоциативного ряда среднего носителя языка. Частотные ассоциации 80-х уходят на задний план в современном отражении языковой ситуации. Так, по данным РАС, на слово-стимул «билет» первым по частотности словом-реакцией

является «на балет» с количественной характеристикой 53 из 192 ответов. В настоящее время это реакция отсутствует вообще как «первая пришедшая в голову». Однако ее частотность в конце 80-ых вполне объяснима в связи с популярностью песни И. Корнелюка, когда вся страна распевала припев: «Есть билет на балет...». Сегодня, по данным нашего эксперимента, эта ассоциация отсутствует даже у тех, кто 20 лет назад был поклонником И. Корнелюка. Далее. Ушла в языковом сознании «битва за колбасу», зафиксированная в РАС; неактуальным стал ответ «передача» на слово-стимул «взгляд». Массовое сознание российского общества уже не реагирует на слово-стимул «власть» реакциями «Советов», «Советам», «советская», как некогда самые частотные. Но дело не только в том, что ушли в прошлое «советизмы» – это закономерно: уходит реальность, а вместе с этим ее наименование становится историзмом. Важно то, что произошли изменения в количественных характеристиках оставшихся реакций. Слово-реакция «деньги» на слово-стимул «власть» вместо прежней цифры 3 получило индекс 10.

Новый ракурс рассмотрения данных ассоциативного эксперимента обуславливает ценность проведенного исследования в связи с практической направленностью словаря, которая позволяет расширить спектр применения научного изучения ассоциативных данных.

Итак, о практической направленности словаря:

1. Словарь представляет богатейший материал для анализа с точки зрения психолингвистики, психологии, социологии, лингвострановедения и других научных дисциплин.

2. Данные словаря представляют отражение массового сознания в российском обществе сегодня, а также скрытые резервы языка в отражении лингвокреативного мышления, то есть по существу являются ярким фрагментом современной языковой научной картины мира.

3. Ассоциативные данные словаря в параллели с иллюстративным газетным материалом позволяют журналистам спрогнозировать «судьбу» заголовка, определяя место опорного слова заголовка в «семантическом поле» носителей языка, а соответственно, откорректировать «степень воздействия» в зависимости от поставленных целей и задач того или иного публицистического материала.

4. Практическая направленность словаря для преподавания русского языка как иностранного помогает методически грамотно выстроить программный материал «Язык газеты», отражая наиболее частотные семантические [парадигматические/ синтагматические] связи слов; а также дает прекрасный иллюстративный материал для усвоения ассоциативно-семантической базы русской лексики современного этапа, лексических особенностей российской публицистики, наиболее частотных стандартных повторов, клише, устойчивых словосочетаний, идиом.

5. Словарь представляет интерес не только для обширного круга специалистов, но и для всех любителей русского языка, чьи интересы пересекаются с увлекательной областью «семантических сдвигов» ассоциаций носителей русского языка во времени и социокультурном пространстве.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Русский ассоциативный словарь в 2 т. От стимула к реакции: ок. 7000 стимулов/ Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.Ф. Уфимцева, Е. Ф. Тарасов. – М. – Т. 1. – 2002.

2. Полякова Г.П., Солганик Г.Я. Частотный словарь языка газеты. – М., 1971; Словарь ассоциативных норм русского языка/ под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1977; Частотный словарь русского языка/ под ред. Л.Н. Засориной. – М., 1977.

Г. А. Мусатова

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УСТУПИТЕЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ

В сложносочинённых предложениях (далее ССП) с уступительной семантикой выражается взаимное несоответствие фактов, действий, явлений, о которых говорится в соединяемых простых предложениях. Несоответствие между содержанием этих предложений состоит в том, что излагаемое во второй части совершается вопреки тому, что было бы естественно и закономерно, желательно или необходимо при тех условиях или обстоятельствах, о которых сообщается в первой части. Таким образом, сущность уступительных отношений составляет нарушение обычных связей, наличие следствия, противоречащего тому, что ожидается. Например: *Ночь давно, а я всё ещё бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, среди холодного тумана* (И. Бунин, Перевал); *Всенощная, а они весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах* (М. Горький, В людях). (Всенощная – достаточное основание для того, чтобы вести себя соответствующим образом, поэтому все должны были поступать именно так, но никто не делал этого).

Рассмотрим сложносочинённые предложения с союзами **а**, **но**, **да (= но)**.

Сложносочинённые предложения с союзом **а** выражают отношения уступительного противопоставления: 1) во второй части сообщается о событии, противоположном ожидаемому на основании содержания первой части; 2) события второй части совершаются вопреки тому, что могло бы ожидаться на основании первой части. Значение уступительного противопоставления обусловлено соотношением конкретного содержания соединяемых простых предложений. В некоторых случаях мы говорим об антонимическом наполнении частей. Например: *Вам мои поступки не нравятся, а князь их одобряет* (А. Островский, Таланты и поклонники) (Ср.: *Несмотря на то что вам мои поступки не нравятся, князь их одобряет.*); *Он пугает, а мне не страшно* (И. Бунин, Качели) (Ср.: *Несмотря на то что он пугает, мне не страшно.*)

Сочетание союза **а** с частицей **всё-таки** делает отчётливее уступительный оттенок значения. Например: *Дичи у него [Пеночкина] в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, ...обеда задаёт он отличные, а всё-таки неохотно к нему едешь* (И. Тургенев, Бурмистр).

В ССП значение уступительного противопоставления усиливается присоединением к сказуемым простых предложений соотносительных наречий **уже**, **ещё (всё ещё)**. В некоторых случаях в одном из простых предложений могут отсутствовать указанные наречия. Например: *Было уже поздно, а Иван Фёдорович всё не спал и соображал* (Ф. Достоевский); *Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович всё ещё не мог успокоиться* (И. Тургенев, Накануне).

Значение уступительного противопоставления могут иметь ССП, в которых союз **а** осложнён сочетанием наречного характера **между тем**. Например: *Здоровье её [матушки] становилось день ото дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи* (Ф. Достоевский, Бедные люди). ('Здоровье ухудшалось с каждым днём' – достаточное основание для того, что-

бы поберечь себя, отдохнуть, поэтому матушка не должна была работать с утра до ночи, но она этого не делала).

Сложносочинённые предложения с союзом **но** выражают отношения уступительного противопоставления, возмездительного противопоставления.

ССП имеет значение уступительного противопоставления, если союз **но** соединяется с частицей **всё-таки**, **всё же** (например: *Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них, но губернаторша всё-таки продолжала своё дело сватовства* (Л. Толстой, Война и мир); *Может, он и притворялся малость, но всё же лицо его воспалено было, пересмягшие губы полуоткрыты, точно в жару...* (И. Бунин, Весенний вечер)), если в одно из сочетающихся простых предложений вводятся наречия **ещё**, **всё ещё**, **уже** (например: *Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев* (И. Гончаров, Обрыв); *Голос у него ещё ломался, но он прекрасно пел* (Л. Толстой, Воскресение).

Ещё более отчётливо отношения уступительного противопоставления бывают выражены тогда, когда значение союза **но** усиливается соотносительными наречиями **ещё**, **всё ещё**, **уже**, при этом одно из соединяемых простых предложений часто бывает отрицательным. Например: *Вечер ещё не наступил, но между деревьями уже бродили лёгкие задумчивые тени* (А. Куприн, Поединок); *Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке* (И. Тургенев, Бежин луг).

Иногда к союзу **но** присоединяется сочетание **несмотря на это**, которое подчёркивает уступительный оттенок значения. Например: *Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии 300 шагов, но, несмотря на это, все люди находились всегда под влиянием одного и того же настроения* (Л. Толстой, Война и мир).

Отношения уступительного противопоставления приобретают оттенок возмездительного противопоставления, если союз **но** соединяется с союзом **зато**, который выражает уверенное, твёрдое мнение. Уступительное значение подчёркивается употреблением в первой части ССП вводных слов **правда**, **конечно**, **действительно**. Например: *Дуэли, конечно, между ними не происходило, но зато один другому старался напакостить...* (Н. Гоголь, Мёртвые души); *Он [Левин] очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил* (Л. Толстой, Анна Каренина). Общее значение данных предложений следующее: то, о чём говорится во второй части, важнее ситуации, описываемой в первой части, хотя события, происходящие и в первом, и во втором предложении, – реальные факты.

Сложносочинённые предложения с союзом **да (=но)** имеют значение противопоставления. Например: *Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга* (И. Бунин, Велга).

При объединении союза **да** с союзом **зато** отношения противопоставления приобретают оттенок уступительности. Например: *Оно, конечно, учёный из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил* (А. Чехов, Степь).

Таким образом, были рассмотрены сложносочинённые предложения с союзами **а**, **но**, **да (=но)**, имеющие уступительную семантику. Средства, выражающие отношения уступительности, неоднородны по своим свойствам:

-
- 1) союзы **а, но, да (=но)** (но + зато, да + зато);
 - 2) частицы, вносящие в предложение разные оттенки уступительного значения: **всё – таки, всё же**;
 - 3) наречия **уже, ещё, всё ещё**, сочетание наречного характера **между тем**;
 - 4) **но + зато + вводные слова конечно, правда, действительно.**

Союзы могут самостоятельно оформлять сложносочинённое предложение с уступительной семантикой. Частицы, наречия, вводные слова не могут сами непосредственно связывать части ССП с уступительным значением и обязательно требуют наличия в предложении собственно союза.

Простые предложения в составе ССП могут соотноситься между собой при помощи лексического значения сказуемых или конкретного содержания соединяемых частей. Такие сложносочинённые предложения часто можно заметить сложноподчинёнными с придаточным уступительным.

При анализе ССП с союзами **а, но, да (=но)** следует обратить внимание на следующий факт: видо-временные формы сказуемых в рассматриваемых предложениях не выполняют конструктивной функции.

ФОРМЫ ИМЕН И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИМЕНОВАНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Сегодня в лингвистике значительно возрос интерес к изучению языковых явлений в широком лингвистическом и экстралингвистическом контексте, естественно, это касается и личных имен. На первое место выходит антропоцентрический подход. Ю.С. Степанов отмечает, что ни один крупный лингвист последнего десятилетия «не миновал вопроса об антропоцентризме в языке» [1]. В центре исследований – личностные характеристики и особенности человека, личность в общении, в социуме. В качестве объекта исследований довольно часто выступает речевая коммуникация, а для ее детального рассмотрения большое значение имеет изучение обращений коммуникантов друг к другу.

Для бытования личных именований очень важны и социальные, и психологические, и возрастные, и гендерные параметры человека, так или иначе проявляющиеся в общении. В то же время личные имена и их формы играют очень важную роль в коммуникации: показывают место номината и номинанта в социальной структуре общества, служат для определения социальной дистанции между коммуникантами, для характеристики ситуации общения (официальная, дружеская), включаясь в общение не только проявляют характер взаимоотношений между коммуникантами, но и дают им возможность организовывать социальные и межличностные отношения (бесконфликтно, на высоком уровне, в соответствии со своими целями и задачами, согласно речевому этикету).

Антропонимы в совокупности своих официальных и неофициальных форм располагают широким диапазоном экспрессивно-стилистических оттенков, каждый из которых, в свою очередь, имеет гамму нюансов [2]. Наряду с тем, что каждая форма имени несет свой оттенок экспрессии, внутри одной и той же формы может быть несколько значений. Например, форма *Катюха* (*Екатерина*), сказанная в порыве раздражения, имеет пренебрежительное значение, произнесенная мягко, ласково – приобретает оттенок нежности, участия [3].

Необходимо отметить, что вопрос о стилистической окраске форм антропонимов не может быть решен без учета того, в какой сфере употребляются те или иные из них. Так, Е.Ф. Данилина говорит о том, что формы типа *Петька*, *Нюрка* подчеркивают отрицательное (уничижительное или пренебрежительное) отношение к объекту высказывания, собеседнику. Однако по отношению к детям и подросткам эти же формы приобретают, как правило, уменьшительное или фамильярное значение. В разговорно-бытовой речи формы типа *Петька*, *Нюрка* нередко приобретают фамильярно-дружеское значение (но в таком значении они возможны лишь между хорошо знакомыми (близкими) людьми любого возраста) [4].

Форма имя + отчество считается стандартной (немаркированной) формой обращения в следующих случаях: люди плохо знают друг друга; когда их разделяет дистанция возрастного и / или иерархического типа; когда ссылаются на третье лицо (при нем или без него), обращаясь к собеседнику, который находится с этим человеком в вышеперечисленных ситуациях; когда присутствует

ирония (особенно по отношению к детям, к членам семьи, к друзьям) [5]. На наш взгляд, фамилию в подобных обстоятельствах также можно считать немаркированным обращением.

Использование одного отчества (как и одной фамилии) может быть маркированным или немаркированным – в зависимости от контекста (выражать фамильярность, иронию или же почтение) [6; 7].

Сегодня полная формула официального именования лица представлена тремя компонентами – фамилия, имя, отчество (ФИО), то есть главную роль играет фамилия. Однако фамилия является скорее юридическим показателем, а в бытовой коммуникации на первый план выходят личные имена. Кроме того, ранее имя занимало первое место (ИОФ), что свидетельствует о его значении как основного идентификатора.

Помимо трех главных идентификаторов личности в обществе (ФИО), для русского языка характерно частое применение таких антропонимов, как прозвище и псевдоним. Прозвище – это «дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельствам или по какой-либо аналогии»; псевдоним – «вымышленное имя, существующее в общественной жизни человека наряду с настоящим именем или вместо него» [8]. Уже исходя из определений видно, что объединяет эти понятия: и псевдоним и прозвище являются вторичными именованиями человека. Л. Сальмон называет общую главную функцию этих антропонимов – замена настоящего имени в определенном контексте, в определенной среде общественной жизни человека, в определенной ситуации [9].

Современная эпоха с ее прорывом в области информационных технологий вызвала к жизни появление новых именных заменителей. Мы рассматриваем функционирование именований в молодежной студенческой среде, которой свойственно внимание ко всему новому. Речь идет о так называемых никах (от англ. *nic-name*) – именах, используемых при компьютерном общении в Интернете. Компьютерное имя представляет собой имя условное либо вымышленное, которое пользователь создает для компьютерного общения личного характера [10].

Зачастую выбор определенного антропонима приобретает особое значение при несоответствии формы обращения типичным ситуациям ее использования. Именно поэтому при анализе применения конкретной формы именования следует учитывать все нюансы ее употребления, а для этого необходимо изучать живую речь коммуникантов с конкретной реализацией их социальных отношений.

Итак, антропонимы появляются и функционируют в социуме. Если общество может быть представлено в виде ряда коллективов, объединенных по различным принципам (территориальным, социальным, объединенных сходными интересами, целями и т.д.), то аналогичную картину будут представлять и их подязыки, составляющие множество подсистем, относительно обособленных и взаимодействующих между собой. Каждой подсистеме свойственна специфическая лексика и особый подбор и оформление собственных имен [11].

Независимо от размеров социальной группы применительно к каждой из них возможно говорить о своеобразной культуре и собственной совокупности ценностей. Обычно по отношению к подобным социальным группам используется термин «субкультура» [12]. В последнее время наиболее актуальным пред-

ставляется изучение языковой личности человека, принадлежащего к определенной социально-возрастной группе, в результате чего в лингвистику вошло такое понятие, как «речевой портрет». Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность определенной социальной общности. В речи каждой социально-возрастной группы реализуются специфический для нее набор языковых единиц и различные приемы общения, свойственные данной группе и выделяющие речь ее представителей в обществе. Анализ совокупности этих факторов позволяет составить речевой портрет определенной общности, в частности, современного студенчества [13]. Несмотря на ряд различий (индивидуальные особенности личности, характера, мотивации обучения), данная часть общества является достаточно однородной – это люди примерно одного возраста, объединенные общими интересами (что обусловлено спецификой выбранных учебных заведений, факультетов), сходным образом жизни, одним территориальным расположением.

Еще больше замыкает современную студенческую среду то, что она, как традиционная устойчивая социально-возрастная группа, имеет свои особенности речевого поведения. С.В. Леорда отмечает, что студентам всегда было присуще при общении друг с другом использовать определенные устойчивые формулы, экспериментировать над языковыми нормами (как национального языка, так и иностранных). Для них характерна особая манера общения с преподавателями и другими студентами. Они используют различные речевые способы завоевания авторитета в группе и пр. [14]. Этика речевого общения напрямую связана с духовным потенциалом конкретного индивидуума, его системой морально-нравственных понятий, которая в студенческой среде еще находится в стадии развития, не является достаточно устойчивой. Именно поэтому так велика роль вуза, где происходит формирование личности не только в профессиональном, но и в культурном плане. Составной частью коммуникативной культуры личности является речевая культура, развитие которой одна из важнейших задач вуза. О.М. Васильева утверждает, что образование (наряду с другими социализирующими институтами) совершенствует и обновляет мотивацию индивидов, культурные принципы, образцы поведения, в том числе языкового. Студенты считают главной задачей вуза в формировании своего языкового поведения приобретение ими навыков общения как в профессиональной среде, так и в более широком социальном окружении [15]. Эти навыки так важны потому, что студенческий период можно считать значимым и для психологического, и для общественного развития личности, прежде всего это обусловлено включением на данном этапе жизни в новые сферы общения.

Именно благодаря специфике речевого общения студенческая среда благодатна для изучения имени в коммуникативном аспекте. Особенности студенческого жаргона не могут не сказываться на выборе имен и их форм в общении. Безусловно, выбор коммуникантами той или иной формы антропонима должен осуществляться с учетом правил речевого этикета, принятых в данном обществе, ситуации общения, возраста, социального статуса, пола адресата и т.д. Таким образом, правильная реализация личных именований в коммуникации – один из ярких показателей культуры личности студентов и – шире – культуры общества (так как студенчество – это социальная группа, наиболее чутко реагирующая на любые изменения в языке, в обществе в целом).

Наше диссертационное исследование посвящено изучению личных имен в

обращении между студентами различных вузов города Смоленска. В качестве метода получения информации используется анкетирование и прямое интервьюирование. Собранный картотека составляет около тысячи анкет. Представленная статья является обоснованием нашего практического исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 2001. – С. 49.
2. Бондалетов В.Д., Данилина Е.Ф. Средства выражения эмоционально-экспрессивных оттенков в русских личных именах// Антропонимика. Сб. статей/ Ред. В.А. Никонов и А.В. Суперанская. – М., 1970. – С. 194 – 200.
3. Данилина Е.Ф. Категория ласкательности в личных именах и вопрос о так называемых «сокращенных» формах имен в русском языке// Ономастика. Сб. статей/ Отв. ред. В.А. Никонов и А.В. Суперанская. – М., 1969. – С. 136.
4. Там же. – С. 151 – 152.
5. Сальмон Л. Личное имя в русском языке. Семиотика, прагматика перевода. – М., 2002. – С. 42.
6. Там же. – С. 41.
7. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. – М., 2000. – С. 17.
8. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978. – С. 113, 118.
9. Сальмон Л. Личное имя в русском языке. Семиотика, прагматика перевода. – М., 2002. – С. 43.
10. Голомидова М.В. Русская антропонимическая система на рубеже веков// Вопросы ономастики. Сб. статей. – Екатеринбург, 2005. – № 2. – С. 19.
11. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – С. 223.
12. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1990.
13. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Саратов, 2006.
14. Там же. – С. 11.
15. Васильева О.М. Формирование языкового поведения личности в процессе социализации в системе высшего образования (на примере студенческой молодежи молодого среднего города РТ): Автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Казань, 2006.

РАЗНОВИДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Как средство общения художественная речь имеет свой язык – систему образных форм, выражаемую языковыми и экстралингвистическими средствами. Художественная и нехудожественная речь составляют два уровня национального языка. Основой художественного стиля речи является литературный русский язык. Слово в этом функциональном стиле выполняет номинативно-изобразительную функцию.

Лексический состав и функционирование слов в художественном стиле речи имеют свои особенности. В число слов, составляющих основу и создающих образность этого стиля, прежде всего, входят образные средства русского литературного языка, а также слова, реализующие в контексте свое значение. Это слова широкой сферы употребления. Узкоспециальные слова используются в незначительной степени, только для создания художественной достоверности при описании определенных сторон жизни. Например, Л. Н. Толстой в «Войне и мире» при описании батальных сцен использовал специальную военную лексику; значительное количество слов из охотничьего лексикона мы найдем в «Записках охотника» И. С. Тургенева, в рассказах М. М. Пришвина, В. А. Астафьева, а в «Пиковой Даме» А. С. Пушкина много слов из лексикона карточной игры и т. п. В художественном стиле речи очень широко используется речевая многозначность слова, что открывает в нем дополнительные смыслы и смысловые оттенки, а также синонимия на всех языковых уровнях, благодаря чему появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки значений. Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка, к созданию своего неповторимого языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечья.

На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко определенные абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи — как социально-обобщенные понятия, в художественной речи несут конкретно-чувственные представления. Таким образом, стили функционально дополняют друг друга. Например, прилагательное *свинцовый* в научной речи реализует свое прямое значение (*свинцовая руда, свинцовая пуля*), а художественной образует экспрессивную метафору (*свинцовые тучи, свинцовая ночь, свинцовые волны*). Поэтому в художественной речи важную роль играют словосочетания, которые создают некое образное представление.

Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, то есть изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить смысловую значимость какого-либо слова или придать всей фразе особую стилистическую окраску. Примером инверсии может служить известная строка из стихотворения А. Ахматовой «Все мне видится Павловск холмистый...». Варианты авторского порядка слов разнообразны, подчинены общему замыслу.

Синтаксический строй художественной речи отражает поток образно-эмоциональных авторских впечатлений, поэтому здесь можно встретить все разнообразие синтаксических структур. Каждый автор подчиняет языковые средства выполнению своих идейно-эстетических задач.

В художественной речи возможны и отклонения от структурных норм, обусловленные художественной актуализацией, то есть выделением автором какой-то мысли, идеи, черты, важной для смысла произведения. Они могут выражаться в нарушении фонетических, лексических, морфологических и других норм. Особенно часто этот прием используется для создания комического эффекта или яркого, выразительного художественного образа.

Существование основной части национальной художественной литературы в письменно-закрепленной форме заставляет соотносить ее с письменными типами речи. В то же время основной особенностью современной художественной литературы является то, что в ней используются все средства национального языка и намеренно воспроизводятся специфические черты разговорной речи. Уже это заставляет усомниться в целесообразности рассмотрения художественной речи в ряду других функционально – речевых стилей. В то время как научная, официально-деловая и публицистическая речь регулируются нормами общелитературного языка, составной частью которого они и являются, язык художественной литературы включает в себя такие средства и способы выражения, оценка которых с точки зрения норм литературного языка недостаточна. Явно недостаточна и оценка языковых особенностей художественных текстов с точки зрения основной, коммуникативной функции языка, которая всегда выступает там в сложном взаимодействии с так называемой «поэтической», или «эстетической, функцией». (Признание того, что языку кроме его основной, коммуникативной, функции присуща также «эстетическая функция», никак не колеблет решающего значения первой, но отражает тот реальный факт, что во многих случаях чисто информативная направленность речи осложнена тем, что языковая форма используется «сама по себе», становясь элементом общего содержания речи. Ср. рифмы в стихотворной речи и т. п.)

Многие отрезки художественного текста по существу несут не «буквальную», заключенную в них непосредственно информацию, а ту информацию, которая существенна в общем художественном контексте и служит для создания художественного образа.

Таким образом, коммуникативная функция языка выступает здесь в явно трансформированном виде. Это наглядно видно в тех случаях, когда в текст художественного произведения вводятся высказывания, внешне совпадающие с высказываниями, например, научного характера, вводятся элементы официально-деловой речи и т. д.

Например, мы находим в художественном произведении такую информацию: *«Во рту человека обитает множество микробов. Они находят там все необходимые условия для существования. Если не чистить зубов, не полоскать рта, количество мельчайших организмов во много раз увеличивается. В плохих, разрушенных зубах живут миллионы микробов...»*. Вряд ли кто-нибудь всерьез станет утверждать, что для читателя существенна именно эта информация как таковая. Она дана в рассказе, где описывается, как заведующий Верхнепечорским райздравом объезжает на моторной лодке просторы Верхнепечорского района. *«В эту очередную поездку Федор Петрович взял с собой*

Леночку Рогову – зубного врача, окончившую только что стоматологический... Леночка в свои двадцать три года выглядела совершеннейшим ребенком... Это был первый рейс Леночки Роговой. Первый рейс – по осенней большой воде». И вот в далеком селе Мамылях, где «никто и никогда не упустит случая поглядеть на приезжих людей», в просторной избе, куда набился народ (и те, у кого болели, и те, у кого не болели зубы), Леночка Рогова с зеркалом приступила к первой пациентке – тетке Дарье.

Однако, заведев в руке Леночки Роговой сверкающее никелем ротовое зеркало, тетка Дарья ахнула, надломила пальцы, заголосила, будто по себе самой – покойнице.

– Перестаньте, – приказала Леночка, – Ничего страшного.

Тетка Дарья голосить продолжала. До тех пор, пока Леночка не сунула ей в рот стержень с зеркальцем на конце: тут уж тетке Дарье голосить стало невозможно, и она только вращала выкаченными глазами, побелевшими от страха.

– Во рту человека обитает множество микробов, – рассказывала между тем Леночка Рогова всем присутствующим, разглядывая в зеркальце горемычные Дарьины зубы. – Они находят там все необходимые условия для существования... Пожалуйста, не вертитесь. Если не чистить зубов, не полоскать рта, количество мельчайших организмов во много раз увеличивается. В плохих, разрушенных зубах живут миллионы микробов...

Все присутствующие согласно кивали Леночкиным словам, друг на друга поглядывали: вот, дескать, чего только не придумают ученые люди» (А. Рекемчук, Без боли).

«Информация» о том, сколько микробов обитает во рту человека, неотделима от данного контекста. Здесь важна обстановка и реакция слушателей: «*вот, дескать, чего только не придумают ученые люди*». На этом столкновении двух «речевых стихий» — «ученой» лекции Леночки Роговой и добродушно-почтительного отношения к ней собравшихся — и строится художественное изображение ситуации. Язык выступает здесь не только в коммуникативной, но и в своей особой функции, которая обозначается обычно как поэтическая, или эстетическая.

Эта функция языка проявляется не только в художественных произведениях. Всякий раз, когда наше внимание обращено на форму высказывания, на то, как выражена мысль, мы вступаем в сферу действия именно этой функции.

Не подсчитано, сколько в среднем взрослый человек ежедневно произносит слов и сколько их слышит от непосредственных собеседников. Не установлено так же, как распределяется его словесный баланс между различными типами речевого общения. Поэтому трудно настаивать на ведущем положении какого-либо жанра устной речи. Однако предположительно можно, по-видимому, утверждать, что доля тех жанров, где проявляется не только практическая функция речи, но в какой-то мере и ее эстетическая функция, не так уже незначительна, как это принято считать.

Эстетическая функция языка в начальном своем виде проявляется, как только говорящий начинает обращать внимание на внешнюю форму своей речи, как-то оценивать возможности словесного выражения. Уже намеренное «коверканье слов», направленное на то, чтобы вызвать те или иные речевые ассоци-

ации, сознательное введение в речь элементов «чужого стиля», всевозможное обыгрывание такого рода «цитатного» материала, встречающиеся на каждом шагу, показывают небезразличие говорящих к словесной форме высказывания. Существует множество мелких жанров бытовой речи, когда важным становится не только то, о чем говорится, но и как об этом говорится.

Анекдоты зачастую построены на семантических сдвигах, на смысловых недоразумениях. Каламбуры, игра слов, сколь бы они ни были различны по своей художественной и содержательной ценности, в сущности отражают внимание говорящих именно к внешней стороне словесного знака, внимание, которое и является основой проявления эстетической функции языка.

Другой круг фактов не менее показателен в этом отношении.

В обычных рассказах о ежедневных событиях, происшедших дома, на улице, на работе, во всем том, что можно назвать «бытовым повествованием», пусть даже в самом незамысловатом, всегда хотя бы в минимальной степени проявляется стремление к выразительности и изобразительности. Часто «бытовое повествование» лишено собственно практического интереса, не имеет никакого прагматического смысла, вызвано просто потребностью говорящего сообщить о том, что его заинтересовало, передать то, что он видел, слышал, заметил; при этом повествующий сознательно воспроизводит чужую интонацию, чужие обороты речи. Не столь уж редко такое повествование не лишено зачатков непосредственной художественности: обрисовки характеров при помощи специально выбираемых речевых средств, стилистической организации текста, элементов своеобразного сказа. Из синонимических (в широком смысле) средств говорящий отбирает те, которые дают возможность – в той мере, в какой это ему доступно, – придать своей речи «красочность», изобразительность, сделать собеседника соучастником события.

«Отчуждение» фольклора в его старых, классических формах породило разнообразные виды нового устного словесного творчества. Некоторые образцы этого нового словесного творчества (частушки, «бывальщины» и т. д.), записанные фольклористами и изданные, включенные таким образом выборочно в фольклор нового времени, в языковом плане представляют собой лишь конденсированные образцы всего массового — в самом полном смысле слова — словесного творчества, возникающего в обычной речи самых различных групп языкового коллектива.

Целенаправленное использование многозначности слова, сознательное отталкивание от устойчивого словесного оборота, применение необычных сравнений, эпитетов — само по себе все это так же свойственно повседневной речи, как и речи художественной. В этом смысле язык художественных произведений никак не отгорожен от общенациональной языковой практики.

Н. Н. Асеев писал: «В чем же неожиданность и новизна поэзии? В открытии новых соотношений смысловых реальных понятий. Соотношения эти воспринимаются в первый момент как неоправданные, непривычные в своей контрастности и необжитости. Приведу примеры таких неожиданных соотношений смысла, сначала кажущегося не укладываемым в обычные мерки восприятия.

Рабочий на суде, описывая в качестве свидетеля происходившую пьяную драку, ответил судье на вопрос, как происходило дело: *«Да ведь, когда я прибежал туда, они уже табуретки листают!»*

Вот это неожиданное, непривычное соединение слов — «табуретки» и «листают» — сразу без многословия создало картину полной потери представления о действительности у дравшихся. Действительно, если они тяжелые табуретки листали, как рука страницы или как ветер взметает листья, то ясно стало и судье и публике, что драка была вызвана только опьянением, а не злым умыслом ее участников. Эта неожиданность выразительности слов, заменяющая собой всякий длинный способ описания событий, и есть поэзия. Выразительность, бытующая в языке простых людей, и не подозревающих, что они выражаются поэтически. Но не всякий наделен этой способностью. Не всякий пишущий стихи — поэт» [1].

Все это, что сближает художественную речь с разговорной, вместе с тем отличает ее от речи научной и официально-деловой.

Проникновение в художественную речь элементов просторечия, диалектизмов, устаревших единиц языка, возможность мотивированного введения в художественное произведение контекстных (предназначенных только для данного случая) неологизмов делают эту разновидность языка настолько отличной в речевом отношении от более строго организованных в этом плане научных и официально-деловых текстов, что признание за ней «статуса» функционально-речевого стиля в современном языкознании стоит под вопросом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Асеев Н. Н. Зачем и кому нужна поэзия. — М., 1961. — С. 45—46.

О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Философия определяет движение как способ существования материи, неотъемлемое ее свойство, внутренне присущий материи атрибут. В самом широком смысле движение представляет собой изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов. Поэтому под движением следует понимать не только механическое перемещение тел в пространстве, но и любые взаимодействия, а также изменения состояний объектов, которые вызываются этими взаимодействиями.

Древний ученый Аристотель дал общую характеристику движения, говоря о том, что движение выступает как переход возможности в действительность.

Великий философ различал шесть видов движения: возникновение, гибель, увеличение, уменьшение, перемена и изменение места [1].

В сознании говорящих, а значит, и в языке, нашли отражение такие формы движения, которые связаны с тремя наиболее обычными для человека и окружающего его мира средами: с поверхностью суши, с водой, с воздухом. Все многообразие движения и его форм нашло отражение в языке. По мнению Е.В. Падучевой, «в ситуации движения существенно не только место, но и время: движение предполагает не момент, а обязательно период времени, оно разворачивается на временном интервале» [2]. За счет этого преодолевается парадокс Зенона, состоящий в том, что если движущееся тело в каждый момент находится в некоторой точке, то нет такого момента, когда оно движется. Это подтверждается и в исследованиях Ф.И. Рожанского о глубинной семантике движения, о семантике направления [3].

Языковой единицей, номинирующей движение, стал глагол. Глаголы движения – самая употребляемая часть глаголов, обозначающих передвижение субъекта в пространстве, то есть это те глаголы, которые исторически связаны с парой *идти – ходить*.

В языке среди глаголов можно выделить группу глаголов движения, обозначающих различные способы перемещения в пространстве.

Именно в лексико-семантической группе глаголов движения находят наиболее специализированное выражение различные формы механического движения. Она выделяется из классов глаголов на основе инвариантного лексико-семантического признака ‘изменение местонахождения в пространстве’, а также абстрактных категориальных признаков: а) ‘характер движения’; б) ‘способ передвижения’; в) ‘среда передвижения’; г) ‘общая направленность движения’ и некоторых других.

Указанные абстрактные семантические категории отражают определенные аспекты реальной ситуации. Они выделяются путем сопоставления значений всех элементов группы и при анализе их дистрибуции. В условиях же реального функционирования глаголов эти абстрактные семантические категории подвергаются конкретизации, которая осуществляется двумя способами:

1. В контексте путем заполнения зависимых позиций при ядерных глаго-

лах соответствующими словоформами или значимым отсутствием этих позиций: *Ряженого Сеньку взял за бока и легко поставил наземь, двинулся прямо к воротам; Человек в мешке еще с минуту подергался, потом глухо и коротко гукнул и затих, видимо смирившись с судьбой (проклятый стилет перед тем как вытащиться, больно обрезал запястье [4].*

2. В имплицитных парадигматических семах глаголов, составляющих периферию группы: *Подозрительное не обнаруживалось, и, устав, Варя шла в палатку к Эрасту Петровичу, чтобы расшевелить его и побудить к действию; Рота развернулась в линию и медленно побежала к далекому реду, над которым еще пуце завздыбились земляные фонтаны.*

В. Л. Ибрагимова писала: « Абстрактные семантические категории выступают по отношению к конкретным семам как «сверхсемы» или « архисемы», то есть как родовые понятия к видовым и представляют собой основу дифференциации группы, узловые пункты классификации, по которым глаголы движения вступают в различные оппозиции, образуя в пределах группы классы и подклассы различной степени сложности и иерархизованности» [5].

Таким образом, абстрактные семантические категории структурируют всю лексико-семантическую группу, поэтому правильное выделение и классификация очень важны для адекватного описания любого класса семем.

Дифференциация лексико-семантической группы глаголов движения на основе указанных абстрактных семантических категорий проходит следующим образом.

На первом уровне дифференциации лексико-семантическая группа глаголов движения делится на основе абстрактной категориальной семы 'характер движения', образуя в этом узле три основных класса:

1) глаголы поступательного движения (ядерные элементы *передвигаться, перемещаться*): *Я прошелся по этажам, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь;*

2) глаголы колебательного движения (ядерных членов у этого класса на уровне словоформ не имеется): *Эраста Петровича снова подняли, раскатали;*

3) глаголы вращательного движения (ядерный член *вращаться*): *Я повернулся взглянуть на своего спасителя (вообще, должен со стыдом признаться, что в эти драматические мгновения я совершенно потерялся и только вертел головой туда-сюда, едва поспевая уследить за событиями).*

Остальные три абстрактно-семантические категории лежат в основе дифференциации первого класса – глаголов поступательного движения, который является наиболее многочисленным в пределах рассматриваемой группы.

Абстрактная семантическая категория 'способ передвижения' конкретизируется в значениях глаголов, показывающих передвижение с помощью транспортного средства. Ядерными членами этого подкласса являются глаголы *ехать и ездить*: *Нанимал на Трубе степенного, трезвого извозчика и, непременно чтобы с номером, ехал на нем до Лубянки.*

Слов со значением самостоятельного перемещения без помощи транспортного средства, которые были бы, подобно глаголам *ехать и ездить*, нейтральны по признаку 'среда перемещения' в русском языке не имеется. Следовательно, этот участок системы в русском языке оказывается незаполненным.

Абстрактная семантическая категория 'среда перемещения' является ос-

новой дифференциации глаголов поступательного движения на четыре группы со следующими общими значениями:

– перемещение в жидкой среде (ядерные члены *плыть, плавать*): *Последнее время Благолепов **плавал** на паровом катеришке, катал публику по заливу. Дальше Токио не заплывал;*

– перемещение по твердой поверхности (не имеет ядерных словоформ): *Белоснежный колонизатор **ступил** на землю, и сомнений более не оставалось;*

– перемещение по воздуху (ядерные члены *летать, лететь*): *Яити **перелетел** на соседнее дерево, потом на следующее.*

Глаголы колебательного движения также дифференцируются по абстрактному семантическому признаку ‘характер движения’, образуя две группы со следующими общими значениями:

– беспорядочного движения (ядерный член *шевелиться*): *Возникли еще три тени. **Мечутся на берегу**, а что делать не знают; В дальнем углу, на тюфяках лежали и сидели какие-то неподвижные фигуры. Нет, одна **шевелинулась** <...>;*

– мерного, однообразного движения (ядерных словоформ нет): *Несколько мгновений **качал головой**, потом откинулся на валик, затянулся снова.*

Глаголы вращательного движения в русском языке по указанным категориальным признакам не дифференцируются: <...>*на эстраду, мелко семеня, выбежала хорошенькая раскосая девушка в белом кимоно. Она грациозно **закружилась**, обмахиваясь веером.*

Характерной особенностью рассматриваемой лексико-семантической группы является то обстоятельство, что многие из входящих в нее глаголов имеют семантические корреляты, осложненные семой ‘каузировать’.

Это, например, глаголы *двигать, перемещать, вести*: *Обхватил неподвижное тело, **поволок** по земле; Письмоводитель помог ей подняться и **поташил** к выходу; Фандорин поклонился, и миледи **повела** молодого человека сначала коридором, а потом длинной галереей в основное здание.*

Уже отмечалось, что все глаголы перемещения содержат в своих значениях абстрактную семантическую категорию ‘общая направленность перемещения’. Большинство их конкретизирует эту категорию в семантических признаках, указывающих однонаправленность или неоднаправленность перемещения.

Одни из них обозначают перемещение, которое осуществляется в каком-либо одном определенном направлении в течение определенного отрезка времени, например: *идти, лететь, плыть, ехать, вести, везти* и т. п.: *Когда за мистером Морбидом закрылась дверь, Амалия Казимировна бросила письмо на бюро, а сама **подошла** к окну; Потом багровый после холостяцкого завтрака Ксаверий Феофилактович Грушин, во фраке и с белой шаферской лентой, усадил жениха в открытый экипаж и **повез** в церковь.* Другие же обозначают перемещение, которое осуществляется в разных направлениях, например, глаголы *ходить, плавать, ездить, водить, возить* и т.п.: *Отовсюду **сбегались** люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура, наоборот, **бросился** прочь, через мостовую, в сторону Моховой; По аллеям, среди цветущих кустов сирени и пылающих алыми тюльпанами клумб **прогуливалась** нарядная публика ...*

Некоторые глаголы неоднаправленного перемещения, например: *ходить, шляться, ползать, летать, плавать, ездить* и др. – могут терять признак неоднаправленности и употребляться в значении разнонаправленности, представляя движение, которое осуществляется в каком-либо направлении от предполагаемой условной исходной точки и обратно: *Гувернатка все **ходила** взад-вперед, будто заведенная; Делать нечего – **полез** Сенька по подземному ходу обратно, не сильно солоно хлебавши*. Такое движение может осуществляться многократно, более или менее постоянно. Эти глаголы в наблюдаемом значении требуют обязательного замещения позиции локальной направленности или целеустановки: *Два года плавал по Средиземноморью*. Глагол *плавал* в сочетании с предложно-падежной формой имени обозначает движение субъекта, которое происходило каждый день, совершалось многократно. Однако конкретное направление движения установить невозможно. Многие же глаголы перемещения, например: *перемещаться, шагать, маршировать* и др. – нейтральны к противопоставлению по признакам однонаправленности / неоднаправленности. Уточнение направления движения при таких глаголах осуществляется контекстом или ситуацией.

Таким образом, как можно судить по общей характеристике, лексико-семантическая группа глаголов движения обладает многомерной структурой. Многие из перечисленных классов и подклассов глаголов сами обладают сложной, иерархически организованной внутренней структурой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Невлева И.М. Философия: учебное пособие. – М., 2002. – С. 75.
2. Падучева Е.В. Дейктические компоненты в семантике глаголов движения // Логический анализ языка: Семантика начала и конца. – М., 2002. – С. 120.
3. Рожанский Ф. И. Направление движения (типологическое исследование) // Логический анализ языка: Языки пространств. – М., 2000. – С. 56-57.
4. Языковые примеры даны по произведениям Б. Акунина.
5. Ибрагимова В.Л. Семантика русского глагола: лексика движения / Учебное пособие. – Уфа, 1988. – С. 23.

Д.А. Савостина

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДИКАТИВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Учение о частях речи в русской грамматической науке имеет длительную историю.

Проблема частей речи остается по-прежнему одной из важнейших в русской грамматике. Разница в подходах к выделению частей речи, изменчивость с течением времени самой морфологической системы делают невозможной разработку единой, универсальной концепции в этом вопросе. Поэтому любой вариант решения «будет несовершенен, будет кого-то не устраивать» [1]. Дело усложняется еще особенностью самой морфологической системы русского языка, заключающейся в возможности «смешения» категориальных признаков разных частей речи.

В русле таких «смешанных», «переходных» частей речи в настоящее время решается вопрос о частеречном статусе краткого прилагательного и слов категории состояния. В.В. Виноградов отметил, что «морфологические и синтаксические признаки категории прилагательного в кратких формах находятся в полуразрушенном состоянии» [2]. И прежде всего расхождение обнаруживается в семантике. Значение качества (какой?), присущее полным именам прилагательным, в нечленных формах переходит в значение качественного состояния (каков?), протекающего во времени и приписываемого субъекту. Показательно, что традиция толковать качество через свойство, отождествлять качество и состояние восходит к античной философии [3]. «Толкование одного понятия через другое обусловлено тесными связями между качеством, свойством, процессом и состоянием. Если допустимо и применяется толкование одного понятия через другое, через другие, значит, по-видимому, допустимо и слияние понятий, их комбинация и образование некоего "гибрида" ...» [4].

«Гибридность» кратких форм определяется набором их категориальных признаков. Унаследовав от полных прилагательных категории рода и числа, нечленные формы утратили склонение, закрепились в предикативной функции и обрели глагольные категории времени и наклонения: *Я стал жесток* (З. Гиппиус); *Молодость жадна и тороплива* (В. Катаев); *Разбор дела, надо ожидать, будет поучителен* (В. Шишков); *Мне лишь бы была полна сума...* (З. Гиппиус); *Так будьте же благословенны, / Слова жестокие любви* (Н. Гумилев). Именно формы времени и наклонения, по мнению В.В. Виноградова, «кладут резкую грань» между полными и краткими формами [5].

Модально-временная характеристика нечленных прилагательных представляет аналитическую конструкцию, оформляемую связкой и обусловленную самой семантикой качественного состояния. Причем роль связки может выполнять как идеальная *быть*, так и полузнаменательные глаголы с модальной и фазисной семантикой: *...сознание было ясно, как в разгар дня* (А. Грин); *Лето он [Кузьма] провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы; ...воздух делался чист и ясен* (И. Бунин); *Ночь томила, в душе поднимались смутные желания. Становилось хорошо и грустно* (В. Вересаев); *Горячо стало сердцу, тревожно...* (А. Толстой). Полузнаменательные связочные

глаголы передают и видовую форму предикатива, тогда как идеальная связка *быть* – вне категории вида.

Значение состояния приписывается многими лингвистами только словам категории состояния неоправданно, поскольку может быть выражено как безличными, так и личными формами (*Я весел – Мне весело*). Данное положение созвучно идее В.Н. Мигирина о «безлично-предикативных словах» как «бессубъектных» прилагательных. По мнению профессора, слова типа *грустно, холодно, весело, душно, радостно, тесно* и т.п. – не часть речи категория состояния, а особая форма прилагательных – безличные, «бессубъектные», то есть лишенные согласовательных грамматических категорий.

Таким образом, вслед за П.А. Лекантом, М.В. Дегтяревой, мы считаем, что в современном русском языке сложилась особая, «гибридная» часть речи с собственным категориальным значением качественного состояния. Для наименования этой грамматической формы П.А. Лекант предложил термин **предикатив** [6].

Парадигма предикатива включает: 1) формы рода и числа (каков? какова? каково? каковы?), 2) формы времени и наклонения, 3) безличную форму (каково?), 4) формы компаратива и вида (с некоторыми оговорками).

Специфика грамматических характеристик предикатива обуславливает его широкое использование поэтами и прозаиками. Ярko и многообразно предикатив представлен в русской литературе первой половины XX века. Абсурдно было бы полагать, что авторы намеренно подбирали части речи в своих произведениях. Скорее, они интуитивно употребляли предикатив из-за его «способности» одной словоформой передать наиболее емкую характеристику состояния героя (субъекта вообще) или его восприятия окружающей действительности. Особенно ценно это для поэзии, где одно лишнее слово может нарушить и ритм, и размер, и рифму.

*Стар и давен город Гаммельн,
Словом скромн, делом строг,
Верен в малом, верен в главном:
Гаммельн – славный городок!*
(М. Цветаева)

Предикативы *стар, давен, скромн, строг, верен* одновременно передают и качественную характеристику города, и указывают на его состояние по отношению к моменту речи: читатель понимает, что такими признаками город обладает в настоящее время, в тот момент, когда поэт о нем говорит. На настоящее время и реальную модальность указывает «значимое отсутствие» связки. Ср.: *был стар, будет верен, был бы строг, будь скромн*. Таким образом, форма предикатива, сочетая в себе атрибутивные и глагольные признаки, может составить конкуренцию тяжеловесным конструкциям типа *Это был старый и давний город*, нарушающим динамику и мелодику поэтической речи.

Еще одной особенностью предикатива является его «доминирующая» над полным прилагательным роль в предложении. Так, в перечне признаков предмета писатель назовет предикативом важнейший из всех, а менее значимый, «дополнительный», с его точки зрения, для смысла высказывания, скорее всего, выразит полной формой прилагательного. Например, в предложении *Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно* (И. Бунин) формами (*было*) *сильно, чисто, радостно* автор обозначает главные, на его взгляд, признаки

предмета, а формой *горячее* – «второстепенные». Последняя может быть изъята из предложения, что не нарушит общего смысла фразы и синтаксической конструкции в целом, ср.: *Солнце было уже сильно, чисто и радостно*. Предикативы же, обозначающие основные характеристики субъекта, не могут быть исключены из предложения, так как оно в этом случае утратит свой смысл и разрушится как синтаксическая единица (*Горячее солнце было уже...*) [7]. Ср. еще: *Летние московские вечера бесконечны; ... радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах* (И. Бунин); *Современный художник – искатель утраченного ритма (утраченной музыки) – тороплив и тревожен* (А. Блок); *Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!* (В. Маяковский). Нарочитая тавтология в последнем примере усиливает роль и значение предикатива в предложении, подчеркивает, что именно предикатив несет на себе основную смысловую нагрузку, реализуя поэтический замысел. «...предикативные отношения выражают нечто устанавливаемое в момент речи, атрибутивные – нечто уже данное» [8].

Смысловую и синтаксическую «весомость» предикатива можно оценить и по таким примерам, где данная часть речи включена в однородный ряд с «полноценными» глаголами-сказуемыми: *Все было мокро, все таяло, с домов капали капли...всюду было многолюдно, оживленно* (И. Бунин); *...он [Мишка] был мертв и не откликался ни на боль, ни на бранное слово* (Л. Леонов).

Известно, что в древнерусском языке краткие прилагательные могли выполнять как предикативную, так и атрибутивную функции в предложении. К XX веку, однако, конструкции с предикативом в роли определения стали носить, скорее, архаический характер и использоваться авторами в целях стилизации речи, придания тексту необходимого колорита: *Тучны, грязны и слезливы, / Оседают небеса. / Веселы и шепотливы / Дождевые голоса; Но стыдно тем, кто, весело-покорны, / С предателями предали Петра* (З. Гиппиус); *Серафимы, ясны и крылаты, / За плечами воинов видны* (Н. Гумилев). Это всегда обособленные определения, что лишний раз подчеркивает смысло-выделительную функцию предикатива в тексте.

В числе синтаксических особенностей предикатива в литературе первой половины XX века назовем также его сочетание с интенсификаторами и наречиями меры и степени: *Как этот мир велик в лучах рабочей лампы! / Ах, в памяти очах – как бесконечно мал!* (М. Цветаева); *А кругом было так поразительно тихо;* (И. Бунин); *Я презираю... / Людей бездарных... / Они так жалки, так примитивны и так бесцветны* (И. Северянин), употребление в сравнительных оборотах: *...где это видано, чтобы мещанин...жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик* (И. Бунин); *Тих как мех. / Тих как лев. / Губы в смех. / Брови в гнев. // Выше звезд, / Выше слов, / Во весь рост – / Крысолов* (М. Цветаева), сочетание с творительным и предложным падежом при связанном управлении: *Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок* (И. Бунин); *Но, увы! Лишь те блаженны, / Сердцем чисты те, / Кто беспечны и смиренны / В детской простоте* (Д. Мережковский).

Особого внимания заслуживает и вопрос о словообразовании предикатива. Широко представлены поэтами-модернистами предикативы, произведенные сложением и повтором основ: *Мои мечты благочестиво-тихи; воздух*

лазурно-крылат (И. Северянин); *подвиг режущее-остер*; *Безрадостно-благополучно*, / *И нежно-сонно, и темно...* / *Мне с дьяволенком сладко-скучно* (З. Гиппиус); *Мне больно-больно... Мне жалко-жалко...* / *Зачем мне больно? Чего мне жаль?* (И. Северянин). Писателям словно не достаточно активной лексики языка, и они образуют свои собственные слова, «в результате чего выражаются дополнительные смыслы, яркие, неожиданные оттенки, окказиональная экспрессия» [9]: *вечер сонен, взор лилеен, в аллеях сорно, кабак ему* [Есенину] *поган* (И. Северянин); *взгляд спящ, любовь – безлица* (М. Цветаева).

Отдельно отметим категорию компаратива. Формы сравнительной и превосходной степени предикатива образуются по модели степеней сравнения имен прилагательных. Трудность состоит в том, что не представляется возможным определить производящую основу словоформы в простой сравнительной и превосходной степени личных форм: *За косьбой уже наступила возка. Эта работа еще трудней* (от *трудная* или *трудна?*); *Всего же трогательней было постепенное возвращение к жизни сестры...* (И. Бунин), тогда как безличные формы явно соотносятся с предикативом: *Постепенно делалось все люднее и шумнее...* (И. Бунин), мы не скажем: *делалось все людное и шумное*, а только *людно и шумно*. Ясно, что аналитические формы сравнительной и превосходной степени образуются от основы предикатива: *Это, обработанное нашими руками, так гладко, тепло и комфортабельно! В жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче* (В. Вересаев); *Это было время, когда он [Горький] был наиболее приятен мне* (И. Бунин).

В данной статье мы рассмотрели лишь основные особенности употребления форм предикатива в русской литературе первой половины XX века. Безусловно, тема требует более подробного и основательного изучения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лекант П.А. Часть речи *предикатив* // Очерки по грамматике русского языка. – М., 2002. – С. 27.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М., 1972. – С. 216.
3. Аристотель. Сочинения: в 4-х тт. – Т. 2. – М., 1978. – С. 72-79.
4. Дегтярева М.В. Частеречный статус предикатива. – М., 2007. – С. 83.
5. Лекант П.А. Часть речи *предикатив*... – С. 30.
6. Там же.
7. Подробнее см.: Е.В.Клобуков. Морфология // Русский язык / Под ред. Л.Л.Касаткина. – М., 2005. – С. 551-554.
8. Дегтярева М.В. Частеречный статус предикатива... – С. 58.
9. Лекант П.А. Часть речи *предикатив*... – С. 31.

А.А. Сивцова

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА В ЛИРИКЕ Н.И. РЫЛЕНКОВА

Исследование языковой личности писателя на современном этапе развития языкознания невозможно без изучения ономастикона, отражающего знания, которые автор использовал в ходе реализации творческого замысла. В художественных произведениях сведения о мире природы, о человеке, о социуме, о культуре получают своеобразное преломление, и поэтому аспекты языковой личности достаточно полно раскрываются при антропоцентрическом подходе к исследованию такой единицы текста, как оним. Это связано с тем, что писатель использует не только реальные исторические, географические, астрономические и другие имена собственные, обозначающие личностные, временные и пространственные вехи, но и создает эти имена, пополняя художественное пространство вымышленными единицами, тем не менее, принадлежащими его ономастикону» [1].

Авторское видение мира, писательский узус накладывает отпечаток, а часто даже диктует конструирование ономастической модели мира художественного текста. Индивидуально-авторская картина мира в значительной степени субъективна и несет в себе черты языковой личности ее создателя [2]. Это образная, «очеловеченная картина», в которой личность поэта представляется как отражение ее существования. Такая картина мира понимается нами как альтернатива миру реальному. Материальным же выражением поэтической картины мира являются, естественно, произведения поэта, их единое текстовое пространство.

Творчество Н. Рыленкова, одного из известных русских поэтов, реализовывалось в русле «смоленской поэтической школы». Впервые об этой школе как факте истории литературы заговорил А.В. Македонов. Он утверждал, что специфика «смоленской школы», особенно резко ощущалась в начале тридцатых годов, затем целый ряд новинок этой школы стал уже общим достоянием советской поэзии» [3]. Главой школы, организатором сил молодых смоленских поэтов на первых порах, творческим примером и советчиком был М. Исаковский. Это неоднократно отмечено и А. Твардовским, и Н. Рыленковым. Постепенно пути всех трех поэтов в литературе все более расходились. Это были три большие творческие индивидуальности – при том что личные и художественные связи они сохраняли до конца. Следы общности мировоззрения, языка, фольклоризма, вынесенные из детства и литературной молодости, заметны у них и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы [4].

Литературное развитие Н. Рыленков понимал как усвоение традиции и на его почве поиск нового. Несомненно, это черта нашла отражение в поэтическом языке, частью которого является ОНОМАСТИКОН, то есть полное собирание имен собственных. Так, например, в своих стихах Н. Рыленков очень активно использовал имена собственные, которые обозначают тему Малой Родины поэта. Н. Рыленков родился в деревне Алексеевке (народное название – Ломня) Тюнинской волости Рославльского уезда Смоленской губернии, и все эти названия не раз встречаются в его стихах.

Безусловно, топонимической лексикой в лирике Н. Рыленкова не ограничивается круг употребления собственных имен. Очень много в его текстах

имен, фамилий, прозвищ, так как это помогает создавать художественную систему образов.

Отметим, что среди антропонимов Н. Рыленкова встречаются имена, употребляющиеся довольно часто в реальной действительности. Это связано с тем, что герои его стихотворений преимущественно простые труженики. Выбор имен вымышленных персонажей также соответствует реальной действительности, поскольку образы носят обобщенный характер и степень обобщения здесь представлена довольно последовательно.

В настоящей статье мы обращаемся к системе женских имен в лирике Н. Рыленкова, так как этот материал еще не нашел лингвистического осмысления.

Выбор имени персонажа сам по себе выступает как прием. Имена людей – часть истории народа. В них отражаются быт, верования, фантазия и художественное творчество народов, их исторические контакты, культура. Необходимо также отметить, что имена связаны и с развитием производительных сил, с определёнными культурно-историческими, социально-политическими условиями, в которых они возникают. Поэтому многие имена несут на себе яркий отпечаток соответствующей эпохи [5].

Для того чтобы анализировать особенности употребления той или иной формы женского имени, обратимся к строкам из стихотворения Н.И. Рыленкова «Толока»:

*День морозный,
День такой хороший,
Пусть вчера подладила метель,
Но у **Марьи** околела лошадь,
А у **Марьи** семеро детей.*

[1981, с.73]

Поэт не случайно выбирает такую форму имени *Мария*. По классификации Н.А. Петровского, мы можем назвать эту форму народной. Из контекста мы видим, что речь идет о сельской жительнице. Несомненно, именно потому поэт выбрал форму *Марья*, а не *Мария*. Стихотворение написано в 1926 г., не прошло еще и десятилетия после революции. В русской деревне в этот временной промежуток имя *Мария* (и его производные) было наиболее часто употребляемым. В послереволюционное десятилетие еще не столь активно использовались имена, соответствующие новой идеологии, например, Октябрина, Исталина и др. На Смоленщине имя *Мария* в 26 году было также весьма популярным [6].

Отметим также народную семантику имени *Марья*, близость имени к фольклору (Иван да Марья). Мы можем утверждать, что в этих строках автор хотел показать читателю типичность, но вместе с тем и трагичность ситуации в русской деревне после революции. В имени *Марья* мы находим высокую степень обобщения, помогающую воссоздать колорит эпохи. *Марья* – символ русской женщины.

Приведем строки из стихотворения «Бабка», которое было написано совершенно в другое время – в 1956 году.

*Неспроста до сих пор у тына
Снится мне под шелест березы,
Будто бабка моя **Катерина**
В тишине закликает грозы.*

[1981, с. 273]

Катерина – разговорная форма имени. В этом стихотворении Н.И. Рыленков обращается к прошлому. Разговорная форма *Катерина* (с утраченной начальной е для быстроты и удобства произношения) оживляет язык стиха, придает динамизм. Нужно отметить, что во время написания стихотворения имя *Екатерина* на Смоленщине считалось популярным [7]. На этом основании можно говорить о стремлении автора обращаться к типичному и постоянному.

Нельзя не сказать об именах собственных в стихах Н. Рыленкова в военный период творчества. Характерно, например, стихотворение, написанное в 1943 году – «Сестрица Аленушка»:

*На жаркое дело ушел отряд,
Назад не вернется до солнышка.
А ночь темна,
А раны болят,
Сестрица моя, Аленушка.*

[1981, с. 175]

Обращает на себя внимание, прежде всего, уменьшительно-ласкательный суффикс *-ушк-* в слове *Аленушка*. Этот суффикс часто употребляется в фольклоре (*ивушка, лебедушка*). Поэт показывает через это имя свое отношение к девушке, которое представляется читателю трогательным и нежным. Здесь еще одна деталь, говорящая об отношении поэта к персонажу, – обращение к ней:

*Закрой же дверь,
Останься тут,
Сестрица моя, Аленушка!*

В этих строках просматривается, безусловно, и фольклорный мотив, который был свойственен представителям «смоленской поэтической школы» вообще, Н. Рыленкову – в частности. С помощью фольклорного обращения «сестрица моя» и формой *Аленушка* достигается типизация персонажа. В трудное для страны время Великой Отечественной войны было очень распространено такое обращение к военным медсестрам, санитаркам: *сестрица, сестричка*. Именно поэтому стихи Н. Рыленкова доходили до читателей, были понятны и близки им.

Еще одно стихотворение военного периода называется «Бой шел всю ночь, а на рассвете...» (1942 г.).

*Девчонка вздрогнула и, глядя
Колонне уходящей вслед:
«Меня зовут Марусей, дядя», –
Сказала тихо мне в ответ.*

В этом стихотворении речь идет о том, как боец, тоскуя по родной дочери, встречает девочку, которая на нее похожа. Поэтому в тексте употреблена просторечная форма имени *Мария* – *Маруся*. Персонаж обращается к девочке по-простому, так, как обратился бы к родной дочери.

В стихотворении «Свадьба Марины Мнишек» речь идет о реальном историческом лице – *Марине Мнишек*. Проследим, как создается вариативность имени в стихах Н. Рыленкова, для чего это необходимо.

Вначале имя звучит нейтрально – *Марина*. Но в последующих строках встречаем форму *Маринка*. В начале стихотворения мы не видим ясно авторс-

кого отношения, а в последующих строках оно приобретает ясные очертания, наполняясь все большим негативом:

*Не присягну Марине, проклятой иезуитке,
Что с коршуньем летела от воровских границ...
Пытай меня, если хочешь, – я все повторю на пытке» –
И, чьей-то саблей сраженный, на пол свалился ниц.*

[1981, с. 150]

Таким образом, являясь знакообозначением главного действующего лица, вариантная форма имени позволяет раскрыть и передать все оттенки авторского восприятия главной героини – от нейтрального до открыто отрицательного.

Если говорить об именах собственных, называющих литературных героев, то здесь, безусловно, определяющую роль играют литературные приоритеты Н. Рыленкова, то есть фольклорные мотивы. Обратимся, например, к стихотворению «Ярославна» (1961 г.):

*Путивльский шлях. Полынная тоска,
Твой ждущий взгляд сквозь слезы – синий-синий.
Вошла ты Ярославною в века,
А в терему осталась Ефросиньей.*

[1981, с. 386]

Эти строки намечают замысел, который поэт вынашивал всю сознательную жизнь. В 1962 году он окончил и опубликовал стихотворный пересказ «Слово о полку Игореве». Он шел к своему труду сорок лет, со времени первого школьного знакомства с «Плачем Ярославны» в переводе И.И. Козлова, и сам рассказывал об основных подступах к переложению – об увлечении фольклором, древней русской литературой, «Словом...» (древнерусский текст которого он знал наизусть) в годы учения в институте, о своих довоенных стихотворениях «Боян» и «Меч Монаха», о косвенном «Ярославна» – в автобиографии «Страницы жизни» и в предисловии к отдельному изданию «Слова» в 1966 году [8].

Безусловно, мы должны говорить об огромном влиянии на Н.И. Рыленкова древнерусской поэзии. Но, естественно, на поэта влияли и другие авторы. Поэтика его стихов во многом перекликается с поэтикой прозы И.С. Тургенева и И. Бунина. Показательны здесь следующие строки из стихотворения «Орловская весна»:

*Может, молодость сызнава
Выйдет, брякнув калиткою,
То ль тургеневской Лизою,
То ли бунинской Ликою.*

[1981, с. 373]

Еще один антропоним, о котором следует сказать отдельно, – *Макарьевна*. В стихотворении «В гостях у Пржевальского» поэт употребляет только отчество в следующем контексте:

*А за лесом дымились марева
Тех дорог, что избыть нельзя,
И вздыхала нянька Макарьевна,
Ворох писем ему неся.*

[1981, с. 440]

Употреблением такой формы антропонима Н.И. Рыленков обозначает

свое уважение к персонажу и принадлежность персонажа к народной среде. Такое обращение (только по отчеству) было популярным в народе во времена Н. Рыленкова и сохранилось до сих пор в сельской местности (*Никитична, Ильинична*).

Таким образом, имена в произведениях Н. Рыленкова выполняют важную функцию в реализации авторского замысла, построении индивидуально-авторской картины мира. Как правило, в именах находит отражение определенный период истории страны, ощущается колорит эпохи. Имена несут номинативную функцию и частично индивидуализирующую, но несомненным является их характеристическое свойство. Интересно высказался по этому поводу Е.И. Замятин: «Кстати сказать, это правило: фамилии, имена прирастают к действующим лицам так же крепко, как к живым людям. И это понятно: если имя почувствовано, выбрано верно – в нем непременно есть звуковая характеристика действующего лица» [9]. Имена отражают динамику взаимоотношений писателя и времени, писателя и истории. Выбор ономастической лексики всегда обусловлен определенными целями, эта лексика несет национальный характер, она колоритна и разнообразна.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кочеткова Т.В. Языковая личность носителя элитарной речевой культуры. – Саранск, 1999. – С. 25.
2. Ковалев Г.Ф. Писатель. Имя. Текст. – Воронеж, 2004. – С. 51.
3. Македонов А.В. Очерки советской поэзии. – Смоленск, 1980. – С. 31.
4. Македонов А.В. Очерки советской поэзии. – Смоленск, 1980. – С. 34.
5. Ковалев Г.Ф. Писатель. Имя. Текст. – Воронеж, 2004. – С. 30.
6. Королева И.А. Родовые истоки А.Т. Твардовского в именах собственных // Культура как текст: Материалы научной конференции, Выпуск V. – М. – Смоленск, 2005. – С. 153.
7. Королева И.А. Родовые истоки А.Т. Твардовского в именах собственных // Культура как текст: Материалы научной конференции, Выпуск V. – М. – Смоленск, 2005. – С. 178.
8. Македонов А.В. Очерки советской поэзии. – Смоленск, 1980. – С. 29.
9. Замятин Е.И. Закулисы. Зеленый ветер. – Воронеж, 2002. – С. 978.

Источники

1. Рыленков Н.И. Стихотворения и поэмы. – Л., 1981. – 766 с.

ХАНТЫЙСКИЙ СУБСТРАТ В ГИДРОНИМИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

На формирование топонимических рядов Среднего Приобья влияние оказали два фактора: усвоение русскими поселенцами географических названий местного населения и возникавшие названия, которые отражают собственно русские традиции.

В настоящее время хантыйских поселений сохранилось совсем немного, поэтому хантыйская топонимика данного региона должна рассматриваться как субстратная.

Анализ фактического материала позволяет по структуре выделить следующие типы хантыйских гидронимов Среднего Приобья.

I. Однокомпонентные гидрографические наименования (в данную группу также включаем хантыйские географические термины в самостоятельном топонимическом употреблении):

Аган, р. Детерминатив *аган* в русской языковой среде – результат модификации хант. *еган* «река» в связи с известной меной $j + \varepsilon < A$ [1].

Вар, оз., Конд. – *вар* – рыболовный запор, плотина, запруда [2: 17]. Этимон *вар* буквально означает «летний запор на небольших реках, вытекающих из сора», «запруда». Ареал *вар* в наших материалах замыкается территориями Приуральского, Шурышкарского, Березовского, Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. В Ханты-Мансийском районе детерминатив *вар* также имеет значение «плотина, запруда, запор». М.Ф. Розен трактует *вар* с ненецкого как «берег».

Вах, р. – почти однозвучное этому слово в хантыйском языке есть слово *ваг*, что означает *деньги, металл* [2: 237]. Можно предположить, что название реки произошло от слова *деньги*, поскольку обменять пушнину на деньги ханты могли только на берегу этой реки, у Ларьяка, где ежегодно проходила ярмарка. М.Б. Шатилов предполагает, учитывая бытующее мнение у остяков, что топоним *Вах* происходит от слов *ват* – город + *ях* – народ. «По преданию ваховских остяков... они не являются коренными обитателями Ваха, они переселились сюда, еще до прихода русских, с р. Оби, где у них был городок – «ват», почему их и стали называть на новом месте «Ват-ях», т.е. народ из города. Поэтому и река, занимаемая ими, стала называться – «ёган-ват-ях», т.е. река народа из города. В последующем два последние слова слились, причем конечный звук первого слова «т» (от слова «ват») и первый звук второго «я» (от слова «ях») отпали, и получилось слово Вах» [3]. Существует и другая точка зрения: «этимон онима соотносится с обско-угорским апеллятивом *ах/ях/ахт* «протока», осложненным протетическим *в* в процессе русской адаптации, т.е. появлением добавочного звука в абсолютном начале слова» [4]. Нам представляется более убедительной последняя версия происхождения гидронима.

Ендра, оз. – *эмтор* – большое озеро. По М.Ф. Розену, *ендра* может являться одним из вариантов термина хантыйского происхождения *эмтор* [5].

Казым, р. Название, вероятно, восходит к обско-угорскому слову *кас* – утка–крохаль [2: 53], родовой тотем части западных ханты / тюрк. *каз* – гусь.

Так, Г. Лазарев утверждает: «Высказывания о том, что на древней Югорской земле в словаре имеются следы татарского господства, не имеют под собой никакой основы. Это подтверждается историческими фактами. Господство татарского ханства в Сибири распространялось только до района Тобольска. Ниже все земли вдоль Иртыша, Оби и их притоков находились во владении родовых племен и князей ханты и манси, а дальше на север – ненецких племен. Появлялись здесь представители ханства только для сбора ясака, и продвигались они в основном по магистрали» [6].

Мега, пр. – происхождение топонима вызывает разногласия. Одни предполагают его образование от хантыйского слова *мевты* – язь, другие – от *мега* – речной мыс, излучина реки. Второй точки зрения придерживается свердловский краевед Г. Русаков, обосновывая ее существованием большой излучины обской протоки с названием *Мега*.

В топонимии Среднего Приобья однокомпонентные названия составляют многочисленную группу, и большинство из них являются эллиптированными. Причиной этого, на наш взгляд, является закон экономии, который действует в речевой практике. Во всех топонимах, не являющихся географическими терминами в самостоятельном употреблении, отсекается детерминант, указывающий на реалию. Наличие терминов в самостоятельном употреблении можно объяснить тем, что «мир древнего человека территориально был очень ограниченным, обычно ему была известна только одна река, вблизи которой он жил и которая для него была просто Река и не нуждалась в каком-то еще определении» [7].

Отметим, что аффиксация в образовании односоставных географических наименований изучаемого региона не получила широкого распространения, поэтому большая часть выявленных топонимов являются корневыми.

Сложные или составные топонимы составляют двухкомпонентные, трехкомпонентные и четырехкомпонентные названия. Все эти составные топонимы являются терминированными.

II. Двухкомпонентные названия (атрибутив + детерминатив):

1. Топонимы с детерминативом *еган*. Географический термин *еган* (варианты: *ех, ягун, яун, аган, егун, ега, яга, яха, ехан, егон, юган, яган*) традиционно переводят с хантыйского «река». Ареалы *еган*, по топографическим данным Н.К. Фролова, концентрируются на местах древних кочевий и современного жительства ваховских, сургутских, казымских, березовских и шурышкарских ханты, используя в составе топонимических моделей в основном для обозначения рек и населенных пунктов [8].

Агрнъеган, р., – *аурэн* – язь, язевый [2: 334] + *еган*.

Вант-еган, р. – *вант* – узкий, тонкий [2: 17] + *еган*.

Варъеган, р. – *вар* – плотина, запруда [2: 17] + *еган*

Васюган, р. Мы предполагаем, что название образовано от хантыйского (казымский диалект) *вась* – узкий, но И.А. Воробьева отмечает, что атрибутив *вас* из хантыйского не раскрывается. Она приводит предположение А.П. Дульзона о том, что ханты название этой реки заимствовали у кетов, добавив к нему свой детерминатив, так как название Васюган, по мнению А.П. Дульзона, «аборигенным народам, проживающим в исторические времена по его берегам, то есть хантам и селькупам, не известно. Оно в употреблении только у русских. Судя по второй части *юган*, русские получили это название от юганских

хантов, проживающих к северу от этой реки» [9]. Существует точка зрения, что гидроним претерпел фонетические изменения и первоначально звучал как Ватюган. Но И.А. Воробьева подвергает такое объяснение критике и приводит свое объяснение этимологии: «У хантов есть другая река Ватюган, поэтому Васюган можно считать первоначальной формой, но элемент *вас* из языка ханты не раскрывается. В то же время в верховьях Васюган есть кетский гидроним Вассес. Естественно предположить, что Вассис и было первоначально кетским названием Васюгана» [9].

Еган Урьевский, р. – *ур* – грань / *урны* – ворона / *уры* – «урий», старица, прежнее русло реки [2: 163] + *еган*.

Кульеган, р. – *кул* – рыба [2: 58] + *еган*.

Лукъеган, р. – *лук* – глухарь [2: 113] + *еган*.

2. Гидронимы с детерминативом *лор*. Топонимия на –*лор* концентрируется вблизи мест проживания сургутских и шурышкарских ханты. Детерминатив *лар* «сор, большое озеро» используется преимущественно в названиях озер. В хантыйских диалектах –*л* чередуется с –*т*, в результате чего северному и восточному –*лор* в южных наречиях соответствует –*тор*.

Вонтлор, оз. – *вонт* – урман, лес, тайга [3: 19] + *лор*.

Енрилор, оз. – *энлы* – болотная утка [3: 55] + *лор*.

Курсор, оз.; **Курыктор**, оз. – *курк* – орёл / *курэк* – шилохвост (утка) [9: 44] + *сор*, *тор*.

Лукутлор, оз. – *лук*, *лук* – глухарь [2: 113] + *лор*.

Санкийлор, оз. – *санки*, *санк* – песок [2: 147] + *лор*.

3. Топонимы с детерминативом *игол* (*игль*) – развилина, приток реки:

Кулиигол, р. – *кул* – рыба [2: 58] + *игол*.

Сартигль, р.; **Сортигол**, р. – *сорт* – щука [2: 87] + *игол*.

Эмторигол, р. – *эмтор* – озеро + *игол*.

Двухкомпонентные наименования являются наиболее употребительной топонимической конструкцией, причем наиболее широко представлены названия с детерминативами, обозначающими водные объекты, что обусловлено характером территории и важностью объектов для населения. Описательные названия рек считаются наиболее распространенным видом названий не только на территории Среднего Приобья, но и в целом Западной Сибири.

III. Трехкомпонентные названия имеют в своем составе те же финальные части, что и двухкомпонентные единицы.

Айампъеган, р. – *ай* – маленький, малый [9: 11] + *амп* – собака [2: 13] + *еган*.

Айингуягун, р. – *ай* – маленький [9: 11] + *јэнк* – вода [2: 192] + *ягун*.

Айколынъеган, р. – *ай* – маленький, малый [9: 11] + *кӧлэк* – открытый [2: 42] / *кулын* – грязный [2: 58] + *еган*.

Ватьсортъягун, р. – *ватъ* – узкий, тонкий [3: 17] + *сорт* – щука + *ягун*.

Кульеганлор, оз. – *кул* – рыба + *еган* – река [2: 58] + *лор*.

Лукпасеган, р. – *лук*, *лук* – глухарь + *пас* – знак, помета [2: 113] + *еган*.

Фактический материал свидетельствует, что в трехкомпонентных топонимах первая часть состоит из двухкомпонентных топонимических образований, выступающих в качестве определяющего, а вторая, определяемая часть, является в большинстве случаев географическим термином. Следует заметить, что в большинстве случаев трехкомпонентные топонимы являются оттопони-

мическими образованиями, в которых первые два компонента индивидуализируют и характеризуют третий (географический термин). Сложные наименования образованы при помощи географических терминов, обладающих разнообразным семантическим спектром, большая часть которых в устной речи нередко подвергается эллиптированию.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фролов Н.К. Избранные работы по языкознанию: В 2 т. – Т. 2. – Топонимика и этнонимика. – Тюмень, 2005. – С. 103; 395.
2. Терешкин Н.И., Сподина В.И. Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский (ваховский диалект). – Нижневартовск, 1997.
3. Шатилов М.Б. Ваховские остяки: Этнографические очерки / Под ред. С.Г. Пархимовича. – Тюмень, 2000. – С. 12–13.
4. Русская ономастика и ономастика России. Словарь / Под ред. О.Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 44.
5. Розен М.Ф., Малолетко А.М. Географические термины Западной Сибири. – Томск, 1986. – С. 98.
6. Заев А. Топонимический словарь Югры // Югра. – № 1. – 1993.
7. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. – М., 1988. – С. 15.
8. Фролов Н.К. Русские топонимические заимствования из самодийско-угорских языков. – Новосибирск, 1991. – С. 67.
9. Воробьева И.А. Топонимика Западной Сибири. – Томск, 1977. – С. 90.

Принятые сокращения

- р. – река.
пр. – протока.
оз. – озеро.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АГНОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ СТАРШЕКЛАСНИКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОГРАММНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

Общественно-политические сдвиги в России последних десятилетий привели к коренному изменению общественного уклада российского общества, что, естественно, не могло не сказаться на функционировании русского языка в различных социальных, профессиональных и возрастных слоях общества. В российском обществе в целом, отмечает И.А. Стернин, произошла смена коммуникативной парадигмы, то есть доминирующего в общественной практике типа общения, наиболее заметными результатами которой явились несколько взаимосвязанных друг с другом процессов, возникших в русском языке [1: 9-10]. Изменения в коммуникативном ядре лексикона определились влиянием объективных экстралингвистических факторов и проявились в форме активизации, стабилизации и пассивизации определенных пластов лексических единиц, что привело к достаточно быстрому отчуждению некоторых недавно еще актуальных лексических групп.

Вместе с тем, стандарт литературного образования для 9-11 классов сохраняет сложившийся в течение многих лет список классических художественных произведений, обязательных для прочтения и обсуждения на уроках литературы. Изучение произведений художественной литературы в рамках школьного предмета предусматривает как понимание текста, запоминание деталей, так и приобретение умения высказать свои мысли о прочитанном. Оставляя в стороне литературоведческое освоение художественных текстов, отметим колоссальные понятийные и языковые пустоты старшеклассников при первичном освоении текста, то есть при чтении (так, к примеру, при предъявлении к объяснению текста из комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова 34 респондента из 100 отметили как неизвестные/непонятные лексические единицы в интервале «0 – 50», 47 информантов – в интервале «51 – 100», остальные – в интервале «101 и выше»).

Появление новых уровней агнонимической¹ лексики создает определенные трудности в процессе чтения и понимания художественных произведений и не может не сказаться на качестве усвоения программного материала. Проведенное анкетирование учащихся 9-10 классов ряда московских средних учебных заведений (гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ) и аналитико-статистическая обработка полученных данных показали, что колоссальный пласт лексики (около 8000 лексических и фразеологических единиц) художественных произведений школьной программы остается вне понимания старшеклассниками. Основные показатели «отчужденной» старшеклассниками лексики колеблются в интервале от 50 % до 29 %.

Главные трудности старшеклассники испытывают при декодировании лексических единиц следующих тематических и лексико-семантических групп:

¹ А г н о н и м ы [от греч. *ἀ* — ‘не’, *γνώσις* — ‘знание’ и *ὄνομα*, *ὀνομα* — ‘имя’] — это совмещенная единица лексической системы, представляющая собой совокупность лексических и фразеологических единиц родного языка, которые неизвестны, непонятны или малопонятны многим его носителям [2: 86].

1). Лексические единицы, обозначающие явления политического устройства России и других стран, общественно-социального уклада жизни, реалии прошлого: *бурмистр, вахлачина, витализм, вицмундир, временнообязанный, галлицизм, гофкригсрат, гуморалист, душеприказчик, десятник, камердинер, кантонист, карбонари, космополит, куртаг, кутейник, эмансипация* и т. д.

2). Наименования гражданских и военных учреждений: *застава, камера, квартал, кордегардия* и т. д.

3). Устарелые названия единиц административного деления: *волость, губерния* и т. д.

4). Названия видов производственной деятельности, торговли, ремесел и связанных с ними понятий: *безнедоимочный, заимодавец, краснорядец, лабазник, прасол, сподручица* и т. д.

5). Названия воинских званий, наименования реалий военного быта: *бранденбуры, венгерка, выпушка, гвардионец, застрельщик, кавалергард, капсюль, корнет* и т. д.

6). Сокращенные названия старых орденов и знаков отличия: *звезда, крест, лента* и т. д.

7). Названия предметов, использовавшихся ранее в быту, и явлений быта: *бекеша, бешмет, блонда, борзовщик, васисдас, взятки, гарус, головня, госпо-жинки, гуж, дормез, зажорина, залишек, кострика, коты, ландкарта, лафит, тупей, шлык* и т. д.

8). Устарелые названия лиц, часто оценочного характера: *вахханка, вес-талка, голыш, гомериды, лайдак, лапотник, лохмотник, фигляр, эпикуреец* и т. д.

9). Названия лиц по степени родства, близости знакомства: *деверь, золо-в-ка, кума, сноха* и т. д.

10). Названия букв старой русской и старославянской азбуки: *аз, буки, ижица, покой, фита, ять* и т. д.

11). Устаревшие названия единиц измерений, денежных единиц: *аршин, верста, красненькая, лепт, лобанчик, синенькая* и т. д.

12). Слова, обозначающие понятия, связанные с тем или иным видом искусства: *глизсе, дриада, каватина, капитель, контрданс, котильон, элегия* и т. д.

13). Слова, частично или полностью изменившие значение: *антресоли, безобразие, вокзал, выкуривать, гарнитур, гастроном, дымка, жаворонок, ка-вычка, курить, прах* и т. д.

14). Слова культового содержания: *вертоград, воздух, геенна, дякон, за-утреня, заговенье, инок, кадило, лития* и т. д.

15). Варианты (фонетические, грамматические, графические) некоторых слов: *галлюцинация, галстух, гонорарий, езуит, елестричество, ерань, завес, клоак, кринолина, легистраторша, ловлас, талья, ценсор* и т. д.

16). Названия некоторых действий: *блажить, будировать, важиваться, гомозиться, дирываться, житье, заговеться, знобить, избочиться, из-быть, куражиться, льститься, осеняться* и т. д.

17). Названия некоторых качеств, свойств человека, абстрактных поня-тий: *витийство, гиль, гранжанр, грансеньйорство, доктринерство, иррита-ция, казуистика, рацея, турысы* и т. д.

18). Названия некоторых признаков предметов и действий: *бесперечь, вдругорядь, вечер, внакладку, вотще, впусе, втай, вчуже, доднесь, докучный, досюльный, драдедамовый, забубенный, заторелый, исполю, камчатный, клу-бышком, сполагоря, яровой, яхонтовый* и т. д.

19). Устойчивые словосочетания и фразеологические единицы, отражающие устаревшие реалии и явления в общественно-политической жизни и в быту: *аза в глаза не знать, брить лоб, варить варом, геркулесовые столпы, земский стол, истоциться до ижицы, косвенный взгляд, кредитивная грамота, подбитый ветерком, полицейская будка, присяжный заседатель, ямская изба* и т. д.

20). Индивидуально-авторские неологизмы или употребления (универбы): *антропос, авенантненький, безопаска, благородиться, большинский, бонжурте, взагрёб, воспитомка, вояжировать, впоследствии, вскликаться, запирательство, выхолиться, гадью* и т. д.

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что освоение русской классической литературы начинает представлять определенные трудности для поколения сегодняшних школьников в силу объективной деактуализации многих жизненных реалий, а следовательно, и языковых номинаций этих реалий. В этой связи необходимо отметить потребность в создании толковых словарей-справочников нового типа – сопроводительных (сопровождающих чтение, своего рода «глоссариев», «подстрочников»), адресованных молодежной читательской аудитории и направленных на снятие возникающего у нее в процессе чтения языкового дискомфорта. Сопроводительный толковый словарь-справочник должен стать собранием низкочастотных лексем и фразем, облегчающим понимание художественного текста, то неясное для современного школьника в литературе прошлого, что является выражением своеобразия национальной культуры и языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стернин И.А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Вып. 2. – Язык и социальная среда. – Воронеж, 2000.

2. Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы: слова, которые мы не знаем. – М., 1997.

КОМПОНЕНТЫ ОЦЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКИ В БИСУБСТАНТИВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Понимание предложения как основной синтаксической единицы и синтаксической системы в целом основывается на понятии предикации. Именно предикат является выразителем оценочного значения в бисубстантивных предложениях (БП): *Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевской нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа...* (Т. Толстая); *Что мать, что бабка – обманщицы, лукавые поноворожицы...* (А. Островский); *Она явно привлекательна, несколько грубоватая, живая, всегда в форме* (А. Вампилов); *Вы счастливица, Аннунциата* (Е. Шварц).

Понятие предикативный признак рассматривается учеными по-разному. Мы, вслед за П.А. Лекантом, предикативным считаем тот признак, который приписывается (соотносится с модальностью, временем и лицом) предмету, названному в подлежащем. «Его сущность заключается в том, что он как бы открывается говорящим в предмете и приписывается предмету в определенном модально-временном плане и в отношении к лицу говорящему» [1]: *Он самый богатый делец в стране* (Е. Шварц); *Благодетель я тебе был?* (А. Островский). В первом предложении субъекту речи приписываются следующие модально-временные признаки: объективно-модальное значение реальности, то есть соответствие действительности; субъективно-модальное значение – нейтральная модальность констатации. Синтаксическое время – настоящее, так как высказывание соответствует моменту речи; синтаксическое лицо – третье, так как речь идет о не участнике речевой ситуации. Во втором предложении выражается объективно-модальное значение ирреальности, то есть несоответствие действительности, представление высказываемого как предполагаемого.

А.А. Шахматов при анализе синтаксических отношений высказал следующее положение: «... при сочетании двух представлений о предметах предикативные отношения между ними возникают только в том случае, если одно из этих представлений мыслится как признак или совокупность признаков, так же, обратно, возможность предикативной связи между двумя представлениями о признаках в некоторых случаях обусловлена тем, что одно из обоих представлений мыслится как совокупность признаков, в числе коих может быть сочетавшееся с ним представление о признаке» [2].

Это утверждение Шахматова можно проиллюстрировать бисубстантивным предложением, предикативное ядро которого организовано повтором одной лексемы: *Долго бы он [старичок] там [в магазине] простоял, если бы не объявился к нему тот самый человек. Объявился, поздоровался. Ревизор как ревизор. Моложавый такой, веселый* (А. Вампилов). На первый взгляд, предикативные отношения в такой конструкции возникнуть не должны, так как определить какое-либо понятие через само себя невозможно; конкретное значение существительного *ревизор* исключает появление эмоциональных добавочных значений, которые могли бы нейтрализовать образующуюся тавтологию.

И все же предикативные отношения в данном примере возникают. Сущест-

вительное *ревизор* в позиции подлежащего обозначает конкретное должностное лицо, производящее ревизию, в нем актуализируется индивидуальный компонент семантики лексемы. В позиции сказуемого у того же существительного актуализируется обобщающий, типизирующий компонент семантики. «Здесь слово выступает не как именование конкретного предмета, не в референтной функции, а как совокупность признаков, свойственных классу конкретных предметов... – эта функция – предикатная» [3]. Семантика анализируемого предложения: ‘Ревизор соответствует общепринятому представлению о ревизорах: человек, занимающий данную должность, государственный чиновник’ [4].

Известно, что компонент ‘такой, какой должен быть’ является компонентом семантики внешней оценки, следовательно, предикативный признак анализируемого предложения является оценочным признаком. В этом высказывании субъектом оценки – говорящим – выражается представление об объекте оценки – *ревизоре*. Благодаря включению признаковых слов *моложавый такой, веселый* рациональная оценка, обозначающая соответствие норме, совмещается с эмоциональной.

Бисубстантивные предложения с семантикой оценки включают следующие компоненты аксиологических смыслов: **оценочный предикат, оценивающий субъект, оцениваемый объект (предмет), характер оценки и основание оценки.**

Основным семантическим компонентом, обязательно представленным в БП, является **оценочный предикат**. Его языковое содержание зависит от взаимодействия субъекта и объекта оценки, а следовательно, от субъективного и объективного факторов. Субъективный компонент предполагает ценностное (положительное или отрицательное) отношение субъекта к объекту, а объективный оценочный компонент ориентирован на свойства объекта, одно или их совокупность: *Ну и пусть. Зато жена – красавица!* (Т. Толстая) – предикат выражен существительным с положительной семантикой. *Мы с тестем мошенники* (А. Островский) – предикат выражен существительным с отрицательной семантикой.

Субъект оценки – это «лицо, часть социума или социум в целом, с точки зрения которого производится оценка» [5]. Субъект приписывает ценность определенному предмету, исходя из эмпирического опыта или состояния сознания, а также на основе общечеловеческих стандартов бытия.

В бисубстантивных предложениях субъект оценки может быть выражен двумя основными способами: конструктивным и лексико-грамматическим.

Суть конструктивного способа заключается в том, что субъект оценки выражается в осложняющих БП конструкциях (вводные слова и словосочетания, вставные конструкции), называется в главной части сложноподчиненного предложения нерасчлененной структуры, в словах автора в предложениях с прямой речью, косвенной речью и, наконец, в конструкциях, оформленных как диалог: *По-моему, вы жулики* (А. Вампилов); *Надо ли говорить, что, по представлению сотрудников журнала, теща, – в хороших традициях от-тепельного «Крокодила», – конечно же, не живой человек, а враг народа, вроде карикатурных «воротил с Уолл-стрита»;* *Еда, вино и любовь – не грех перед Господом, а радость на пиру его, как сказал мне один мудрый старый грек* (Т. Толстая); *Черному ясно видно, что это же Васька Ворон, одесский уркан*

(К. Симонов); *«Сам ты пирамида Хеопса»*, – думает *Ольга Михайловна* (Т. Толстая); *И они еще говорят, что я неудачник* (А. Вампилов); *Правда, тот возмущался своим пророкоподобным и вместе ангельским видом и пробовал говорить, что все же он бывший жулик...* (К. Симонов); – *Я*, – говорит *граф*, – *чересчур богатый человек...* (М. Зощенко).

Лексико-грамматический способ – это способ выражения субъекта оценки с помощью местоимения или существительного, употребленного в определенной предложно-падежной форме. Продуктивным способом выражения субъекта оценки в русском языке является форма р. п. с предлогом *для*: *Неужели вы не понимаете, что для меня вы всегда больше мужчина, чем министр финансов?* (Е. Шварц); *Для меня тот вечер – святая вещь. Праздник; Для тебя он настоящий псих* (А. Вампилов); *Для вас, быть может, он ничтожество, нуль* (А. Чехов); *Язык для поэта – мир* (И. Сельвинский).

Реже используется форма дательного падежа без предлога: *Ежели баба в шляпке, ежели чулки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место* (М. Зощенко); *Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями* (А. Чехов).

Субъект оценки может быть выражен местоимением третьего лица р. п. с предлогом *у*: *Гришуня у них считался гением...* (Т. Толстая). Такой способ непродуктивен.

В драматических произведениях субъект оценки выражается в наименовании действующего лица: *Перчик. Мудрый вы человек, реб Тевье. Без приговорки слова не скажете...* (Г. Горин); *Юлия. Она была кокетка* (Е. Шварц).

В некоторых БП субъект оценки не назван, но грамматически представлен как неопределенный: *Таракан считался самым большим умницей в городе* (Л. Улицкая). Указание на субъект опирается на связку *считаться* в составном именном сказуемом и на второстепенный член – обстоятельство места *в городе*, который косвенно указывает на тех, кто считает таракана умницей. Субъектом оценки является «совокупность лиц, образующих некий социум с общими стереотипами» [6].

Старик Кулебякин был добрейший человек; Она была уже в летах, отвыкла от мужского общества (Л. Улицкая) – субъект оценки вербально не представлен, им является автор текста.

Объект оценки называет тот предмет, который оценивается субъектом. Объект оценки занимает в бисубстантивном предложении позицию подлежащего и выражается именем существительным или его эквивалентом в именительном падеже: *Замоскворечье – моя родина; Да, Лиза у нас рукодельница! Значит, вы моему зятю не компания* (А. Островский); *Министр ведь реальный политик* (Е. Шварц); *Это, говорит, пустяки – ихняя вера* (М. Зощенко). Иногда объектом оценки является оценочное существительное: *Воровство – это не мой жанр* (А. Вампилов); *Вранье – это пустяковое дело* (М. Зощенко). Часто в состав объекта оценки может включаться оценочный элемент: *Верные мужья – моя слабость; Заводик-то – промартель, гиблое дело. Тоска...* (А. Вампилов). В первом предложении объект оценки распространяется оценочным прилагательным. Во втором предложении – выражается существи-

тельным с уменьшительным суффиксом *-ик-*. Исследование связи между объектом оценки и самой оценкой не входит в задачи данной статьи.

Характер оценки обозначает положительное, отрицательное или нейтральное отношение субъекта к объекту, связанное как с позицией объекта на шкале оценок (зона положительного, отрицательного, безразличного), так и с эмоциями, ощущениями и концептуальным миром субъекта. Ср.: *Дети – балбесы* (Т. Толстая); *Дети – наше будущее* («Красногорские вести». – № 138. – 2007).

Основание оценки – четвертый и очень важный компонент структуры оценочной семантики, «то, с точки зрения чего производится оценивание» [7], – категория логико-психологическая, проявляющая себя прежде всего в отношении субъекта к норме и стандарту, к пользе, этике и морали. Основание оценки является, как правило, базой для многочисленных классификаций оценочного значения. В частности, одна из них делит оценки на **внешние и внутренние** [8]. Это деление отражает связь субъективного и объективного факторов: ценностная картина мира базируется на положительных или отрицательных эмоциях субъекта оценки, вызываемых свойствами, качеством, внешним видом, функциями объекта оценки.

Внешние оценки ориентированы на когнитивную сферу говорящего, отражают знания субъекта, формируемые соотношением ментальной и социальной природы окружающей человека действительности. Во внешней оценке компоненты семантической структуры группируются в следующей последовательности: на первый план выходит компонент нормы ‘такой, каким должен быть’, компонент ‘я люблю’ нивелируется: *Этот человек – слепой. У него замкнутое и терпеливое лицо, как у всех слепых, веки сомкнуты, голова опущена, ухо он склонил к своей спутнице* (Т. Толстая).

Внутренние оценки выражают эмоциональную сферу говорящего – его чувства, эмоции, связанные с психической сферой симпатии/антипатии. Во внутренней оценке представлен компонент ‘я люблю’, а компонент ‘такой, каким должен быть’ в семантической структуре оценочной номинации нивелируется: *Этот мир не слукавил с тобой, Ты внезапно прорезала тьму, Ты явилась слепящей звездой, Хоть не всем – только мне одному* (Н. Гумилев).

Таким образом, оценочное значение в БП выражается следующим комплексом элементов: оценочный предикат, оценивающий субъект, оцениваемый объект, характер и основание оценки. Семантика этих элементов формирует **модальную рамку оценки** – ценностное отношение говорящего к высказываемому: *Кузаков. Сколько я тебя знаю, ты всегда был мелким шkodником* (А. Вампилов). В этом примере оценочный предикат выражен фразеологизированной конструкцией, включающей оценочное существительное, содержащее сему ‘баловник, вредный озорник’ [9], и прилагательное *мелкий*, употребленное в значении ‘несущественный, незначительный’ [10]. Оценивающий субъект выражен в наименовании действующего лица пьесы А. Вампилова «Утиная охота». Объект оценки выражен местоимением второго лица в форме именительного падежа. Характер оценки отрицательный. Основание оценки – сфера человеческих чувств, личное отношение одного героя к другому. Оценка эмоциональная, внутренняя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лекант П.А. Предикативная структура предложений // Строение предложения и содержание высказывания. – М., 1986. – С. 312.
2. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – М., 2001. – С. 26.
3. Герасименко Н.А. Бисубстантивный тип русского предложения. – М., 1999. – С. 28.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. – С. 672.
5. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 2002. – С. 68.
6. Там же. – С. 69.
7. Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970. – С. 27.
8. Там же. – С. 30.
9. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М., 2001. – С. 1018.
10. Там же. – С. 852.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ОБРЯДОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ УЧАСТНИКОВ СВАТОВСТВА

Наименования участников обряда являются важной частью свадебной лексики, наряду с названиями обрядовых предметов (атрибутов) и терминологией свадебных действий. Обратимся к наименованиям лиц, участвующих в главном обряде предсвадебного периода – обряде сватовства.

Рассматриваемые лексемы извлекались из «Словаря русских народных говоров», диалектных региональных словарей, работ А.Ф. Войтенко, А.В. Гуры, О.В. Никифоровой, Л.И. Лариной и других исследователей. Украинские наименования взяты из «Словника української мови», работ П.Ф. Романюка, Т.Г. Пашковой, Н. Хибобы и др. Использовались материалы, полученные путем полевого сбора, проводившегося в 2000-2006 гг. на территории России и Украины.

По определению В.И. Даля, *сват* – ‘тот, кто идет сватать невесту по поручению жениха или родителей его’ [1]. Сваты могут быть родителями, крестными родителями, родственниками жениха. Встречаются среди них не состоящие в родстве с женихом лица: соседи, знакомые, свахи-профессионалы. Роль сватов у зажиточных людей могли исполнять священники.

В среднерусской свадьбе главную роль на сватовстве играла сваха, значение мужчин в обряде было менее значительным. На Русском Севере мужчины-сваты встречались гораздо чаще. В Оренбургской и Московской губерниях зафиксирован также вариант, при котором в состав представителей партии жениха входят и мужчины, и женщины.

Русские диалектные словари фиксируют многочисленные однокоренные лексемы, обозначающие лицо, сватающее невесту: *засватчик* (южн.), *сватальщик* (олон., свердл., алт., арх.), *сватанёк* (арх.), *свательник* (урал., свердл.), *свательщик* (свердл.), *сватеньки* (свердл.), *сватовец* (арх., Сев.-Двин., олон.), *сватовщик* (перм., вят., арх., свердл., курган., алт., Забайкалье, сиб., новосиб.), *сватовья* (смол.), *сваточек* (смол., тул., орл.), *сваточник* (амур.), *сватошки* (свердл.), *сват-сватун* (прииртыш., кемер., вят., волог., яросл., костром., иван., свердл., том., поволж.), *сватух* (олон.), *сватуха* (пск., твер.), *свах* (арх., нижегор., рост.).

Женщину-сваху называли *сваха* (нижегор., тамб.), *княжная сваха* (перм., яросл.), *сватальщица* (алт., свердл.), *свательщица* (алт.), *сватовница* (свердл.), *сватовщица* (свердл., перм., урал., курган., алт., Забайкалье, сиб.), *сватовья* (перм.), *сваточка* (том.), *сватунка* (том.), *сватулька* (орл., тул., калуж.), *сватулька* (енис., краснояр., кемер., том., прииртыш., сиб., урал., сверд., вят., киров., волог., яросл., нижегор., поволж.), *сватуха* (пск., твер., яросл., прииртыш., новосиб., краснояр.), *сватушка* (смол., прииртыш.), *сватчишка* (иркут.), *сватынка* (ленингр.), *сватьика* (смол.), *сватька* (новг.), *сватья* (арх., ленингр., твер., яросл., вят., новосиб., том., нижегор.), *свахонька* (нижегор.), *свашенка* (новосиб.), *свашка* (ворон., рост., волгогр., курск., орл., брян., смол., пск., перм., киргиз., новосиб., омск., том., амур., краснояр.), *свашонка* (новосиб.), *свашулька* (ворон.). В форме множественного числа за-

фиксированы лексемы *сваты* (нижегор.), *сватухи* (пск., твер., олон., помор., ленингр., нижегор.), *свахальни* (прииртыш.).

Наименование *сват* – общеславянское. В украинском языке в рассматриваемом значении используются лексемы *сват*, *сваха*, в белорусском языке – *сват*, *сваця*.

Слово *сват* восходит к тому же корню **svo-*, что и в местоимении *свой*. Старейшее значение наименования – ‘принадлежащий к своим’, ‘из своих’, ‘свояк’, а значение ‘устроитель свадьбы, сватающий’ – более позднего происхождения, появилось под влиянием глагола *svatati* [2]. Сват и семья невесты в случае удачного сватовства становились родственниками, своими. Об этом свидетельствует и наименование свахи *свойница* (ворон., новосиб.). В Борисовском уезде Минской губернии сват после сватовства считался родственником родителей невесты. Поэтому для того, чтобы женить кого-нибудь из семьи этого свата и из семьи невесты, требовалось разрешение парафиального священника [3].

Н.М. Никольский считает, что термины *сват*, *сваты* первоначально обозначали родственников по матери [4]. Можно предположить, что термины с корнем *сва-* – наиболее древний, изначальный пласт свадебной обрядовой терминологии, возникший в эпоху матриархата. Тот факт, что большая группа наименований участников сватовства восходит к корню **svo-*, дает основания считать, что наидревнейшей формой брака была не кража невесты, а брак по договору.

В ряде случаев словари особо отмечают принадлежность сватов к роду жениха или роду невесты. Фиксируются термины со значением собирательности, обозначающие совокупность лиц, участвующих в сватовстве со стороны жениха: *сватовье*, *сватовьё* (смол., курск., тул., новг., олон., арх., костром.), *сватъё* (нижегор.), *сватня* (урал.). Также отмечаются наименования *князьевая сваха*, *князевая сваха* ‘сваха со стороны жениха’ (енис., волог.), *сват* ‘отец жениха’, ‘ближайший женатый родственник жениха’ (Украина – Правобережное Полесье), *сваточница* ‘мать жениха’ (урал., свердл.), *ранняя сваха*, *ранняя свашенька* ‘близкая родственница жениха, которая печет свадебный каравай, расплетает косу невесты перед отъездом на венчание и осыпает хмелем свадебный поезд’ (курск., орл., амур.). К часто употребляемым в Полесье, на Карпатах и в Белоруссии относятся термины *сваты*, *свахі* в значении ‘свадебный поезд жениха, едущий за невестой’. В Калужской области наименованием *поезд* обозначались сваты со стороны жениха. В Закамье зафиксировано слово *сват* ‘брат жениха по отношению к брату невесты’.

В белорусском свадебном обряде термин *сваты* обозначал род невесты на свадьбе. В Правобережное Полесье Украины лексема *сват* могла иметь значения ‘отец невесты’, ‘ближайший женатый родственник невесты’. В русских говорах в значении ‘сваха со стороны невесты’ отмечены лексемы *невестница*, *поневестница* (пск., твер.), *невестина сваха* (нижегор.), *княжны сваха* (енис., перм.). С близкими значениями фиксируются лексемы: *сватова родня* ‘родня невесты, приезжающая на угощение к жениху’, *вечорние сваты*, *вечерние сваты*, *вечёрние сваты* ‘родители невесты’ (дон., рост.), *свашки* ‘подруги невесты’, *свашка* ‘распорядительница на свадьбе со стороны невесты, замужняя родственница невесты’ (рост.), *коробейный сват*, *коробейные сваты* ‘родственники невесты, привозящие приданое невесты в дом жениха’ (волог., яросл.).

На Украине и в Белоруссии лиц, сватающих невесту, называют *старосты*. Эта же лексема зафиксирована в зоне русско-украинского приграничья Курской области: «*Молодой идет и берет старостив*». Термин произошел от славянского *starъ* ‘главный, имеющий силу, власть’ [5]. Замена термина *сват* на *староста* объясняется переходом обрядовых функций, выполняемых ранее неженатым участником обряда к женатому – полноправному члену общины. Народная терминология подчеркивает, что важные функции сватовства мог выполнить только человек, занимающий лидирующее место в общественной иерархии.

Русские говоры также отражают важную роль в обрядах представителей старшего поколения. Главных, старших свата или сваху называли *большой сват* (олон., арх., новг., рост.), *большой сватовец* (арх.), *старший сват* (орл.), *чинна сваха*, *чільна сваха* (Украина, Львовская область). В близких значениях ‘главный распорядитель на свадьбе’, ‘дружка жениха’ фиксируются наименования *коренной сват* (казан., калуж.), *большой сват* (арх., олон., дон., рост., новг., моск.), *старший сват* (олон., орл., тобол.). Наименования *коренная*, *коренная сваха* в Нижегородской области отмечаются в значениях ‘главная из свех – родственница жениха’, ‘женщина постоянно занимающаяся устройством браков, сватовством’ (нижегор.). Названия помощников сватов, наоборот, подчеркивают второстепенную функцию сватов: *малый сват* (арх.), *малой сват* (арх.), *подсватье* (самар., сиб., арх.), *подсвашка* (дон., рост., нижегор.), *подсвашница* (вят.), *подсвашья* (нижегор., калуж.).

Многие наименования лиц, участвующих в сватовстве, связаны с обрядовыми функциями, выполняемыми ими. Так, сваху, которая отрезала косу невесты, называли *коса-режка* (костром.), *косорежка*, *косоряжка*. С обрядом выкупа невесты связаны наименования сватов *купцы* (тамб.), *ловцы*.

С первым, предварительным посещением сватами дома невесты связаны лексемы *засыльщик* (арх.), *засыльщица* (арх.), *просаха* (новг.), *посляны* (костром.), *люди хожалые* (моск.), *сходатый* (кур.), *сват ходатый* (ворон.), *сват хожалый* (пенз.), *сходатай* (тул.). Обозначение устроителя свадебного обряда – вторичная функция этих наименований. Изначально они называют доверенное лицо жениха, посылаемое для переговоров в дом невесты. Однокоренные лексемы отмечены как термины деловой сферы: *ходатайница*, *ходатайщица* ‘заступник, проситель за кого-либо’. Действие ‘быть сватом’ обозначено лексемами *ехать сватом* (волог.), *ехать в сваты* (пск.), *сватом ходить* (волог.).

Некоторые наименования устроителей свадьбы обладают прозрачной мотивацией по действию ‘сводить’: *сводитель* (перм.), *сводни* (ворон.), *сводчик*, *сват-сводник*. Отмечены лексемы *сват сводатый* ‘муж свахи, впоследствии помощник дружки на свадьбе’ (моск.). Фиксируются однокоренные наименования *проводничок* ‘лицо, сопровождающее сватов’ (перм.), *провідниця* ‘самая старшая сваха на свадьбе’ (Украина, Львовская обл.).

К поэтической лексике близка группа наименований сватов, которая отражает враждебное отношение стороны невесты к стороне жениха, берущее свое начало во времена воинственного захвата невесты: *смутчик* (сарат.), *ворогуша* (арх.), *разлучница* (ворон.), *разладница*, *брюдга* (олон., арх.), *брюзга* (олон.). Курские региональные образования *сваха-маракуха* и *сватья-чудилы* имеют идентичную структуру и семантико-функциональный план. *Маракуха* и *чудилы* – диалектные единицы, образованные от глаголов *марковать* – *марковать* ‘понимать немного’, *чудить*.

Таким образом, восточнославянские наименования участников сватовства многочисленны и разнообразны. Многие наименования связаны с конкретными обрядами, в которых участвуют сваты. Самая значительная группа слов восходит к корню **svo*-. Кроме участников сватовства, термины с корнем *сват*-могут называть почти всех действующих лиц свадьбы, близких жениху или невесте, и практически не употребляются для обозначения второстепенных персонажей свадьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978 – 1980. – Т. 4. – С. 145.
2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х томах. – М., 1964-1973. – Т. 3. – С. 570.
3. Вяселле. Абрад. – Мінск, 1978. – С. 46.
4. Никольский Н.М. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности. – Минск, 1956. – С. 272.
5. Трубачёв О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. – М., 1959. – С. 179.

ЛИТЕРАТУРА

А.А. Кунарев

ПАНФИЛ ХАРЛИКОВ (ЗАМЕТКИ ОБ АНТРОПОНИМИКЕ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»)

Антропоним, использованный в художественном произведении, отличается от своего «близнеца», который служит в повседневной жизни для называния конкретного человека. В реальной жизни имя собственное выполняет номинативную функцию, служит для выделения определенного человека из числа других людей, тогда как имя персонажа всегда несет заряд оценочной экспрессивности, окружено мощной культурно-семантической аурой и является одним из важнейших средств выражения авторского отношения к данному персонажу, а значит, и художественной идеи произведения в целом. При этом функция литературного антропонима оказывается обратной функции общеязыкового имени собственного, поскольку конечной целью имеет не столько выделение, сколько *универсализацию* [1], внесение носителя имени в ряд типологически однородных явлений, превращение его в нарицательное понятие.

Собственные имена в романе «Евгений Онегин» — плод целенаправленной и кропотливой работы поэта. В этом отношении чрезвычайно показательны сохранившиеся в пушкинских рукописях следы напряженных поисков адекватных имен не только для героев [2], но и для «мельчайших эпизодических персонажей» [3]. Няня сестер Лариных *Филиппьевна* звалась сначала *Филатьевной* и *Фадеевной*. Имени *Агафон*, выбранному в качестве окончательного варианта в сцене выкликания жениха [«Как ваше имя? Смотрит он|| И отвечает: *Агафон*» (V: IX [4]; курсив Пушкина. — А.К.)], предшествовали *Мирон* и *Парамон* [5]. Список подобных примеров можно значительно увеличить.

Широко и разнообразно используемый на страницах «свободного романа» прием наделения персонажей именами известных литературных героев формирует, по справедливому замечанию Л.И. Вольперт, «важную грань общей модели культуры в “Евгении Онегине”» [6]. «Литературное имя несет <...> важную функцию, оно не “нейтрально”, отобрано поэтом со всей тщательностью, хранит память о сложном комплексе понятий культуры (социальных, эстетических, этических)», — пишет исследовательница [7]. Это замечание касается лишь литературных реминисценций, в том числе и одного из знаков литературного мира — имен известных героев, на что неоднократно указывали исследователи творчества Пушкина [8]. Однако этому суждению можно придать и более универсальный характер. Нельзя не задуматься над таким фактом творческой истории «Онегина», как *трансформация литературного имени*, результатом которой становится антропоним, в котором на уровне фонетики и морфемике прослеживается связь с протоформой, а также *замена* первоначально выбранного литературного имени новообразованием с не столь

очевидной «родословной». В этих заметках речь пойдет об имени собственном третьестепенного персонажа «Евгения Онегина», наглядно демонстрирующего указанные особенности работы Пушкина над антропонимической системой романа в стихах.

...В субботу 12 января 1824 года в доме бригадирши Прасковьи Лариной собралась, по словам Онегина, «куча <...> народу|| И всякого такого сброду» (IV: XLIX). Среди прочих

С семьей Панфила Харликова

Приехал и мосье Трике...

(V: XXVII).

Панфил Харликов почти не обратил на себя внимания исследователей и комментаторов, да и сам Автор [9] упоминает о нем как-то вскользь. Особенно это заметно на фоне других гостей, каждый из которых очерчен хоть и немногими, но весьма выразительными чертами, позволяющими судить о внешности, социальном статусе, характере персонажа. Вот яркий пример:

...отставной советник Флянов,

Тяжелый сплетник, старый плут,

Обжора, взяточник и шут

(V: XXVI).

Здесь в сжатом виде даны и портрет, и биография, и общественная репутация — видишь как живого! Даже о прекрасно известном современникам Буянове, одно упоминание о котором воскрешало в памяти образ «опасного соседа», Автор не преминул сообщить:

В пуху, в картузе с козырьком

(Как вам, конечно, он знаком)... —

(V: XXVI)

да еще привел в придачу источник цитаты, поэму дядюшки Василия Львовича, в примечании № 35:

Буянов, мой сосед,.....

Пришел ко мне вчера с небритыми усами,

Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком... —

добавляя к его портрету еще один штрих — «небритые усы» [10].

А что же такое наш Панфил? Позднее мы понимаем, что Харликов скорее всего небогат: будь он «золотой мешок», его дочь, которая не блистала ни умом, ни образованностью, не засиделась бы в девках. Вот, кажется, и все, что можно сказать об этом во всех отношениях незаметном госте. Тут можно было бы поставить точку, если б не два обстоятельства. Во-первых, как давно замечено, одним из важнейших критериев, характеризующих бытование слова в художественном тексте, является *частотность* его употребления. Однако частотность, думается, далеко не всегда можно и должно понимать плоско статистически: чем чаще, тем важнее. Справедливо и «парадоксально» обратное утверждение: единичное употребление (а порой и умолчание) может оказаться не менее, а то и более экспрессивным указанием на значимость той или иной лексемы [11]. Во-вторых, эта экспрессия многократно повышается, если такой лексемой является антропоним, особенно в свете особых функций, которые он выполняет в реализации художественного замысла. Феномен *Панфила Харликова*, единожды упоминаемого в тексте «свободного романа», служит наглядным подтверждением этого теоретического построения.

Но сначала предоставим слово комментатору. «Панфил, — пишет В.В. Набоков, — простонародная форма имени Памфилий (сирийский святой)» [12]. Автор «Лолиты» позволил себе пройти мимо и черновых рукописей [13], и специфики бытования имени персонажа в русской речи, и его этимологии, хотя этот культурно-языковой фон, или *семантический пучок*, по выражению Н.В. Беляк и М.Н. Виролайнен [14], значим для адекватной интерпретации реалий художественного текста. Ссылка же на сирийского святого здесь, что называется, бьет мимо цели: для иностранца, на которого рассчитана в первую очередь книга В.В. Набокова, она свидетельствует о широчайшей эрудиции комментатора и никакой иной информации не несет. Поэтому стоит приглядеться к этому персонажу внимательнее.

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что, в отличие от прочих гостей семейного праздника, Харликов единственный, для кого использован двухкомпонентный антропоним, состоящий из имени и фамилии. При этом необходимо отметить, что имя *Панфил*, поставленное в середину стиха, не рифмуется и для соблюдения метра легко заменяется другим: «С семьей *Панфила* (Сергея, Андрея, Никиты, Егора, Парфена, Артемья и пр. — А.К.) *Харликова...*». Более того, автор легко мог бы обойтись без него, заполнив освободившееся пространство какой-нибудь характеризующей поместный быт чертой, например, такой: «В *дормезе древнем (старинных или домашних дромах)* Харликова», или «С семьей *огромной (почтенной и пр.)* Харликова» или даже «С семьей *скряги* Харликова». Словом, простора для фантазии хватает. Но поэт ограничился именем *Панфил*. И имя это, как свидетельствуют черновики романа, не подвергалось никакой правке, было выбрано сразу и окончательно.

Оно, возможно, приглянулось автору «Онегина» в годы михайловского житья: *Акулиной Памфиловной* звали тригорскую ключницу. М.И. Осипова (младшая сестра А.Н. Вульфа, приятеля поэта) вспоминала, как Пушкин выпрашивал у нее моченые яблоки, обещая завтра же произвести ее в попадьи. «И точно, — продолжает мемуаристка, — под именем ее чуть ли не в “Капитанской дочке” и вывел попадью...» [15]. Подчеркнем, что в сознании поэта имя *Пан(м)фил* ассоциировалось с незатейливым поместным бытом, «воспоминанием старины иль девичьей» (II: XXIV), как и имя главной героини. И оно, безусловно, могло бы быть включено в число «сладкозвучнейших греческих имен», приведенных Пушкиным в примечании 13, сопровождающем появление Татьяны на «страницах нежных романа»: *Агафон, Филат, Федора, Фекла*, которые «употребляются у нас только между простолюдинами» (II: XXIV). Отметим, что с этой точки зрения *Пан(м)фил* оказывается «родственным» имени *Татьяна*: оно «приятно, звучно», с ним так же «неразлучно воспоминание старины» (II: XXIV), оно столь же «простонародно».

Обращает на себя внимание одна важная особенность пушкинского перечня: все без исключения имена, вошедшие в него, характеризуются устойчивым фонетическим признаком — наличием [ф], и вряд ли это простая случайность. Очевидно, что этот звук «проигрывается», как музыкальная тема в вариациях: [фо, ф'и, ф'э, ф'о]. Поэт будто пробует его на вкус, получая чуть ли не физическое удовольствие от его «сладкозвучия». Но почему тогда имена эти не получили признания в высших слоях, затерявшись в провинциальной глуши? Автор видит причину в том, что

*Нам просвещение не пристало
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего
(II: XXIV).*

У «привередливости» столичного дворянства, были серьезные основания: «сладкозвучнейшие греческие имена» преследовал устойчивый шлейф негативных фонетико-смысловых ассоциаций. Вот что об этом писал выдающийся филолог В.В. Виноградов в заметке, посвященной происхождению слова *простофиля*: «...не подлежит сомнению, что собственные имена, начинавшиеся когда-то чуждым восточному славянству звуком *ф*, а также собственные имена, содержащие звук *х*, чаще всего получали презрительное, бранное значение; ср. *Фофан* из *Феофан*, *Фефёла* — из *Феофила*, *Фаля* из *Фалалей*, *Фетюк* из *Феотих* и др.» [16]. Имя *Панфил* (*Памфил*), разумеется, входит в ряд подобных коннотаций: *Памфил* — одно из названий известной карточной игры в «дурачки», как отмечал М.И. Михельсон [17]. Возможно, это обстоятельство повлияло на то, что *Памфил* стало одним из условно-литературных имен, использовавшихся в XVIII-начале XIX столетия в сатирах, шутливых посланиях, эпиграммах и пр. Известна, например, эпиграмма К.Н. Батюшкова (1815):

*Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку;
Веселостью обязан он желудку,
А памяти — умом.*

Этот текст автор «Онегина», вне всякого сомнения, прекрасно знал, поскольку эпиграмма вошла в «Опыты в стихах и прозе», основательно проштудированные Пушкиным в начале 1820-х годов [18], оставившие на страницах книги многочисленные пометы и краткие оценки. О пушкинском экземпляре «Опытов» можно сказать то же, что о книгах Онегина, которые читает Татьяна:

*На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком
(VII: XXIII).*

Если Пушкин ориентировался именно на «Опыты» Батюшкова, то в таком случае по имени помещика Харликова можно отнести к разряду «литературных гостей» на именинах Татьяны — наподобие «брата двоюродного» Автора — *Буянова*. Это предположение находит подтверждение в генезисе образа. Как мы выяснили, имя *Памфил* окрашено семантикой глупости или, мягче, он то, что называется *простак* — «недалекий умом, глуповатый человек». Автор «Онегина», безусловно, вкладывал и такой смысл в имя соседа старушки Лариной, ведь первоначально для него была выбрана другая фамилия — *Простаков*!

Отказ от этого варианта антропонима кажется не вполне логичным. Фонвизинский персонаж прекрасно вписывался в круг званых и незваных гостей на торжество в доме Лариных, тем более что в их числе появляется и семейство его шурина: «*Скотинины*, чета седая,|| С детьми всех возрастов, считая|| От тридцати до двух годов» (V: XXVI). Во-вторых, утрачен семантический пов-

тор, позволявший усилить мотив невежества, дикости «господ соседственных селений» (II: XI) [19]: *Памфил* (дурачок) = *Простаков* (дурачок), а если вместе, то *Дурачок Дурачков*. В-третьих, прямая отсылка именно к этому персонажу «Недоросля» позволяла педалировать тему гинекократии (власти женщин), ведь *Простаков* едва ли не превратился в нарицательный тип бессловесного подкаблучника, безропотно выполняющего любую блажь своей всесильной супруги. В связи с этим нельзя не вспомнить чету старших Лариных, в которой первую скрипку играла, безусловно, матушка Татьяна и Ольги, «меж делом и досугом» открывшая «тайну, как супругом|| *Самодержавно* управлять...» (II: XXXII).

На «родовое» сходство *Простакова* и Дмитрия Ларина указывают и мужицкое надгробное слово [20] своему господину: «Он был *простой* и добрый *барин*» (II: XXXVI) [21], и даже старомодный, к 20-м годам XIX столетия вышедший из употребления чин бригадира, вызывающий ассоциацию с одноименной комедией Фонвизина.

И все-таки... Все-таки Пушкин отказался от такой, казалось бы, многообещающей фамилии и изобрел другую — *Харликов*. Попробуем разобраться в причинах, вызвавших это решение.

Здесь на память приходит «*Филипьевна* седая», во всех вариантах имени которой поэт сохраняет начальный [ф] (*Фадеевна*, *Филатьевна*): с одной стороны, она «недогадлива», по слову не только Татьяны (III: XXXV), но и Автора (VI: XVIII), даже «бестолкова» (III: XXXIV), потому что «стара, тупеет разум» (III: XXXV), а с другой — «Что нужды мне в твоём уме?» (III: XXXV) — нетерпеливо бросает ей Татьяна и... действительно: нужда есть в чем-то ином — в том, что через два года заставит ее признаться:

...Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище...
<...> Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

(VIII: XLVI).

Память о няне оказывается *ценностью*, тем «дивно близким» чувством, на котором основано человеческое «самостоянье» героини романа. И это понятно: в самую главную тайну своего сердца Татьяна посвящает лишь «бестолковую» сказительницу Филипьевну (точь-в-точь как Автор, который «плоды <...> мечтаний|| *И гармонических* затей» читает «только старой няне» (IV: XXV)! Вспоминается здесь и «Сказка о рыбаке и рыбке», в которой умная, расчетливая и бессердечная старуха бранит своего кроткого мужа *дурачиной* и *простофилей* за то, что «не умел <...> взять выкупа с рыбки». Думается, в имени няни поэту дороги были и греческий корень ‘фил’ с общей семантикой ‘любовь’ и ореол некоторой «глуповатости», той самой, которая, по мысли Пушкина, является *непременным* свойством Поэзии. Позволим себе напомнить: «Твои стихи <...>, — пишет он П.А. Вяземскому, — слишком умны. — А поэзия, прости господи, должна быть глуповата. Характеристика зла. Экой ты неумилчивый [22], как говорит моя няня. <...> Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я и поэт». Отметим здесь несколько интересных обстоятельств.

Первое: процитированное письмо относится непосредственно к периоду работы над V главой «Онегина» — оно написано в мае (не позднее 24-го) 1826 года.

Второе: «глуповатость» поэзии, оказывается, непосредственно связана с «глуповатостью» поэта.

Третье: *злость* соотносится с *умом* и потерей чувства меры («неуимчивостью»), а значит, дисгармонией и... кажется, отсутствием Истины. Не следует ли из этого, что «глуповатость» должна ассоциироваться с неким комплексом непредсказуемости, случайности, странности, свободы, творчества — качеств, присущих Жизни. И поэзии.

И последнее: в качестве «авторитета» (впрочем, кавычки можно было бы и опустить), на который ссылается поэт, выступает няня.

Кажется, образы *Филипьевны* и *Панфила Харликова* обладают рядом общих свойств, «закодированных» в их именах: глуповатость, простонародность, способность любить и быть любимыми. Что до наличия поэтического дара, то это вопрос особый, и к нему мы еще должны подойти. Прежде чем завести об этом речь, следует обратить внимание на этимологическое значение имени.

Итак, *Памфил/Панфил* (греч.) — ‘общий друг’, ‘общий любимец’, ‘милый всем’ [23]. Здесь возможно и обратное толкование: ‘любящий всех’, ‘друг всем’ и под. Именно с семьей «общего друга» и мог появиться на именинах Татьяны никому доселе неизвестный «остряк» мосье Трике, каким-то духом занесенный в северную губернию из южного Тамбова! В этой черте характера Панфила Харликова сказывается какая-то «всеотзывчивость» или, точнее, подмеченное тезкой создателя «Онегина» не слишком разборчивое радушие, по законам которого:

*Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно для иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас равнехонько, про всех готов обед.*

Думается, парность этих персонажей — Панфила Харликова и мосье Трике, подчеркнутая, помимо совместного появления, и тем, что «тамбовский поэт» оказывается кавалером девицы Харликовой, позволяет несколько иначе интерпретировать и генезис фамилии отца «невесты переспелых лет» (V: XXXVII. XXXVIII. XXXIX).

Харликов — «комедийная, по мнению В.В. Набокова, фамилия, произведенная от “харло”, диалектной формы слова “горло” (ср. фр. “gosier”), от которого происходит глагол “горланить” (или “харлить”), означающий “говорить во всю силу голоса” (“à plein gosier”))» [24]. Принять эту трактовку можно далеко не безоговорочно. Сомнений не вызывает лишь утверждение, что *Харликов* — «комедийная фамилия». Остальные построения комментатора требуют уточнений. Допустим, Пушкин знал в период михайловской ссылки и после нескольких лет, проведенных в южной части Российской империи, диалектизмы из географически отдаленных вологодского (*харло* — ‘хайло, пасть, зев, рот, горло’), пермского, олонечского и сибирского (*харлать* — ‘кричать, горланить, орать, горлопанить’) говоров. «Дороги стоголосые», по которым ему пришлось колесить в 1819–1824 годах, могли дать ему необходимый языковой материал. Тем не менее здесь остается много неясностей.

Во-первых, комических (сатирических) фамилий, указывающих на фи-

зическое или физиологическое уродство, в романе Пушкина нет: их семантика так или иначе связана с особенностями характеров. Ср.: Пустяков, Гвоздин, Скотинины, Петушков, Флянов (пожалуй, это единственное исключение из правила, хотя и не безоговорочное, но об этом мы поговорим чуть ниже). В черновиках, однако, фамилии соотносились с внешностью персонажей. Таковы, например, «*Хлипкова*, дама пожилая», то есть дряхлая и, возможно, к месту и не к месту готовая пустить слезу, — от *хлипкий* (ср.: *хлибкий* и *хлибкой* вост. хилый, слабый; нежный, кво(е)лый; дело хлибковато, сомнительно, ненадежно, шатко; *хлипать* плакать; всхлипывать, захлебываться, тихо рыдая; *хлипуша* об. пск. плакса, рёва, нюня) [25]; *Пустяков* первоначально должен был быть *тощим*, а не *толстым*, как в каноническом тексте. Но в окончательном варианте романа такие соотношения между фамилией и внешностью отсутствуют.

Во-вторых, Панфил-«горлопан» почему-то нигде не горланит, о нем лишь упоминается, что позволяет подозревать, что это едва ли не «внесценический» (точнее, «внесюжетный») персонаж. Из текста следует, что у него есть семья... Или после него *осталась* семья? Если последнее, то это может быть дополнительным объяснением затянувшегося «сидения в девках» старшей дочери Харликовой: после смерти главы семьи мог собраться «заимодавцев жадный полк» (I: LI) и расстроить дела, видимо, и без того не очень расчетливого помещика. Подобное предположение не совсем фантастично: как свидетельствуют черновики романа, первоначально некий *Мосье* должен был приехать в другой компании:

Лазоркина, вдова-старушка (вар.: вострушка)
Сорокалетняя вертушка
И с ней Мосье.

Планировалась «грибодовская» ситуация:

Ч а ц к и й
 <...> *А Гильоме, француз, подбитый ветерком?*
Он не женат еще?
С о ф и я
На ком?
Ч а ц к и й
Хоть на какой-нибудь княгине,
Пульхерии Андревне, например?
С о ф и я
Танцмейстер! можно ли!
Ч а ц к и й
Что ж? он и кавалер.
От нас потребуют с именем быть и в чине,
А Гильоме!..

Впрочем, этот мотив прозвучит позже, в VIII главе:

У Пелагеи Николавны
Всё тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж...
 (VIII: XLV).

Подчеркнем: для явления Трике в доме Лариных потребовался именно Панфил Харликов!..

В-третьих, сомнительной кажется словообразовательная модель, по которой, согласно В.В. Набокову, создана фамилия *Харликов*. Строфой выше упоминания о нашем герое появляется

*Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков <...>
(V: XXVI).*

Фамилия образована от глагола *гвоздить* — ‘бить, колотить кого или что, особенно бить по голове’. Так что фамилия Панфила должна была звучать иначе — *Харлин*. Если же ее образовать от *харло*, то получился бы *Харлов* [26]. По такой модели, например, Пушкин образовал фамилию *Тумаков* для будущего *Гвоздина*: «Приехал толстый *Тумаков...*». Если же все-таки следовать логике В.В. Набокова, то, думается, в большей степени претендует на интерес исследователя глагол *харлить* (вологодск.) — ‘жилить, *оттягивать неправдой чужое*’. В.И. Даль приводит и любопытную пословицу: *харленое впрок не пойдет*. Такое происхождение легко соотнести с содержанием XXVII строфы, посвященной (13 стихов из 14!) «догадливому поэту» Трике, который без зазрения совести «на свет явил из праха» куплет, обнаруженный «меж ветхих песен альманаха» и, смело переправив имя *Nina* на *Tatiana*, выдал за свое творение. Тема мошенничества будет усилена в исполнении куплета: Трике «запел, *фальшивя*» (V: XXXIII), получит развитие в сцене «обольщения» Онегиным Ольги Лариной (XLI, XLIII, XLIV). Заметим, что эта тема в описании празднования именин начинается, если использовать музыкальную терминологию, «из-за такта» — с предшествующей строфы, в конце которой появляется «... отставной советник *Флянов*,|| Тяжелый *сплетник*, старый *плут*,|| Обжора, *взяточник* и *шут*» (V: XXVI). Фамилия *Флянов* представляет в свете наших разысканий особый интерес. Она, думается, не русского происхождения. Правда, в черновиках этот персонаж выступает под видоизмененным именем — *Лянов*. Словарь В.И. Даля дает одну слабую зацепку: *ляником* называли большую деревянную чашку в областях, соседних с Эстляндиею (современной Эстонией), а значит, на Псковщине это слово *могло быть* известно. Кажется, и обжоре отставному советнику такое имя, что называется, к лицу, но... Но, во-первых, окончательный результат не вяжется с естественным словообразованием (был бы какой-нибудь *Ляников* или *Лянков*). А во-вторых, даже в произведениях с высокой степенью «зашифрованности» текста, ориентированных исключительно на «посвященных», используется *принятая* в этом кругу знаковая система. Ближайшие же друзья автора «Онегина» о таких диалектных тонкостях не имели ни малейшего представления и, таким образом, выстрел оказывался холостым. Следовательно, истоки этого антропонима надо искать не в русском языке. Для Пушкина, еще в лице получившего прозвище Француза за совершенное владение языком Вольтера и Парни, вполне естественно было позаимствовать основу для фамилии сплетника и шута во французском лексиконе [27]. Проверим это предположение. Итак,

- *flans* — 1) бок человека, животного; 2) утроба, чрево; 3) откос, склон;
- *flân* — прогулка (отсюда *flâneur*, и заимствованное *фланер* — ‘тот, кто фланирует, праздно прогуливается’ — и образованный на этой основе глагол *фланировать* — ‘прогуливаться, прохаживаться без цели’);

Все приведенные французские слова произносятся практически одинаково (для неискушенного русского уха): [фл’ан]. И добавим: все в какой-то степе-

ни способны характеризовать отставного советника: он прожорлив (а значит, чревом обладает объемистым), и празден (отставной!). Но наиболее подходит последняя основа: именно страстишка приврать и «подгадить ближнему», по слову Гоголя, подчеркнута в этом персонаже: из пяти эпитетов, которыми награждает его Автор, в четырех (*сплетник*, *плут*, *взяточник* и *шут*) реализуется тема мошенничества, обмана.

• *flan* — *разг.* шутка, обман, липа.

Не в этом ли семантическом поле следует искать толкование фамилии *Харликов*? Присмотримся к ней пристальней, но учтем, что этот антропоним изобрел Пушкин не только по общеязыковым, но и «им самим над собой признанным» законам [28]. Думается, что словообразовательная модель в данном случае такова: *ХАР* (= *харя*) + *ЛИК* (= *лицо*) + *ОВ*. Заглянем в словарь:

• *харя* ‘дурное, отвратительное лицо, рожа (напоказ что ли ты харю свою выставляешь? по твари и харя; с эдакой харей я бы и в люди не казался! всякая харя (Хавронья) сама себя хвалит); | маска, личина и самый окрутник, наряженный, переряженный’;

• *лик* ‘лицо, облик, обличие; выражение лица, физиономия; | поличье, портрет, изображение, образ’.

Такой подход, кажется, продуктивен.

О непривлекательности нашего героя можно судить по косвенному признаку — внешности его дочери:

*Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустьякову...
(V: XXXVII. XXXVIII. XXXIX).*

Была бы Харликова красавицей, ее кавалером никогда не оказался бы «не-жених» мосье Трике, который *берет* ее даже не из любезности, а, пользуясь словечком Молчалина, «по должности» — в силу своей зависимости, обусловленной статусом домашнего учителя (если, разумеется, принимать во внимание исключительно *реалистическую* составляющую романного текста).

Но, во-первых, нигде не сказано, что Трике — домашний учитель. Возможно, именно по этой причине он назван не *мусье* (‘гувернер, воспитатель’ [29]), а *мосье*. Такой вывод напрашивается при взгляде на черновики V главы романа. Например, 6–7 стихи XXV строфы, где описывается приезд многочисленных гостей, имели варианты:

*а. С детьми, с мадамами, с людьми;
б. С мусье, с лакеями.*

Как видим, здесь *мусье* означает ‘гувернер, воспитатель, домашний учитель’, что подтверждает и очевидная параллель: *с мадамами* [30] / *с мусье* [31]. Попутно заметим, что в обоих случаях детские наставники сознательно уравнены по статусу с прислугой — *людьми/лакеями* (показательно, что в варианте *а. мадамы* среди неполноправных членов общества занимают положение *между* детьми и слугами, тогда как в варианте *б.* статусы *мусье* и *лакеев* практически неразличимы [32]). Видимо, в качестве гувернера и должен был изначально явиться Трике: *Приехал и мусье Трике...* Отметим при этом, что гувернером

Онегина должен был быть «*мосье l'abbé*»/«*мосье француз*»/«*мосье Швейцарец*», который в конце концов был преобразован в «*monsieur l'Abbé*». Таким образом, статус Трике остается под вопросом [ср.: «У Пелагеи Николаевны|| Всё тот же друг *мосье Финмуш...*» (VIII: XLV), где *мосье* не соотносится со статусом учителя]. Во-вторых, как уже говорилось, антропонимы, созданные Пушкиным, не корреспондируют с внешними, портретными признаками. За грубой, отвратительной *харей* чудится — *лик*. (Любопытно, что, если не держаться реалий русского языка, «корень» *ХАР* может вызвать и другие ассоциации. Так, например, в древнеримских комедиях герои-любовники и просто молодые добродетельные люди частенько носили греческое имя *Харин* ‘приятный’, да и одно из наименований муз — *хариты*). Фамилия нашего героя обладает тем же свойством — той же амбивалентностью, что и его имя, в котором за скоморошьей «дурашливостью» проступает нечто *всем милое...*

Может быть, все дело в этом? Ведь именины Татьяны следуют за святками, в праздновании которых важнейшую роль играют ряженые — ‘*хари*’. И тогда... за *харей* скрывается *лик*, а Панфил... Впрочем, вопрос о том, кто мог бы спрятаться за этим дурашливым именем-маской, выходит за рамки данной статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За исключением оговоренных случаев курсив везде мой. — А.К.
2. Так, например, первый стих XXIV строфы II главы читался так: «Ее сестра звалась... *Наташа*». См.: Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. — СПб., 1999. — С. 263–265. Ученый отмечает несомненную ассоциацию в раннем творчестве Пушкина имени *Наталя* (*Наташа*) с «*национально-простонародной стилистической средой*», указывая на ее «*очевидный биографический источник*» — «увлечение Пушкина-подростка двумя “Наталями”: крепостной актрисой драматического театра В.В. Толстого (стихотворение “К Наталье”, 1813) и горничной фрейлины В.М. Волконской (стихотворение “К Наташе”, 1814)» (Гаспаров Б.М. Указ. соч. — С. 263). Имя *Татьяна*, указывает исследователь, «сохраняло простонародно-провинциальную коннотацию, но было свободно от нежелательных ассоциаций с амплуа “ingenue”, которыми у Пушкина был первоначально окружен образ “Наташи”» (Гаспаров Б.М. Указ. соч. — С. 275–276). Мнение справедливое, но, думается, несколько одностороннее и далеко не исчерпывающее проблемы генезиса имени героини романа в стихах. Важно отметить, что у Пушкина имя *Наталя* ассоциировалось не только с простонародной, но и с дворянской средой: предметом одного из самых сильных увлечений лицеиста стала юная графиня Наталя Кочубей. Ей, по мнению Б.В. Томашевского, было посвящено стихотворение «Измены» (1815), в котором поэт признается в тщетных попытках истребить в сердце «возженный образ» «милый Елены» (под этим псевдонимом, явно отсылающим к гомеровскому эпосу, Пушкин изобразил свою безответную возлюбленную). Имя *Наталя* в зависимости от контекста могло проявлять как *простонародность*, так и *идеальность* — те свойства, которые отличают художественную концепцию «свободного романа». А превращение Татьяны из провинциальной барышни в княгиню N определенным образом знаменует не только повышение статуса антропонима, но реализует заветную мысль поэта о восстановлении целостности национального

бытия, воссоединении *старины* и *современности*, *простонародности* (ср.: *девичья* как знак «подлого» происхождения имени) и «*высшего круга*», *поэзии* и *жизни*, *слова* и *реальности*. Любопытно заметить, что пушкинский роман — хотел того его автор или нет — объективно способствовал росту популярности имени *Татьяна* среди дворянства и хоть таким образом привнес толику гармонии в окружающий мир.

3. Гаспаров Б.М. Указ. соч. — С. 275.

4. При цитировании «Евгения Онегина» первая римская цифра обозначает номер главы, следующая (-ие) через двоеточие — номер(-а) строф.

5. Об этом антропониме см. содержательную и глубокую статью Я.И. Гина «Из комментариев к “Евгению Онегину”: *Агафон*» // Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — СПб., 1993. — Вып. 25. — С. 135–143; курсив Я.И. Гина. — А.К.).

6. Вольперт Л.И. Загадка Пушкинской библиотеки: объяснение в любви А.П. Керн (*Валери* Юлианы Крюденер) // Русско-французские литературные связи конца XVIII — первой половины XIX века. См.: <http://www.ruthenia.ru/volpert/intro.htm> (курсив Л.И. Вольперт. — А.К.).

7. Там же.

8. Л.И. Вольперт приводит, в частности, следующее утверждение Д.М. Шарыпкина: «Пушкин в “Евгении Онегине” искусно обыгрывает литературные имена и заглавия, превращая их в характеристические эмблемы и символы» (Шарыпкин Д.М. Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля. // Пушкин. Исследования и материалы. VIII. — Л., 1978. — С. 108).

9. Мы будем называть Автором образ повествователя в романе.

10. В черновиках портрет был значительно более подробным:

*Мой брат двоюродный Буянов
В ермолке, в бронзовых цепях
В узорной куртке и в усах...*

Как видим, в этом варианте тоже имелись «усы».

11. Подобную «обратимость» величин поэт демонстрирует в отступлении о страстях:

*Блаженней тот, кто их не знал...
<...> И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял*

1. (II: XVII).

Здесь «двойка» — минимальная по значимости *карта* (практически лишенный признаков вещности предмет, какая-то абстракция в n-ой степени) в фантастических условиях *игры* «перевешивает» накопленное поколениями достоинство.

12. Набоков В.В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина / Под ред. А.Н. Николюкина. — М., 1999. — С. 528. Любопытно отметить, что *Панфил Харликов* вообще не привлек внимания авторов и других наиболее авторитетных комментариев к роману в стихах — Ю.М. Лотмана и Н.Л. Бродского. Впрочем, последний антропонимики «Евгения Онегина» практически не касается.

13. Позиция В.В. Набокова относительно всякого рода «сопутствующих» основному корпусу текста материалов была двойственной и непоследовательной, или парадоксальной. Он, с одной стороны, утверждал, что «черновые на-

броски, ложные следы, не до конца пройденные тропинки, тупики вдохновения не имеют большого значения для понимания сути романа», требовал от художника «безжалостно уничтожить все свои рукописи после опубликования произведения, чтобы они не дали ложного повода ученым посредственностям считать, что, исследуя отвергнутые варианты, можно разгадать тайны гения». И заключает «антитроцкистской» декларацией: «В искусстве цель и план — ничто: результат все» (цит. по: Фомичев С.А. «Евгений Онегин»: Движение замысла. — М., 2005. — С. 6. В цитируемом мною издании набоковского «Комментария» «Вступление переводчика» по непонятной причине отсутствует). С другой стороны, комментатор признается в том, что «исследовал все доступные фотографии черновиков» (Фомичев С.А. Указ. изд., там же).

14. См.: Беляк Н.В., Виролайнен М.Н. «Там есть один мотив...» («Тарар» Бомарше в «Моцарте и Сальери» Пушкина) // Временник Пушкинской комиссии. — Л., 1989. — Вып. 23. — С. 43. Отметим, однако, что я использую лишь часть дефиниции, предложенной исследователями. В полном виде она представляет собой явный плеоназм: «семантический пучок смыслов».

15. Семевский М.И. Прогулка в Тригорское // Вульф А.Н. Дневники. — М., 1929. — С. 40.

16. Виноградов В.В. Простофиля / *История слов* (см.: <http://wordhist.narod.ru/index.html>; курсив В.В. Виноградова. — А.К.).

17. Михельсон М.И. Русская мысль и речь: Свое и чужое: опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. — Т. 2. — М., 1997. — С. 142. Это наблюдение упоминается в цитированной выше заметке В.В. Виноградова.

18. О проблеме датировки этого немаловажного эпизода в творческом становлении Пушкина см.: Проскурин О. Пометы Пушкина на полях «Опытов в стихах» Батюшкова: датировка, функция, роль в литературной эволюции. — Новое литературное обозрение. — 2003. — № 64.

19. Ср. оценку помещного дворянства Владимиром — героем неоконченного пушкинского «Романа в письмах» (1829): «Какая *дикость!* Для них не прошли еще времена Фонвизина. Между ними процветают еще *Простаковы* и *Скотинины!*» Характерно, что *Простаковы* и *Скотинины* в данном случае представлены как нераздельное целое.

20. Ю.М. Лотман пронизательно прокомментировал это место таким образом: «Семантическая направленность подразумевает наличие в качестве субъекта этой системы — крепостного крестьянина. Объект (Ларин) является для субъекта текста барином. И, с этой точки зрения, Ларин выглядит как “простой и добрый” — этим продолжает очерчиваться контур патриархальных отношений, царящих в доме Лариных» (см.: Лотман Ю.М. Проблема «точки зрения» в романе / Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Пособие для учителя. — СПб., 1995. — С. 426; курсив Ю.М. Лотмана. — А.К.).

21. Ю.М. Лотман проводит параллель между образами Дмитрия Ларина и отца Леона из неоконченной повести Н.М. Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1803) — русского барина, «доброго по-своему, и на русскую статью». «Сопоставление отца Леона с Дмитрием Лариным, — пишет комментатор, — бросает известный отсвет на стерниански-гамлетовскую характеристику последнего Ленским» (см.: Лотман Ю.М. Указ. соч. — С. 606). Думается, однако, не

только на нее. Не подвергается ли карамзинская характеристика — «добрый по-своему», «на русскую статью» — ироническому если не переосмыслению, то сомнению? Ведь точно теми же словами, что и Дмитрий Ларин, представлен и «исправившийся» Зарецкий (на это впервые обратил внимание, кажется, В.С. Непомнящий. См.: Непомнящий В.С. Пушкин. Избранные работы 1960-х — 1990-х гг. в 2-х т. — М., 2001):

Теперь же *добрый и простой*
Отец семейства холостой...

1. (VI: IV).

Однако и доброта, и простота «некогда буяна» нивелируется последующим указанием на его амурные похождения и полным сарказма заключением: «И *даже* честный человек...» (VI: IV). Совпадение характеристик Зарецкого и Дмитрия Ларина практически буквальное (перемена порядка следования определений не в счет), но, с точки зрения особенностей повествования, вполне закономерное. Это очередная демонстрация *размывания* смысла, *разрыва* связей слова и явления — точно так же «размыто» и значение слова *честь*! И вместе с тем первоначальный смысл этого фундаментального понятия до конца еще не утратился. Недаром же, выслушав аттестацию, которую Онегин дает своему секунданту monsieur Guillot:

«Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно *малый честный*», —
(VI: XXVII)

«речистый» сплетник «губу закусил». Ибо неглупый человек, разумеется, понял, куда метит Онегин. Выше Автор уже заметил стихом из «Горя от ума» соотносительность образа Зарецкого с грибоедовским Загорецким и том «ночном разбойнике, дуэлисте», о котором с таким жаром рассказывает Репетилов, простодушно присовокупляя разящую сентенцию: «Да умный человек не может быть не плутом»! Ирония усилена здесь включением уступительной конструкции *хоть человек он неизвестный*, поскольку признак *известности* применительно к Зарецкому имеет то же значение «пресловутости», что и дефиниция *исторический человек* по отношению к Ноздреву. О функционировании категории *известности* в русской литературе в конце XVIII — начале XIX столетий см.: Кунарев А.А. А.С. Грибоедов «Горе от ума». Комедия. Комментарий. Книга для учителя и ученика. — М., 2004. — С. 112–117. Автор же от себя припечатывает «механика деревенского» убийственным *со-поставлением*:

...вдали
Зарецкий наш и честный малой
Вступили в важный договор...

1. (VI: XXVIII).

Обратим внимание на сопровождающее Зарецкого притяжательное местоимение *наш*: негативная окраска усугубляется за счет включения читателей в число оценивающих, при этом секундант Ленского назван по фамилии, тогда как Guillot атрибутируется по ведущему признаку, что придает фамилии *Зарецкий* сокрушительно обобщающий нарицательный смысл.

22. Выделено А.С. Пушкиным. — А.К.

23. Незлобивостью и кротостью характера отличался и небесный покровитель нашего героя — св. Памфил.

24. Набоков В.В. Указ. соч. — С. 528.

25. Ср. семантически однородные антропонимы в «Горе от ума» А.С. Грибоедова: *Хворовы, Дрянские*.

26. Такова фамилия одного из прототипов капитана Миронова. О майоре Харлове и его жене Пушкин писал в «Истории Пугачева»; судьбой Елизаветы Харловы пугает Швабрин Машу Миронову («Капитанская дочка»).

27. *Флянов* не заинтересовал отечественных комментаторов — за истолкование антропонима решительно взялся В.В. Набоков. Вот что он пишет по поводу строфы XXVI главы V: «Эти имена комедийных персонажей <Пустяков и пр. — А.К.>, встречающиеся и в другом месте, имеют явные аналогии в английской литературе: Пустякову — “потомку” фонвизинского Простакова, т. е. “г-ну Простаку”, соответствует “м-р Трайфл” (г-н “Пустяк”, по контрасту с его тучностью); Гвоздину — “сквайр Клаут” <“Затрещина”>; Скотнину <...> — “м-р Брутиш” <“Зверь”>, Петушкову — “юный Кокехуп” <“Хвастун”>, а *Фляннову* — “судья Флэш” <“Фруктовый Пирог”>; все эти гротескные персонажи ожидают Гоголя, который переселил бы их из сферы откровенной комедии, высмеивающей свинские, словно сошедшие с гравюр Хогарта нравы и хари, в свой фантастический и поэтический мир». См. Набоков В.В. Указ. соч. — С. 525. Подобренные комментатором английские соответствия не вызывают возражений, кроме одного, связанного с *Флянновым*. И Пустяков, и Гвоздин, и Скотнин, и Петушков по происхождению чистые «русаки», тогда как во *Фляннове* русское ухо тщетно ищет хоть какого-то намека на связь с родным языком, находя его лишь в характерном для отечественных фамилий суффиксе -ов-. Но даже владеющий английским русский читатель, узрев «пирожную» фамилию сельского сплетника, пришел бы в недоумение, ибо она никак не соотносится с характерными для этого персонажа свойствами. Станным кажется и то, что исследователь, отказывая Пушкину в знании английского языка и сам владея французским, связал фамилию пушкинского персонажа с английским заимствованием *flan* ‘открытый пирог с ягодами, фруктами и т. п.’ из французского и не уловил в ней иных «галльских» нюансов.

28. Письмо А.А. Бестужеву (конец января 1825 г. Михайловское).

29. В прямом значении *мусье* (вар.: мусьяк, мусьяк) — ‘бранное господин, франт, выскочка’. Это значение, очевидно, «играет» в лермонтовском «Бордино»: «Постой-ка, брат *мусью!*»; в «Двух великанах» Наполеон назван *трехнедельным удалцом, дерзким* — выскочкой.

30. *Мадам* (мадама) ‘иностранка, особ. француженка, при детях, воспитательница, гувернантка’ (ср. у Грибоедова: «А тут ваш батюшка с *мадамой*, за пикетом»). Приданное русской средой слову *мадам* несвойственное ему значение приводило к забавным казусам. Показательна в этом отношении пушкинская «Барышня-крестьянка», в которой выведена *мадам мисс Жаксон* (каламбур в n-ой степени!).

31. Насколько последовательно Пушкин проводил это различие, сказать не беремся. Так, например, в «Капитанской дочке» Савельич бранит «собачьего сына» «проклятого *мусье*», тогда как Петруша называет своего наставника *мосье*, а в главе «Поединок» — даже *monsieur* Бопре. Последнее понятно: речь зашла о дуэли, и повествователь не просто переходит на официальный стиль, но отдает тем самым дань не *outchitel*, но учителю, дававшему «несколько уроков в фехтовании», что позволило достойно защитить *честь*.

32. По-видимому, существительные *мусье* (*мосье*)/*мадам* (*мадама*) имели

значения, указанные В.И. Далем, когда использовались без имени собственного. В «Онегине» ситуация именно такова [включая I главу, где воспитатели юного Евгения обозначены Madame и Monsieur (I: III)].

РАЗНОВИДНОСТИ СКАЗА В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАССКАЗОВ И.М. КАСАТКИНА

В прозе крестьянского писателя Ивана Михайловича Касаткина (1880-1938) сказ как важнейшая повествовательная форма, видоизменяется, усложняется, о чем свидетельствует анализ рассказов разных лет.

Сказ и сказовые повествовательные формы активно использовались Касаткиным в дореволюционном творчестве – в рассказах 1910-х годов: «Петрунькина жизнь», «Так было», «Молитва», «Осенняя хмури», «Из жизни странника», «Кузькина мать», «Веселый батя» и др. В них встречается не только собственно сказ («Веселый батя», «Из жизни странника»), но и неканонические его формы, прежде всего «усеченный сказ» [1: 103] – несобственно-авторское повествование, в котором «чужое слово» оторвано от ситуации речи, персонаж, точка зрения которого организует повествование, не является рассказчиком, но рассказ соотносится с персонажем – передает его чувства, переживания и языковые особенности.

В полной мере эта повествовательная форма проявилась в рассказе «Смертельная» (1914). Заметим, что автор использует здесь смешанную, «гибридную» [2: 161] сказовую форму, при которой несобственно-авторская речь переплетается с несобственно-прямой и прямой речью персонажа. Это позволяет передать авторскую точку зрения на происходящее, а также способствует углублению психологизма – писатель воспроизводит тончайшие нюансы ощущений героя рассказа, умирающего солдата: «Очнулся, скрипя зубами. Огнем палит в груди, звериными хватками грызет и рвет в бок, в позаплечье. Во рту горький ком, не протолкнешь. И странно, к чему под рукой ружье? Мерзей лягухи к телу липнет набухшая кровью рубаха... Одну бы каплю воды! <...> Полилась, обжигая все нутро, тоска смертельная, комом горчайшим в горле встала...» [3: 305-306].

«...И странно, к чему под рукой ружье?..» – риторический вопрос, возникший в гаснущем сознании смертельно раненого, является семантической доминантой рассказа, объединившей голоса автора и героя. Произведение построено на контрасте «жизнь – смерть». С жизнью ассоциируется деревенское прошлое солдата – оно мозаично, фрагментами возникает в потоке воспаленного сознания: конек родной избы, ворчащий дед на печи, сынишка Федька, жена Анисья «с одаряющими серыми глазами», дорожка во ржи, корова Милка, соха... Поддерживает раненого присущее крестьянину чувство земли – защитницы, опоры, которое не успела вытравить война: он «сгорчился, замер, лицом и губами чуя прохладную благодать земли. Ему теперь не страшно... Кажется, вот в этом стволе темного граба, уцепившего землю корнями, в этой траве примятой – самое теперь главное, нужное, то, от чего оторваться страшно» [3: 303]. Но и земля «убита» военными действиями, она уже не союзница человека: «взрытая осколками», царапающая, «забивающая» рот – он «боролся с землей» [3: 306]. Если в начале рассказа земля – «благодать», то в завершении умирающий солдат «увидел землю дымной и черной, каким-то пепелищем в рыже-багровом зареве» [3: 307]. Знаками близкой и неизбежной смерти

стали для солдата «трескотня стрельбы», генерал на пегом коне, «бег рыжих сапог», взводный «с перекошенным от крика ртом», бесконечный «визг пуль», мертвая сталь ружья [З: 304-306]. Война отторгает человека от самого ценного в жизни – эту мысль автор стремится донести до читателя. Примечательно, что Касаткин не называет героя собственным именем, для автора он «солдат», один из многих, кто погибает на войне.

О разрушительном воздействии корыстолюбивых людей на землю, живую природу в мирное время писал Касаткин в рассказе «Лоси» (1910). Это рассказ-описание: ночной зимний лес, лоси в лесу, подготовка мужиков к охоте, трагический для животных финал охоты. Мы отмечаем одновременно и жанровые признаки рассказа-размышления автора о взаимоотношениях человека и природы, о незащищенности природного мира перед агрессией человека. Своеобразна повествовательная форма в тексте – однонаправленное двухголосие: сказовая форма, в которой повествователь присутствует, но образ его расплывчат, неперсонифицирован, приближен к автору – это главы 1, 3, 4, 6, в остальных (всего их шесть) используется остранинное повествование, в котором события показаны через ощущения животных (главных персонажей) – лосей. Для лесных обитателей природный мир – родной дом, гармоничный, спокойный, величественный: «Невыразимо тих лес в этот час наступающей ночи. Луна и глушь... Оседают иней. Ни шороха, ни звука. В лунном свете лес бел, прозрачен, весь он затейливо сплелся ветвями – белыми кораллами. Тут и там встали серебристые арки вершинами пригнувшихся к земле берез. Тишина... Ни звука, ни движения <...>» [З: 148].

Человек вмешивается в жизнь природы, нарушая ее естественное спокойствие и величие, что воспринимается лосями как враждебное проявление людей, тотальное завоевание двуногими жизненного пространства, до недавнего времени принадлежавшего животным: «С осени лоси избродили огромные пространства. Были у Ветлуги, переметывались к истокам Керженца, появлялись на Пыщуге и Ухтыше – и везде этот неугомонный человек и стук его топора!» [З: 148]. Показывая два мира, природы и людей, Касаткин вновь использует прием контраста – звукового и зрительного, цветового. Доминантой пейзажных зарисовок стали повторяющиеся слова «тишина», «тихо». Отсутствие звуков, покой зимнего леса подчеркнуты автором неоднократно: «мороз притаился»; «ни шороха, ни звука»; «невыразимо тих лес»; «дремная глухомань»; «ничто не шелохнется»; «тонко звенящая тишина»; «зимний сон»; «лоси мирно лежат»; «ночь охраняет покой лосиный»; «бело, ровно и тихо...». Картина дополнена цветовой гаммой: «звездная синь»; «лес бел, <...>ветви – белые кораллы»; «серебристые арки берез»; «лунная синева»; «синие искорки»; «голубоватый лунный свет»; «алмазные искры»; «белый пух снега» [З: 148-152]. Краски в пейзажных зарисовках подчеркнуты естественны: небо – синее, зимний лес – снежный, белый. Сочетание белого и синего цветов указывает на чистоту, гармонию, нетронутость природного мира.

По мере развития сюжета проявляется эволюция лейтмотивного образа в рассказе – луны, олицетворяющей вышний зрак, созерцающий земные несурности: в начале рассказа луна нейтральна: «одинокая печальная», «луна плывет», льет «голубоватый лунный свет» [З: 148-149]. Заметим: эпитет «печальная» не случаен – это предвосхищение надвигающейся трагедии, свидетелем которой будет луна. Затем, после нарушения «звенящей тишины» охотни-

ками, «луна пошла книзу», диск ее уже не так ярок, он утрачивает естественные цвета, как бы подпитываясь земной кровью: «чуть зарумянился золотым налетом...» [3: 150]. И, наконец, луна ощущает самый замысел грубого вмешательства людей в жизнь природы – убийство лося: «Медно-багряная луна скатилась уже до верхушек леса, и самые высокие ели рисовали на ней четкие крестики» [3: 152]; «Красная, расплывчатая в усилившейся мгле инея луна катилась уже за лесом...» [3: 153].

Повествователь передает звуки, сопровождающие быт людей: «жалобно поскрипывали на утреннем ветру сломанные, расхлебаченные ворота»; «петух домовито пропел»; охотник «засипел из-под платка»; «спросонья и глухо начинают гудеть голоса»; «заныл ребенок»; раздаются «густые и тягучие вздохи, зевки, азартный чёс»; «торопливо, ядрено и твердо проскрипели шаги»; «рыкнула смерзлая дверь»; «голоса людские расползлились по двору» [3: 151]. Как видим, покою и безмолвию природы противопоставлена человеческая жизнь, полная резких, неблагоприятных звуков, враждебно нацеленных на гармонию природного мира, в тишине которого притаилось предчувствие – «грозное, роковое» [3: 153].

Характерно, что в описании жизни людей на лесном кордоне редки цветочные определения – автор избегает ярких красок, экспрессивных эпитетов, эти зарисовки насыщены бытовыми деталями, обнажающими грубый и порочный образ жизни охотников-хищников: «Лунным же лучом выхвачен из сумрака край грубого стола и желтая спинка стула... На освещенном краю стола поблескивает плечиком бутылка, бело разбросаны окурки папирос, торчит ножик, воткнутый в хлеб. Какие-то ремни валяются, патронташ...» [3: 151].

Завершает рассказ образ яркого цветового пятна – свидетельство свершившейся трагедии: вновь возникает в описании красный цвет, и повествователь уточняет: это «яркие красные капли» крови, капающие на снег из раны застреленного лося. Сам момент расправы над животным не показан, о трагической развязке событий свидетельствует контрастно заслоняющий белизну снега кровавый круг. Важно отметить, что Касаткин мастерски обыгрывал художественную деталь как средство психологического анализа на протяжении всего творчества.

В рассказах 1920-х годов Касаткин использует все разнообразие сказовых повествовательных форм, освоенных им в дореволюционной прозе. Наиболее часто он включает в текст однонаправленную речь, в которой на близость к сказу указывает инверсионный порядок слов в предложении, препозиция сказуемого. Нередко инверсия сочетается с другими средствами, создающими сказовые формы, – лексическими, интонационными, синтаксическими.

В рассказе «Летучий Осип» (1921) заметен синтез этих средств, что позволило писателю передать живые, эмоционально-оценочные интонации героя-рассказчика: «Ай, да уральцы! То есть, видим, душой-то к нам льнут, а не к врагу. Советский народ!» [3: 319]. В произведении отсутствует местоимение «я», оно заменяется «мы» – автор использует коллективную субъектную форму: «Вечером *мы* разместили в вокзале раненых, и, утомленные боем, расположились на лугу в ожидании каши» [3: 315]. Так начинается рассказ, и уже первая его фраза определяет позицию рассказчика – он вместе со всеми, участник событий и выразитель общего мнения. Далее это единение подчеркивается на протяжении всего повествования: «*Нам*, одичалым в походах и боях, это

был как есть праздник. *Мы* козырем расхаживали вдоль селения» [3: 319]; и в конце рассказа: «Вот тут-то *мы* его – даже сказать чудно – боялись. Кроткий совсем человек, а неладно глядеть... Ведь какая тяжесть-то свисла над этой головушкой, ежели понять хорошенько» [3: 323] (везде курсив мой. – С. Л.).

Под «мы» рассказчик подразумевает коллектив, социальную общность – отряд партизан, в недавнем деревенских мужиков, – на это указывают речь персонажей, детали их внешности. Понятие «мы» включает и автора – он и рассказчик пребывают в одном социальном контексте, они выразители интересов множества, но позиции рассказчика и автора не всегда совпадают, хотя речь рассказчика не подвергается явной авторской переоценке. В «Летучем Осипе», впервые в творчестве Касаткина, проявилась особая форма психологического анализа, названная Л.Ф. Киселевой (применительно к другому писателю) «хоровой», – «подключение к мыслям и чувствам героя мыслей и чувств других героев, автора, народного коллективного опыта вообще» [4: 123]. В рассказе Касаткина – персонализированный полилог толпы – партизан. В нем участвуют «новички» и «из старых», «безусый малый», «уралец Бабушкин», «молоденький Васяга», «курносый детина пулеметчик» [3: 316-318]. Автор переносит внимание читателя с образа «массы» на индивидуальные реплики отдельных лиц из «хора», – это, несомненно, придает повествованию напряжение, динамику, способствует выявлению оценок и характеристик.

Таким образом, сказ в «Летучем Осипе» является выражением позиции «множества», причем это однонаправленный сказ, выражающий точку зрения автора и персонажей (среди которых – рассказчик). Герои и повествователь близки друг другу не только социально, но и психологически. Заметим, что две из пяти главок рассказа представляют собой не собственно сказ, а сказовое повествование – несобственно-авторское, в котором рассказчик передает слово автору: это вторая глава, состоящая из диалога двух персонажей с краткими включениями голоса автора, и четвертая – разговор Осипа с раненым земляком Соколовым о расправе над семьей. Здесь при объективном выражении плана персонажа (отсутствуют формы местоимения «мы») дистанция между автором и героем незначительна, что подчеркивается сохранением словоупотребления народной среды – с диалектизмами, просторечием, синтаксическими фигурами (инверсией, прежде всего): «Знать, уснул и Бабушкин. Васяга лег навтытяжку, руки закинул под голову и глядит на высоко поднявшийся серпок луны. В лесу всё еще ухала выпь. Над лугом жалобно пели комары, гудели жуки майские» [3: 318]; «Задохнулся Соколов, отдыхается. В груди клекочет, кипит. Осип склонился над ним, круто сбычил голову, дрожит мелкой дрожью, колючей дрожью дрожит, в пол кулаками опираясь» [3: 321]. Важно отметить, что эти главы проявили некоторое расхождение точек зрения рассказчика и автора: если для рассказчика Осип прежде всего бесстрашный боец отряда, то автор видит в персонаже глубоко страдающего *человека*, а потом уже борца с классовыми врагами. Касаткин подчеркивает: бесчеловечные обстоятельства (гражданская война) убивают душу, изменяют, деформируют сознание крестьянина – вчерашний носитель идеи добра, терпеливости, смирения становится жестоким убийцей, охваченным страстью отмщения.

Эта идея получила развитие в рассказе Касаткина «Вражья сила» (1922). Главный герой, старый «лесовик-охотник», не может убить животное из жалости: «Случилось ему раз устрелить в горах козу. Подходит к ней, а она как

забывает человеческим голосом, по-ребячьи, да как глянет в упор на Никиту жалостными глазами... С тех пор шабаш бить коз! Так и прозвали его Козья Милость» [3: 324]. В годы гражданской войны старик добровольно вступил в партизанский отряд, был готов убивать колчаковцев – «вражью силу»: «Нет злее зверя супротив барина да купца» [3: 324].

Советские критики видели в подобном изменении сознания крестьянина положительное начало – пробуждение деревни, прощание с мужичьей патриархальностью, проявление в характере русского человека несогласия с социальной несправедливостью [5]. Сам же автор, приветствуя активность ранее угнетенных людей, не приемлет насилие как путь к светлому будущему. Тем более что «вражья сила» – это такие же «намаевавшиеся» люди (собранные белыми «по мобилизации, дери ее черт!» [3: 328]), они «загодя промеж себя решили: перевалим горы и обернемся супротив их вот!» [3: 328].

Оптимизм, жизнестойкость, решительность, добродушие, чувство юмора сибиряков противопоставлено в тексте агрессивной настороженности, воинственности старика Никиты, в сознании которого нравственные категории жизни человека искажены, вытеснены понятиями военного времени. Автор симпатизирует сибирякам-красноармейцам, которых в финале вновь – уже с иронией! – называет «вражьей силой»: «Рявкнуло дружное «ура», и вражья сила множеством рук подхватила Козью Милость на воздух – только лапти кверху взыграли» [3: 329]. Иронический эффект возникает из-за несовпадения точек зрения рассказчика и автора, по-разному трактующих понятия «враги», «вражья сила».

Повествовательная форма «Вражьей силы» – смешанная, вобравшая элементы сказа, несобственно-авторское слово, а также прямую речь персонажей – в рассказе ярко представлено «хоровое» начало, реплики партизан и солдат-сибиряков передают гамму чувств персонажей, содержат эмоциональные оценки происходящего. Важным приемом психологизма в тексте явились пейзажные зарисовки, в которых писатель использует принцип контрастности: «Отгрохотали в горах буйные речушки и вошли в берега, в топи и хляби, заточились под корневища хвойных великанов. Вот и весна-краса!» [3: 324]. Динамичный, экспрессивный ранневесенний пейзаж в начале рассказа подчеркивает решительность настроения крестьян, для которых весна явилась сигналом к началу партизанского похода против белогвардейцев: «Одно слово: враг за вешнее бездорожье дюже подготовился и гонит сюда полчища» [3: 324]. Лес, приречная долина стала для партизан местом дозора – они «вражью силу высматривали». Вместе с тем рассказчик неоднократно обращается к деталям весеннего пейзажа, противопоставляя «сияние солнышка» – «сверкнувшим штыкам» [3: 327], подчеркивая противоестественность «звякания ружей» – живым звукам пробуждающейся природы: «Известно, весна, в лесу – благодать. По вечерам вдоль речки соловьи так и ахают. Синий туман в далях обволакивает лес будто дымом. В полдни да на припеке – смолиной не продохнешь. Зелень, травы на глазах так и прут из земли на полянах... Ну, пропади, голова!» [3: 325]. Пейзаж составляет психологический, эмоциональный фон повествования, через него дается косвенная характеристика рассказчика, не утратившего в жестокое время способности наслаждаться красотой природного мира. В рассказе проявилась еще одна особенность сказа Касаткина 1920-х годов – нарочитое подчеркивание автором комических элементов речи персонажей, что снимает надуманную напряженность, неоправданную остроту событий.

Таким образом, форма сказа в прозе Касаткина 1920-х годов получила развитие – утрачивается связь с конкретным поименованным рассказчиком, но при этом акцентируется его социальная принадлежность. Это не гарантирует слияния рассказчика с автором – нередко их позиции не совпадают, наблюдается психологическая разнородность повествования. Сказ как повествовательное единство распадается на сказоподобные формы, чаще других встречается несобственно-авторское повествование («усеченный сказ»), обогащенное разнообразными средствами психологизма: пейзажные зарисовки, детали портрета, мимика, жест, внутренний монолог, взаимохарактеристики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кожевникова Н.А. О типах повествования в советской прозе // Вопросы языка современной русской литературы. – М., 1971.
2. Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
3. Касаткин И.М. Перед рассветом. Избранные рассказы. – М., 1977.
4. Киселева Л.Ф. Об особенностях психологического анализа в романе Шолохова «Тихий Дон» // Известия АН ССР. Серия «Литература и язык». – М., 1965. – Т. 24.
5. См., например: Скобелев В.М. Масса и личность в русской прозе 20-х годов (к проблеме народного характера). – Воронеж, 1975.

О.Б. Сокурова

СИМВОЛ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ АНДРЕЯ БЕЛОГО И ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Переломные эпохи в некоторых важных чертах напоминают друг друга. Мы, свидетели и участники нынешнего исторического «перевала» столетий и даже тысячелетий, лучше других можем понять тех, кому довелось перейти через серьезный временной рубеж сто лет тому назад и запечатлеть этот переход в символических образах. Нам важно ответственно и трезво (без былого критицизма или, наоборот, идеализации) осмыслить их опыт, прислушаться к их предвестиям, учесть их ошибки, на повторение которых у нас нет никакого времени и права.

Стараясь обрисовать атмосферу начала XX века, известный богослов из числа наиболее выдающихся представителей русского зарубежья, протоиерей Георгий Флоровский определил это время как «перевал сознания». Он отмечает: «В те годы многим вдруг открывается, что человек есть существо метафизическое. В самом себе человек вдруг находит неожиданные глубины, и часто темные бездны. И мир уже кажется иным. Ибо утончается зрение... Рождается потребность в духовной жизни, потребность строить свою душу. И вдруг все становится как-то очень серьезно... Это значит не то, что все тогда были серьезны и верно оценивали значительность происходящего. Напротив, тогда было слишком много самого опасного легкомыслия, мистической безответственности, просто игры. Но самые события тогда вдруг стали серьезны. И в них внятно обнаружился суровый апокалиптический ритм <...> Тогда было много крушений, и редкие надежды сбылись. Павших было больше, чем достигших... Это было время исканий и соблазнов» [1]. Нельзя не согласиться: именно таким сложным путем исканий и соблазнов шли многие представители русской культуры серебряного века.

Острое недовольство самими собой и современным миром, не менее острая неудовлетворенность «искусственностью» искусства и стремление сделать его более действенным, приближенным к живой жизни – все это побуждало наиболее чутких художников искать выход из индивидуальной замкнутости, из рамок культуры. Они догадывались, что истинный смысл существования находится за границами человеческой индивидуальности и эстетической сферы ее самовыражения. И тогда обратились к символу – такой художественной образности, которая принципиально разомкнута и смысл которой находится за ее пределами.

Символ стал одним из основных понятий, своего рода эталоном в литературной теории конца XIX – начала XX века. Это понятие в процессе его разработки сосредоточило в себе, как в фокусе, самые важные мировоззренческие и творческие проблемы времени. Вот почему символ оказался носителем заряда большой содержательной силы не только в рамках художественных произведений, но и в теоретических статьях – в определяющих его формулах.

В России созданием и отшлифовкой этих формул наиболее серьезно занимались два крупнейших представителя «младшего» поколения русских символистов – Андрей Белый и Вячеслав Иванов. Через призму принадлежащих им

концепций символа особенно четко просматривается, с одной стороны, стойкое единство Белого и Иванова на основе философских и эстетических взглядов Владимира Соловьева, а с другой стороны, – трудно воображаемая в рамках одного художественного течения и в то же время показательная и неслучайная полярность их жизненных и творческих позиций.

Однако линии расхождения выявились не сразу, в самом начале века они только наметились, зато гораздо яснее обнаружилась общность взглядов новых лидеров русского символизма. Почвой для философски-эстетических концепций А. Белого и Вяч. Иванова стала уже упомянутая попытка преодолеть привычные границы искусства во имя более решительного влияния на жизнь. Опираясь на религиозную эстетику Соловьева, цель которой – обосновать формулу Достоевского «красота спасет мир», символисты стремились представить миссию искусства в религиозно-нравственном пересоздании человечества – в так называемой «теургии».

Пути такого пересоздания, преображения Вяч. Иванов видел в преодолении индивидуализма, возвращении вспять, к органическим («мифологическим») эпохам. Он призывал идти тропой символов к мифу, к восстановлению соборной народной души, поскольку символы – «осколки» утраченных мифов. Символы, утверждал он в статье «Поэт и Чернь», впервые напечатанной в третьем номере журнала «Весы» за 1904 год, это «новые старые слова. Они были искони заложены народом в душу его певцов, как некие изначальные формулы и категории, в которых единственно могло вместиться всякое истинное прозрение» [2]. Для Иванова, поклонника и последователя Платона, путь познания – это путь воспоминания. Поэт, «орган народного воспоминания», как называет его Иванов, знает внутренние слова, которые постигаются «темным инстинктом забытого родства» (интуитивное познание Иванов считал вслед за романтиками наиболее ценным). По свидетельству А. Блока, «Вячеслав Иванов возводит углубление к родникам поэзии почти в принцип» [3], и символы его – это «родные древности».

В отличие от него, А. Белый был устремлен к будущему («наша душа чревата будущим: вырождение и возрождение в ней борются»). Он, как и многие его современники, мечтал об осуществлении «нового неба и новой земли», даже если в грядущем мировом пожаре сгорит его Родина, сгорит сам поэт: «И ты, огневая стихия, / Безумствуй, сжигая меня! / Россия, Россия, Россия, / Мессия грядущего дня!»

Это было, как считает современный отечественный философ П.П. Гайденко, характерная для начала XX века утопия «посюстороннего преображения вселенной». Хилиастическая настроенность – ожидание тысячелетнего «земного рая» – парадоксально объединяла поборников «нового религиозного сознания» из среды мистически настроенных философов и художников с представителями революционной интеллигенции, увлеченных марксистской социальной утопией, а также религиозные секты типа «хлыстов», возникшие в русском народе накануне смуты. «При всем разнообразии хилиастических движений для всех них характерно болезненно острое переживание царящих в мире зла и страдания, переходящее в ненависть не только ко злу, но и к самому миру, который «во зле лежит». А эта восходящая к гностицизму ненависть к миру порождает всепоглощающую страсть к разрушению, которая отличает революционеров всех мастей, – приверженцев как утопий социоцентрических и

атеистических, так и утопий метафизических и религиозных. Суть этой страсти выразил М.А. Бакунин: «радость разрушения – это творческая радость». П.П. Гайденко отмечает: «Для хилиастического утопического сознания характерно стремление не только перестроить общество, но и изменить саму природу – как космический строй бытия, так и природу человека... Такие стремления мы видим и у Соловьева – идея полного преображения человеческой природы здесь, на земле, воплотилась в его мистико-эротической утопии, тесно связанной с софиологией» [4].

Явно ориентируясь на идеи Соловьева, А. Белый писал: «Мир искусства есть начало сотворения нового мира в мире бытия» [5].

Вячеслав Иванов в своих статьях поддерживал Белого в его максималистских устремлениях: символизм – искусство действенное; в конечном счете оно является житнетворчеством. Назначение поэта – быть «религиозным устройтелем жизни, истолкователем и укрепителем божественной связи сущего, теургом» [6]. С этой формулой перекликается пророчество Иванова в стихотворении «Художник»: «Взгрустит кумиротворец-гений / Все глину мять да мрамор сечь, / И в облик лучших воплощений / Возмнит свой замысел облечь, / И человека он возжаждет».

Речь шла не просто о человеке, а о «новом человеке». То, что человек не может, не должен оставаться таким, каков он есть, в начале «неведомого века» было ясно всем. И это была глубоко верная интуиция. Но идеал такого «нового человека» представляли себе по-разному. Например, известный роман М. Горького «Мать» – это, по существу, история постепенного перерождения «ветхого человека» в лице пожилой женщины Ниловны в человека новой, революционной формации. Впоследствии эта опасная литературная игра в «богоискательство», провозглашение пролетариата «железным мессией» превратилась в страшную реальность «перековки» человеческой массы в «новых людей» на строительстве Беломорканала (которое Горький с другими литераторами посетил и одобрил) и на других пространствах ГУЛАГа. Таковы были зерна и плоды пролетарской культуры.

А в символистских кругах еще в 90-х годах XIX века увлеклись формулой Ницше: «человек – это нечто, что должно превзойти». В ситуации глубокого кризиса веры в среде интеллигенции был забыт христианский путь освобождения от «ветхого человека», путь духовного восхождения и преображения личности как необходимого условия спасения. Этой мыслью пренебрегли («Бог умер!») и пошли за Ницше, который использовал идею о преодолении «ветхого человека» для утверждения диаметрально противоположной, антихристианской системы ценностей. Кстати, Соловьев в полемике с русскими ницшеанцами «Мира искусства» напоминал им в статье «Идея сверхчеловека» (1899) об образе подлинного «сверхчеловека» Христа – Победителя смерти и Первенца из мертвых [7].

Но Соловьева в данном случае не слышали. Более того, «младшие» символисты, которые познакомились с философией Ницше раньше, чем с сочинениями и стихами русского религиозного мыслителя, одинаково горячо увлеклись и тем, и другим, сочтя обоих пророками. Андрей Белый признавался, что он «пытался соединить в своем сердце два полюса (Соловьева и Ницше)» [8]. А для Вяч. Иванова ницшеанский образ Диониса, который нес в себе ночное, экстатическое, хаотически-экспрессивное начало, вполне соотносился с учением

Соловьева об эросе, в коем преодолевается индивидуализм, и человек выходит за пределы собственного «я» к другой человеческой личности, к природе, ко всему живому космосу.

Итак, в начале XX века представители разных направлений русской мысли и культуры, в том числе символизма, пришли к одному выводу: **человек не самодостаточен, личность может найти смысл своего существования, только выйдя за свои пределы, границы**. Мы имеем дело с верной интуицией. Но сомнительными были пути ее смыслового наполнения и реализации: Белый искал в подсознательных глубинах своей души «бога» – могущественного и властного ницшеанского «сверхчеловека»; Вячеслав Иванов призывал других и пытался сам преодолеть границы личности в дионисийских экстатических состояниях. При этом в обоих случаях неизбежно преодолевались и границы нравственности, шли рискованные эксперименты над собой и окружающими людьми. В поэтическом творчестве появились горькие признания о постигших на этих путях неудачах. А. Белый пророчески писал о себе в 1907 году: «Золотому блеску верил, / А умер от солнечных стрел. / Думой века измерил, / А жизнь прожить не сумел».

Он действительно умер в 1934 году от последствий солнечного удара. И он, с его исключительной одаренностью, и вправду не сумел прожить жизнь. А Вячеслав Иванов, мечтавший о всенародном соборном искусстве, говорил о себе так: «Я башню безумную зижду / Высоко над мороком жизни...». И он прятался от жизни в своем кабинете на знаменитой «башне» у Таврического сада. Экзальтированные разговоры о «живой жизни» как раз и выдавали, насколько не хватало ее тем, кто эти разговоры вел...

Для Белого и Иванова смысл человеческого существования – за пределами этого существования, смысл культуры – за пределами культуры. Символизм выведен из рамок литературной школы и рассматривается как «единственный метод практического осуществления человеческого идеала» [9].

А. Белому и Вяч. Иванову удалось подойти к главному парадоксу, связанному с понятием символа. Этот парадокс можно было бы сформулировать следующим образом: **Символ ценен потому, что он не самоценен**, то есть важнейшим свойством символа является стремление вырваться за пределы образности как автономно-созерцательной сферы; второй, внутренний план художественного символа следует искать вне эстетических границ, и вообще нельзя говорить о чем-нибудь как о символе, если оно указывает только на самого себя и не относится к чему-то другому. Такой взгляд на символ соответствует представлениям о человеке, его не самодостаточности, а также о том, что смысл культуры и искусства находится за их пределами. Обосновывая этот взгляд, А. Белый писал в статье «Смысл искусства» (1907) [10]; он повторял, вслед за Гоголем, что писатель должен сам стать «художественной формой»: творческому человеку требуется постоянная работа над собой. Подобный взгляд на символ подтверждается и современными крупнейшими эстетиками и философами: А.Ф. Лосевым [11], С.С. Аверинцевым [12].

«Младшие» символисты были в отечественной эстетической мысли первооткрывателями такого отношения к символу, и это можно считать их несомненной заслугой. Другое дело, что в своих попытках символически представить «высшие цели» человечества Вяч. Иванов пытается объединить Христа и Диониса, то есть осуществить невозможный синтез христианства и язычества.

А Белый вносил игровое начало в такие сферы, которые для верующего человека (он считал себя таковым) являются святыней. И делал это он в основном из-за склонности к самой невероятной духовной эклектике. Это было вполне в духе времени. Весьма выразительна, например, такая дневниковая запись В. Брюсова, относящаяся к 1903 году: «Бугаев заходил ко мне несколько раз. Мы много говорили. Конечно, о Христе, о Христовом чувстве... Потом о кентаврах, силенах, их бытии. Рассказывал, как ходил искать кентавров в Девичий монастырь, по ту сторону Москвы-реки. Как единорог ходил по его комнате...» [13]. Достаточно четкие и пронизательные теоретические формулы следует отграничить от довольно путаного, эклектичного их наполнения в жизненной и художественной практике представителей серебряного века.

Еще одно важное теоретическое наблюдение, сделанное А. Белым и Вяч. Ивановым при разработке проблемы символа: они открыли внутреннюю подвижность этого «организма культуры». Оказалось, что символ сам по себе существовать не может – *в рамках художественного произведения необходима связь соподчиненных, взаимопроникающих, проясняющих друг друга символических образов*. Немецкая исследовательница творчества Иванова Карин Чопль характеризует это явление так: «В зависимости от смысловой связи, в которую включается комплекс значений символа, на первый план выступает та или иная сторона его значения. Смысловая структура поэтической картины мира («миф») и отдельные символы взаимно проясняются. Внутри мифа каждый символ получает свой смысл, и смысл целого развивается из отдельных символов и их взаимных отношений» [14].

«Миф», а позже *forma formans* в теории Вяч. Иванова, или «внутренний эффект», «музыкальный прототип» в статьях А. Белого – это первообраз-замысел, некий эталон, которым руководствуется художник в создании своего произведения. Первообраз является формообразующим регулятивным принципом, он намечает русло, по которому направляется процесс *символизации*, то есть создания той связи «*видовых символов*», без которых невозможен символ «*родовой*» – завершенное художественное произведение, *forma formata*. Символическое произведение в таком понимании оказывается пульсирующим, внутренне подвижным, живым; а тогда и символ представляет собой нечто органическое, не сделанное, а скорее, выращенное: «Символ имеет душу и внутреннее развитие, он живет и перерождается» [15].

В настойчивом противопоставлении многозначной, целостной, образной сути символа неподвижной мертвенности понятия, рассудочной прямолинейности знака русские символисты следовали традиции немецких романтиков (хотя основоположниками такого взгляда на символ были неоплатоники), а также традиции русских философов-славянофилов, ориентированных на цельное живое знание.

Белый и Иванов рассматривали символы как *место встречи* мира ноуменального с миром феноменальным. Здесь намечается еще один парадокс: с одной стороны, символ *указывает на* иной план бытия (в переводе с греческого символ – это «знак», «пароль», «сигнал», «предзнаменование»); с другой – он *содержит в* своей живой конкретности некое предельное обобщение – и поэтому *вечное входит в единократное, бесконечное присутствует в границах конечного*. Этимологически такое представление восходит к целой группе древнегреческих глаголов: «символизирую» – значит «сливаю», «соединяю»,

«сталкиваю», «сбрасываю в одно место», «встречаю»...

Мировоззренческие и эстетические разногласия Белого и Иванова возникли в процессе разработки понятия символа. Эти разногласия касались не столько внутренней, содержательной, сколько внешней, «формальной» стороны символа. При создании символа Иванов призывал художника не только прозревать «сокровенную волю сущностей», обуздав собственную волю, но и не налагать эту волю даже на «поверхность вещей» («образ видимости»). В программной статье «Две стихии в современном символизме» Иванов противопоставил собственную позицию «реалистического символиста» позиции символиста «идеалистического», к которой был близок Белый.

Основной принцип «реалистического символиста» – «принцип верности вещам, каковы они суть в явлении и существе своем» [16]. Главный его лозунг – «от видимой реальности и через нее – к более реальной реальности тех же вещей – *a realia ad realiora!*» [17]. «Реалистический символист» верит в реальность воплощаемого, ознаменовывает вещи как символы и старается не вносить в свое ознаменование ничего субъективного – он берет на себя своего рода пророческую миссию: творить от лица истины («внутреннего канона»), подчиняясь ей. «Идеалистический символист» посвятил себя изображению субъективных душевных переживаний, «не заботясь о том, что лежит в сфере объективной и трансцендентной для индивидуального переживания» [18]. Он чувствует себя хозяином истины, ее творцом.

Главное, против чего возражал автору «Двух стихий...» на страницах журнала «Весы» А. Белый, узнавший себя в портрете «идеалистического символиста», – это безволие ивановского «демиурга», которому приходилось следовать принципу «наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости». Белый не желал рассматривать эмпирический мир «видимостей» как символическую действительность. Для того чтобы действительность стала символической, ее следует преобразовать. Позиция Белого ориентирована на «полюс свободы»: он, как и большинство других символистов, миновав краткий период «тезы», взял на вооружение мятежное «Нет» романтиков в его своеобразном сочетании с эсхатологическим настроением начала XX века. Выразительно его заявление: «Творчество мое – бомба, которую я бросаю, жизнь, вне меня лежащая, – бомба, брошенная в меня; удар бомбы о бомбу – брызги осколков» [19].

Если духовной опасностью для Иванова был религиозный натурализм, освящение непретворенной плоти мира, притяжение к земле, земным ценностям, которые в конечном счете привели его в лоно католицизма, то Белого подстерегала другая опасность: спиритуализм, мистический индивидуализм, своеволие и в результате – приобщение к антропософской ереси Р. Штейнера с элементами оккультизма.

Ориентация на решение задач «иронического» круга побуждала Белого приветствовать принципиальное несовершенство, разомкнутость «плоти» нового искусства: «Искусство, – писал он, должно учить видеть вечное: сорвана, разбита безукоризненная окаменелая маска классического искусства. По линиям разлома выползают отовсюду глубинные созерцания, насыщают образы, ломают их, так как осознана относительность образов. Образы превращаются в метод познания, а не в нечто самодовлеющее» [20]. Несовершенство символических образов было для Белого способом отрицания непререкаемого, завершенного, «ставшего» и свидетельствовало о возможности нарушения «миро-

вого порядка», «злых законов бытия». У Иванова постепенно сложилось иное отношение к «плоти» художественного символа – благословляющее, бережное и вместе с тем неудовлетворенное.

В 1913 году, накануне мировой войны, когда ясно стало, что символизм не выполнил возлагавшихся на него надежд, в статье с многозначительным названием «О границах искусства» Иванов писал: «... хотя всякий символ есть некое воплощение живой божественной истины, ... все же он реальность низшего порядка... И освобождение, достигаемое искусством, только символическое освобождение» [21].

Таким образом, в теории символа была намечена проблема **воплощения** глубинного утверждающего содержания творческой личности – проблема, имеющая самое серьезное значение для понимания исповедального существа русской культуры. В свое время этой проблемой остро переболел Н.В. Гоголь во втором томе «Мертвых душ», в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Впоследствии она была выражена в знаменитой формуле Ф.И. Тютчева «мысль изреченная есть ложь», которая «стала лозунгом символистов», как пишет современная английская исследовательница истории русского символизма А. Пайман [22]. И у Ф.И. Достоевского князь Мышкин, который пытается передать окружающим свой «нездешний» опыт братской любви, часто беспомощен в слове, неловок в жесте. Спотыкается в словах и скромный повествователь-«хроникер» в «Братьях Карамазовых», когда хочет выразить что-то особенно важное. Таких примеров «косноязычия» и недосказанности в отечественной культуре можно найти немало. Очень интересно, например, наблюдение выдающегося искусствоведа и педагога Н.Н. Третьякова о «сознательной недоговоренности», которая является важнейшим условием целостного монументального обобщения и способствует сосредоточенности на главном, внутреннем содержании в картинах русских художников [23].

Добровольным заточением в границы формы творческое «я» лишается свободы и движения, его заветное, «не от мира сего» содержание становится в известном смысле беззащитным – неограниченность свободы переходит к воспринимаящему «ты». Художник нисходит, но должен восходить тот, к кому обращено его искусство. Это достаточно тонко понимал Вяч. Иванов, который утверждал, что творческое «восхождение есть наполнение сил, а нисхождение – их излучение, и потому жертва, жертва милостивая, предполагающая предварительное богатство» [24].

Серьезной заслугой теоретиков символизма было то, что они **процессу восприятия** символического произведения придавали значение не меньшее, чем процессу передачи в системе символов главных авторских идей. Символ становится уникальным художественным образом, который дает установку не только на созерцание, но и дальнейшее духовное созидание. Завершенное художественное произведение – родовой символ, *forma formata* – в теории русских символистов является не только «конечной точкой», зафиксировавшей углубление творческой личности художника – он непременно еще и «точка отсчета», толчок для дальнейшего углубления в жизненной практике тех, к кому обращен. Искусству стал необходим **готовый к сотворчеству читатель, зритель, слушатель**: без его проникновения в глубь символики и последующего внутреннего движения, **превращения себя в творимую форму** символ, с точки зрения Белого и Иванова, в полном, истинном своем значении

существовать не может. Можно предложить следующие формулировки: Вяч. Иванов: символ – начало, связующее отдельные сознания; А. Белый: переживание посредством символизации вырастает из пределов личности, оно сливает индивидуумы в одно целое. Так в процессе кристаллизации понятия символа обозначилась еще одна его грань: символ несет в себе «теплоту объединяющей тайны» (выражение С.С. Аверинцева).

Однако справедливости ради отметим: вновь перед нами – теоретические «декларации о намерениях», намерениях благих, но так и не осуществленных в исторических рамках русского символизма. «Объединяющая тайна» символов не привела к пересозданию жизни, к всенародному искусству и была рассчитана в основном на «посвященных». Но и они, после отчетливо проявившегося в 1910 году кризиса символизма, разошлись, как писал А. Блок, «молчаливо и печально по своим одиноким путям». С сочувствием и признательностью вспомним их. Учтем их уроки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. – С. 452.
2. Иванов Вяч. Поэт и чернь // Иванов Вяч. По звездам. – СПб., 1909. – С. 39. Здесь и далее автор считает полезным давать сноски на первые издания книг и статей Вячеслава Иванова и Андрея Белого.
3. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 5. – М., 1962. – С. 11.
4. Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия серебряного века. – М., 2001. – С. 35.
5. Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Символизм. – СПб., 1910. – С. 199.
6. Иванов Вяч. Заветы символизма // Иванов Вяч. Борозды и межи. – СПб., 1916. – С. 139.
7. См.: Соловьев В. Собр. соч. – Т. VIII. – СПб., 1912. – С. 246 – 290.
8. Белый А. С.М. Соловьеву // Белый А. Стихотворения и поэмы. – С. 153.
9. Белый А. О целесообразности // Белый А. Арабески. – М., 1911. – С. 107.
10. Белый А. Символизм. – С. 199.
11. См.: Лосев А.Ф. Проблема символа в связи с близкими к нему литературоведческими категориями // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – Вып. 5. – М., 1970. – С. 384-385.
12. См.: КЛЭ. – Т. 6. – М., 1971. – С. 826.
13. Брюсов В. Дневники. – М., 1927. – С. 134.
14. Carin Tschopl (geb. Drexler) Vjaceslav Yvanov. Dichtung und Dichtungstheorie. – Gottingen, 1966. – S.103.
15. Иванов Вяч. Поэт и чернь // Иванов Вяч. По звездам. – СПб., 1909. – С. 39.
16. Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме // Иванов Вяч. По звездам. – С. 250.
17. Там же. – С. 274.
18. Там же. – С. 269.
19. Белый А. Арабески. – С. 216.

20. Белый А. Символизм как миропонимание // Белый А. Арабески. – С. 227.
21. Иванов Вяч. О границах искусства // Иванов Вяч. Борозды и межи. – М., 1916. – С. 220-221.
22. Пайман А. История русского символизма. – М., 2000. – С. 18.
23. См.: Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. – Оптина пустынь, 2001. – С. 240-244.
24. Иванов Вяч. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 1. – Рим, 1971. – С. 108.

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКОВ. Н.И. ГНЕДИЧ

Вторая половина XVIII - начало XIX веков – время страстного увлечения русскими литераторами переводческой деятельностью. Переводили, как правило, классиков: Гомера, Гесиода, Платона, Вергилия, Теренция, Демосфена, Овидия, Тацита, Цицерона, Ксенофонта, Лукиана, Анакреонта Тийского, Публия Теренция Акра, Персия, Плиния Младшего, Курция, Саллюстрия, Псевдо-Лукиана, Пигреса Карийского и других; переводили европейских, особенно французских, поэтов и теоретиков. Русский читатель и зритель на протяжении всего XVIII столетия с интересом изучал драмы (в русских переводах) М.-Ж. Седена, И.-В. Браве, Г.-Э. Лессинга, П. Корнеля, Ж. Расина, Н. Буало, Д. Марино, А. Каули, Ж. Лафонтена, Грекура, Ф. Фенелона, Б.-Ж. Сорена, Ж.-Ф. Мармонтеля, Л. Кокле, Л.-С. Мерсье, Ж. Буте де Монвель, А. Коцебу, Ф.-Н. Дегуша, Ж.-Ф. Пуллена де Сен-Фуа, Д. Лилло, Л. Гольберха, Т. Тассо, П.А.Д. Метастазियो, К.-М. Вилланда, У. Шекспира и других. Николай Иванович Гнедич [1] был одним из лучших поэтов-переводчиков начала «золотого века» русской словесности. Гнедич дополняет яркую плеяду русских литераторов-переводчиков А.А. Нартова, М.А. Матинского, А.Ф. Малиновского, В.Г. Рубана, А.В. Храповицкого, И.С. Захарова, В.А. Левшина, Г.В. Козицкого, И.М. Муравьева-Апостола, Н.М. Карамзина, в большинстве своем создавших и собственные оригинальные драматические опыты. Русское образованное общество испытывало жаркий интерес к театру, меценаты покровительствовали тем или иным литературным и театральным дарованиям. Литературный талант Гнедича высоко оценил граф А.С. Строганов. Войдя в салон известного вельможи А.Н. Оленина, Гнедич обрел в его лице редкого себе покровителя. Оленина и Гнедича сблизило неподдельное увлечение классической древностью: Гнедич страстно изучал литературные памятники древней Греции, Оленин имел славу непревзойденного знатока ее искусства. Перевод «Илиады» Гомера стал делом жизни Гнедича, этот труд продолжался более двадцати лет. Благодаря Оленину Гнедич стал постоянным участником литературных вечеров вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны.

Писать Гнедич начал рано: в пору обучения в Полтавской «словесной семинарии» [2], куда в девятилетнем возрасте его определил отец, Иван Петрович Гнедич. Семинария была детищем виднейшего ученого – архиепископа Никифора Феотоки [3], введшего в учебные программы углубленное изучение древних и европейских языков, здесь проявляется интерес Гнедича к переводческой деятельности, к поэзии разных эпох и народов: Анкреон, Гораций, Осиан, Шиллер, Вольтер, Мильтон, Расин, Байрон, Шенье, Макферсон, Шекспир и другие равно волнуют впечатлительного и одаренного начинающего поэта. Тяга к театру возникнет во время учебы в Императорском Московском университете, где он с большим старанием занимался историей под руководством профессора Х.А. Чеботарева [4], с 1778 года имевшего обязанности цензора при театре, на сцене которого Гнедич будет исполнять небольшие роли; и уже тогда он с особым вдохновением зачитывался шекспировскими хрониками во

французских переводах. В декабре 1802 года Гнедич выпускает свой первый сборник «Плоды уединения» (без подписи).

Новый 1803 год он встретил в Петербурге, северная столица стала для него вторым домом, здесь и пройдет его плодотворная литературная деятельность. К этому времени Гнедич был автором изданных в Москве оригинального романа «Дон-Коррадо де-Горрера, или Дух мщения и варварства Гишпанцев» и двух переводных трагедий. Способность к декламациям, искусство чтеца, тонко чувствующего природу стиха, поэтического слова, ввело его в театральное общество Петербурга; вскоре он станет помогать знаменитой драматической актрисе Императорских театров Екатерине Семеновне Семеновой [5] (которой был страстно увлечен) разучивать почти все трагические роли ее обширнейшего репертуара после руководства ею князем А.А. Шаховским, в ту пору начальника репертуарной части. К ранним драматическим переводным опытам Гнедича относятся: в 1802 году – «Абафюр, или Арабская семья» Дюси, в 1803-м – «Заговор Фиески в Генуе» Шиллера, в 1807-м – «Леар» («Король Лир») Шекспира в переработке Дюси. Перевод трагедии Вольтера «Танкред», осуществленный в 1809 году, принято считать первой русской романтической трагедией. Драматические переводы Гнедича носили эпизодический характер. «Танкреда» Вольтера он перевел нарочито для вящей славы Е.С. Семеновой: ее игра уже не воспринималась у публики единодушно оvationами, на которые претендовала прима, всходила звезда французской Жорж, покорившей немало строгих и взыскательных ценителей искусства [6]. Гнедич учил Семенову не только декламации, но технике игры французской театральной школы – и Семенова продолжала блистать. В 1805 году она превосходно сыграла Заиру в трагедии Вольтера «Заира» (переведена М.Н. Муравьевым; Ю.Ф. Нелединским-Мелецким), 8 апреля 1809 года публика рукоплескала Семеновой, исполнившей Аменаиду в трагедии «Танкред» (именно этот материал выбрал Гнедич для триумфа актрисы), а 7 февраля 1812 года трагедия с успехом шла на сцене московского театра.

Личность и деятельность Вольтера [7] Гнедич воспринимал крайне негативно [8], но привлекательным для него оказались английские художественные приемы, используемые Вольтером, и его умение наполнять форму необходимым драматургу содержанием. Не все современники Вольтера восхищались его незаурядными качествами литератора: Шатобриан, Лансон, Ж.Ж. Руссо и другие находили его творчество «жестоким», «лживым» и «оскорбительным». Будучи изгнанным из Германии и Франции Вольтер с конца 1754 года живет в Швейцарии, но и здесь он не отрекся от своей общественно-политической позиции. Лучшее драматическое произведение Вольтера трагедия «Танкред» (1760) станет пограничным звеном в его судьбе, замысел и его воплощение открывает новую, последнюю страницу творчества.

Вольтер стяжал славу выдающегося поэта, однако его драматургия не была явлением уникальным, его трагедии «были ловкими повторениями всех наиболее известных и надежных драматических клише Греции, Англии и Франции», он «освежал подбор театральных ситуаций, характеров и страстей, изобретениями в обстановке, перенесением на сцену истории, попытками воспроизведения отдаленных цивилизаций и исторических лиц» [9]. К драматическому жанру Вольтер обратился весьма рано, его перу принадлежат трагедии «Эдип» (1718), «Артемира» (1720, переделана в 1724 в «Мариам»), «Брут»

(1728), «Эрифилла» (1732), «Заира» (1732), «Аделаида Дюгеклен» (1734) – не все его ранние произведения с успехом шли на сцене. С середины 1730-х годов его драматургия претерпевает изменения, «он изгоняет со сцены греков и римлян и вместо них населяет ее американцами, арабами, скифами, персами», а персонажи отчетливее становятся глашатаями его политических требований [10]: «Альзира» (1736), «Зулима» (1740), «Магомет» (1742), «Меропа» (1743), «Китайская сирота» (1755) и другие. Однако вершиной вольтеровской трагедии следует считать «Танкреда». В это время литературная и общественная деятельность Вольтера сочетается с сельскохозяйственными интересами, устройством шелковой и часовой фабрик, продукция которых поступает в Африку, Грецию и Россию. Здесь, в купленных имениях Фернэй и Турнэй в Жексе у самой границы Франции, Вольтер устраивает пышные приемы, занимается постановкой своих пьес, в этот период он пишет «Олипию» (1762), «Юлия Цезаря» (1764), «Скифов» (1767), «Гебров» (1769) и – «Танкреда». Театр служил, как и прежде, общественной кафедрой для Вольтера, пропагандой его политических и философских взглядов. Еще в 1748 году в своем «Рассуждении о древней и новой трагедии» он обосновал философскую составляющую жанра трагедии, на практике – в сценической постановке – раскрывающий определенные «воспитательные» идеи, заложенные автором.

Драматургов всегда привлекали личности сильные, волевые, характерные, а художников-философов – творцы истории. Поэтизируемая Вольтером эпоха была благодатным материалом, это время так называемой освободительной борьбы в Сицилии. Вольтер переработал сюжет, взятый им у де Фонтен (заимствованный ею у Ариоста), о несправедливо осужденной на казнь девушке, дополнив его сценами ревности и пламенными лозунгами в защиту свободы республики. Гнедич обратился к переводу вольтеровского «Танкреда», когда к этому времени уже закончилась третья волна увлечения российским обществом словом этого страстного философа-политика [11].

Первое и основательное знакомство в России с общественно-политической и литературной деятельностью Вольтера следует отнести к первой четверти XVIII столетия: русский резидент в Париже в 1738-1844 годах Д.К. Кантемир переписывался с ним и переводил его стихи на русский и молдавский языки, не избегал этого искусства М.В. Ломоносов, обратившись к вольтеровским стихам «На Фридриха IV, короля Прусского», переводили Вольтера А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин, Н.П. Николев, И.И. Дмитриев и другие. С ним переписывались представители высшего российского общества, как-то: граф К.Г. Разумовский, граф М.И. Воронцов, граф И.И. Шувалов, который даже приезжал к Вольтеру в Фернэ с предложением написать историю Петра Великого (в 1759 году Вольтер сочинит «Историю Российской Империи при Петре Великом»), с ним встречалась графиня Е.Р. Дашкова. В 1750-е годы его пьесы ставят на сцене шляхетного корпуса, печатают в переводах его труды «Микромегас», «Зодиг», «Мемнон» и другие. В екатерининское время увлечение Вольтером возросло настолько, что влияние его простиралось от венценосной особы до самых широких светских кругов и даже простого народа. Но мода на вольтерианство явилась причиной духовно-нравственного разложения крестьян; а в среде образованных людей и представителей высших сословий началось умственное брожение, следствием чего стали поиск «чистой религиозности», приведшей к масонству (Д.И. Фон-Визин, Н.И. Новиков, И.П. Лопухин и другие,

за немногим исключением вернувшихся в лоно Православной церкви и к национально-историческим традициям), и выработка, как тогда представлялось, более совершенной материалистической доктрины (кружок А.Н. Радищева). Напуганная французской революцией Императрица Екатерина II меняет политический курс и свои симпатии [12]: выходит распоряжение о запрете его сочинений «без апробации московского митрополита», из дворцов убирают все бюсты «полумудреца сего века», по словам Государыни; в печати появляются первые обличительные статьи вплоть до 1808 года. Со вступлением на престол Императора Александра I Павловича, однако вновь возникает интерес к его личности, но интерес этот продлился лишь до Отечественной войны 1812 года. Когда Гнедич работал над переводом вольтеровского «Танкреда», ему были известны сочинения, которые выходили в его время, например, «Изобличенный Вольтер» (СПб., 1787; СПб., 1792); Ноннот К.-Ф. Вольтеровы заблуждения (1793) изданы митрополитом Евгением (Болховитиновым), который впоследствии критически отзовется о творчестве самого Гнедича и В.А. Жуковского; «Обнаженный Вольтер» (СПб., 1787); «Основатели новой философии Вольтер, д'Аламберт и Дидерот, или Энциклопедия без маски», пер. с фр. (СПб., 1809); «Анекдоты г. Вольтера» (М., 1910); Гене А. Иудейские письма к г. Вольтеру с прибавлением сокращенного комментария (М., 1808-1817); Гюйон К.М. Оракул новых философов, или Кто таков г. Вольтер. Критические замечания (М., 1803) и немногие другие.

Таким образом, Гнедич начал свой перевод в период вполне обоснованного и объяснимого забвения кумира «просвещенных». Позже, А.С. Пушкин, давая оценку французскому просвещению XVIII века, словно подытожил следствие «разрушительного гения» Вольтера, принесшего «в жертву демону смеха» «все высокие чувства, драгоценные человечеству», «греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана» [13].

Внутренняя динамика драмы, в особенности трагедии, способна подчиняться идеологическим установкам автора. Если блестящий Корнель утверждал абсолютизм самой формой трагедии, то талант Расина его разрушал внутри этой формы [14], а гений Вольтера вообще свергнул господство трагедии, снизил жанр в его дальнейшей политической мотивации на французской сцене. Для Гнедича же драма оказалась привлекательной по своей природе. Он с детства ощущал драматизм в своей личности: не знающий с младенчества матери, он жил ее поэтизируя и представляя; перенесенная в раннем возрасте оспа обезобразила лицо и лишила правого глаза, недостатки внешности окупались тягой к щегольству, умение одеваться со вкусом и по последней моде отмечали все современники Гнедича (перчатки, тросточка, шляпа, фрак, белоснежное жабо) – и несостоявшееся личное счастье, к которому он так стремился всегда. Гнедич-драматург, увлекаясь переводами, оставался независимым по существу: так, шекспировского короля Лира в хронике «Леар» в переделке Дюси Гнедич интерпретирует по-своему: он убежден, что король Леар был почитаем англичанами одним из лучших и достойных, потому русский поэт-переводчик не следует за Шекспиром, изобразившем того безумным, не следует и Дюси, у которого он легкомыслен и властолюбив. Эта принципиальная позиция Гнедича проявилась и при переводе «Танкреда» Вольтера, когда Гнедич сокращал и преобразовывал пафосные рассуждения героев относительно свободы.

Сюжетная фабула «Танкреда» характерна для классицистической драмы.

Но если в русской драматургии XVIII - начала XIX веков внимание сосредоточено на борьбе долга и чувства, как-то: у М.В. Ломоносова (в трагедии «Тамира и Селиим», 1750), А.П. Сумарокова (в «Хореве», 1747, в «Семире», 1751, в «Ярополке и Демизе», 1758, в «Димитрии Самозванце», 1771), Я.Б. Княжнина (в «Орфее и Эвридике», 1763, в «Владимире и Святополке», 1772, в «Росславе», 1784, в «Вадиме Новгородском», 1788/1789), В.И. Майкова (в «Агриопе», 1769, в «Фемисте и Иерониме», 1773), А.А. Ржевского (в «Прелесте», середина 1760-х годов), Г.Р. Державина (в «Ироде и Мариамне», 1807), В.А. Озерова (в «Ярополке и Олеге», 1794, в «Эдипе в Афинах», 1804, в «Дмитрии Донском», 1808) и других, то в переводе Гнедича и чувство, и долг дополняют друг друга в творческом видении проблемы вольтеровской свободы, при этом проблематика трагедии осложнена конфессиональным противостоянием (вольтеровские сицилийцы равно вооружаются как против магометан во главе с Соламиром, так и православных греков, будучи христианами по вероисповеданию: престарелый воин Аржир, в доме которого собрались рыцари для совета, признает: «Два сильные врага сей бедственной страны, / Бичи народных прав, законов и свободы, / Византские цари, Срацинские народы / Нам игом Варварским поднесь еще грозят. / Сии властители вселенную делят, / И спорят лишь о том, какой тиран меж ними / Нас должен отягчить оковами своими» [15]). Аржир соглашается на брак своей дочери Аменаиды с рыцарем Орбассаном, дабы положить конец вражде двух их родов, не ведая о том, что Аменаида, будучи изгнанной с матерью из отечества, дала обед любви и верности Танкреду, также лишенного дома из-за рода Орбассана. Письмо Аменаиды, адресованное Танкреду, попадает к Соламиру, о чем узнают в Сицилии, и Орбассан приговаривает свою невесту к казни. Прибывший инкогнито в Сицилию Танкред вступается за честь Аменаиды и на поединке убивает Орбассана, жители Сицилии просят его возглавить войско против Соламира. Уверенный в том, что Аменаида предала его, предпочтя Соламира, в битве ищет себе гибели. Его приносят еще живым к Аменаиде и Аржиру, она убеждает Танкреда в своей верности и открывает народу его имя. Аменаида умирает над телом Танкреда. Аржир взывает к раскаянию жителей Сицилии за жестокость, проявленную к Танкреду. Танкред представлен мужественным и храбрым рыцарем, принесшим немалую славу Византии; не помня зла, сражается за свободу Сицилии, благороден и честен в любви, готов защищать честь предавшей его девушки.

Героический характер Танкреда был обусловлен необходимостью выработки в русской драматургии определенных черт национального русского характера, чему будет способствовать зарождающееся романтическое направление [16]. Русская историческая драматургия, учась на западных образцах, развивалась своим самобытным путем. В 1825-1826 годах А.С. Пушкин создаст «Бориса Годунова» – первый опыт русской национальной исторической трагедии, сразу ставшей шедевром русской классической литературы. В год опубликования трагедии «Танкред» Гнедич напишет поэму «Рождение Омира» (1816), которую литературоведы признают первой русской романтической поэмой. Гнедич отнюдь не был выдающимся драматургом, но он дал прекрасные образцы перевода и стал подлинным вдохновителем героической темы в отечественной словесности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. о нем: Жихарев С.Н. Записки современника: В 2 т. – Л., 1989; Лобанов М.Е. Биография Николая Михайловича Гнедича // Сын Отечества. – 1842. – № 11. – С. 1-32; Изволенский Н.П. Гнедич как оратор и патриот. – Полтава, 1883; Тиханов П.Н. Николай Иванович Гнедич. Неизданные источники. – СПб., 1884; Георгиевский Г.П. А.Н. Оленин и Н.И. Гнедич: Новые материалы из оленинского архива. – СПб., 1914; Его же. Гнедич, Николай Иванович / Русский Биографический словарь. – М., 1916; Касаткина В.Н. Предромантизм в русской лирике. К.Н. Батюшков. Н.И. Гнедич. – М., 1987; Голубева О.Д. Н.И. Гнедич. – СПб., 2000.

2. Первые сочинения Гнедича, носившие религиозный характер, относятся к 1795 и 1798 годам и посвящались друзьям: то были поздравительные речи на Рождественский и Пасхальный праздники. По завещанию Гнедича, библиотеке возобновленной полтавской гимназии будет отписано 1250 томов из его личного собрания, большей частью представляющих редкие библиографические издания.

3. Никифор Феотоки (Феотокис) (1731-1800) – выдающийся российский архиепископ, богослов, духовный писатель, выразитель византийской свято-отеческой традиции, один из основоположников единоверия, устроитель семинарий в Полтаве и Астрахани. Погребен в Московском Свято-Даниловом монастыре, где последние семь с половиной лет жизни провел на покое. Он родился на острове Керкира (Корфу). В октябре 1799 года прибыл в Полтаву и здесь в течение семи лет исполнял послушание архиепископа Славянского и Херсонского. Одним из его главных дел стало устройство Полтавской семинарии. Ректором был назначен протоиерей Иоаким Яновский (впоследствии – архимандрит Иероним, настоятель Новгород-Северского монастыря). Семинария была всесословной; архиепископ сам подбирал преподавателей. Кроме своего прямого назначения, семинария давала прочные языковедческие и искусствоведческие знания. – См.: Архиепископ Никифор Феотокис. Благословенным христианам Греции и России. – М., 2006.

4. Чеботарев Харитон Андреевич (1746-1815) – профессор истории, нравов, учения и красноречия, первый ректор Императорского Московского университета, второй великий надзиратель в Московской масонской ложе.

Выдающийся ученый конца XVIII – начала XIX века. Вместе с профессором красноречия А.А. Барсовым по Высочайшему распоряжению занимался в 1786 году выписками из всех известных на то время русских летописей, находящихся в Синодальной и Патриаршей библиотеках и в Московском государственном архиве, для составления Записок о русской истории. Среди торжественных речей его можно выделить: «Слово об изобретении искусства письма» (1776), «О способах и путях, ведущих к Просвещению» (1779), «Величие, могущество и слава России» (1795), «Глас радования в селениях российских» (1797) и другие. См. о нем: Снегирев И.М. Старина русской земли // Русский Архив. – 1866. – № 4-5.

5. Семенова Екатерина Семеновна, Семенова «большая» (1786-1849), в замужестве княгиня Гагарина; Семенова «меньшая» – Семенова Нимфидора Семеновна, младшая сестра Е.С. Семеновой (Гагариной), актриса оперной труппы Императорских театров. – См.: Зотов Р.М. И мои воспоминания о театре // Пантеон. – 1840. – Т. 1-2; Плетнев П.А. Драматическое искусство г-жи Семе-

новой // Соревнователь просвещения и благотворения. – 1822. – Ч. XVIII.

6. См.: Аксаков С.Т. Яков Емельянович Шущерин и современные ему театральные знаменитости / Аксаков С.Т. Семейная хроника. – СПб., 1879.

7. Вольтер (псевд.), Франсуа-Мари-Аруэ (1694-1778) – литератор-политик, философ, страстный антиклерикал, пропагандист крайнего атеизма и революционных идей. Автор сатирических памфлетов, «Генриады» (1723), «Философских писем», «Истолкования основ ньютоновской философии», трагедий, комедий, повестей, «Опыта о нравах и духе народов», «Истории парижского парламента», «Философского словаря» и многочисленных статей «Энциклопедии». – См. о нем: Михайловский Н. Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель // Отечественные Записки. – 1870. – № 9-10; Радлов Э. Вольтер и Руссо // Вопросы философии и психологии. – 1890. – Кн. 2; Барсов Н. Вольтер. – СПб., 1892; Митяков А. Вольтер как глава и тип французского неверия. – СПб., 1895.

8. Позже, работая в должности писца в Департаменте Народного просвещения и с 1814 года письмоводителем в Государственной канцелярии, Гнедич по поручению начальства пишет речи для торжественных собраний. На открытие Императорской Публичной библиотеки 2(14) января 1814 года он вместе с прочими своими стихами читает речь «О причинах, замедляющих успехи отечественной словесности», в которой осуждает увлечение русскими литераторами французской словесностью, «развращенной философией» Вольтера, пренебрежение родным славянским языком и равнодушие российского общества к своей национальной культуре.

9. Лансон Г. Вольтер / Пер. с фр. О.В. Лановой и Фред. Педенон. Под ред. и с предисловием приват-доцента графа де Ла-Барт. – М., 1911. – С. 89.

10. Francisque Vial. Voltaire / Биография-характеристика. Пер. с фр. Н. Хмельницкой. – СПб., 1913. – С. 17.

11. См.: Языков Д.Д. Вольтер в русской литературе / Под знаменем науки. Сборник. – М., 1902; Терновский Ф. Русское вольнодумство при Екатерине II / Труды Киевской Духовной Академии. – 1868. – № 3-7; Наумов Ив. Вольтерианство русских писателей Екатерининского времени. – СПб., 1876; Рачинский А. Русские ценители Гельвеция в XVIII в. // Русский Вестник. – 1876. – № 5; Павлов-Сильванский Н.П. Очерки по русской истории XVIII-XIX вв. – СПб., 1910; П-ов Н.К. Вольтер и вольтерианство в России / Энциклопедический словарь: В 12 т. – Т. 3.

12. См.: Брикнер А.Г. История Екатерины Второй (СПб., 1885). – М., 2004. – С. 560-576, 591-599, 610-656.

13. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – М., 1964. – Т. 6. – С. 27.

14. См.: Батюшков Ф.Д. Пушкин и Расин. – СПб., 1900.

15. Гнедич Н.И. Танкред, трагедия в 5 действиях. – СПб., 1816. – С. 6.

16. О развитии литературных направлений в России см.: Курилов А.С. Классицизм, Романтизм и Сентиментализм (К вопросу о концепциях и хронологии литературно-художественного развития) // Филологические науки, 2001. – № 6. – С. 43-45.

С. А. Щербаков

ОБРАЗЫ ЕЛИ И СОСНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

По выражению В.В. Дементьева, «всю творческую жизнь Николай Клюев был верен «лесному обету», но верен не белоствольным есенинским березкам, а сумрачным, обонезским, потаенным елям» [1].

Рассматривая семантику образа ели, прежде всего приходится говорить о его погребальной символике (она тесно связана с символикой церковной): «Много на нашем погосте крестов! / Новый под елью, как сторож, стоит, / Ладаном ель над родимым кадит» [2] (с. 359). Визуально очертания ели сами напоминают крест благодаря широким ветвям, растущим поперечно стволу, поэтому сравнения ели с крестом встречаются у многих поэтов, например, у Александра Блока: «И ель крестом, крестом багряным / Кладет на даль воздушный крест...», «То не ели, не тонкие ели / На закате подьют кресты...» [3].

Характерно это уподобление и для Клюева. Сквозной образ ели-креста проходит через все творчество поэта, встречаясь как в стихотворениях: «На просини елей кресты, / Узорно литье и чеканка...» (с. 198), «У лосиного лога / Четки елей кресты» (с. 247), так и в поэме «Песнь о великой матери». В последнем случае Клюев рисует развернутую и печальную картину гибели деревьев при вырубке леса, поэтому «ель – крестом с Петром распятым / Вниз головой – брада на ветре...» (с. 785) соседствует здесь с сосной «в растерзанной фелони» (с. 784), красой пустынь – березынькой, рыдающей ольхой и кедром – поверженным орлом.

Помимо креста внешний облик ели ассоциируется у Клюева с церковными одеяниями. Одну из главных своих поэтических заслуг он видит в том, что «рассказал, как еловые куколи / Осеняют солдатскую мать...» (с. 298). Еще раз еловый куколь встречается в поэме «Песнь о великой матери». Там же ель предстает «как схимник в манатейке...» (с. 727). Епитрахилью покрывает «ёлушка» солдатскую мать в стихотворении «Что ты, нивушка, чернёшенька...». Эта же «ёлушка» выглядит «срубом-церковкой, в пуще забытою» (с. 272). Уподобление ели «церковке» перекликается с фольклорной традицией. Известный исследователь славянского фольклора Т.А. Агапкина указывает, что «среди <...> сюжетов, связывающих ель и церковь как сакральные фольклорные центры, — многочисленны русские предания о явлении на елях чудотворных икон...» [4]. Клюев не ограничивается сакрализацией внешнего облика ели, сакрально и её «содержание», то есть еловые доски, используемые в иконописи: «На злате еловом» «пречудный Андрей, что зовется Рублевым» «списал ... Два Плача и Троицын Дар» (с. 226).

Ель, в отличие от сосны или березы, порода теневыносливая и образует густые леса, в которых даже в ясный летний день сумрачно и сыро. Поэтому и в народной, и в литературной поэтических традициях эмоционально ель воспринимается как дерево печальное, несмотря на то что оно участвует в праздновании таких радостных праздников, как Рождество и Новый год. Надо полагать, введенный Петром обычай вносить в дом и украшать елку еще слишком нов, чтобы оказать решающее влияние на формирование её образа. У Клюева ель обычно предстает в своих традиционно-поэтических изобразительных эпитетах: «понурай» (с.149), «дремучей» (с. 179), «сумрачною» (с. 191), «печаль-

ной» (с. 268), «косматой» (с. 566) и т. д. Наложила свой отпечаток на образ ели и «сама страдающая языковая стихия» [5] поэта. В неравном противостоянии живой природы и «горделиво» дымящегося завода («Песни Вытегорской коммуны»), в котором участвует несколько видов растений: шиповник, малина, слезоцвет, «песнолиственный» дуб – и в котором сам лирический герой выступает в качестве пророка, ели отводится священная роль знамени:

*Листопадно ковровые шали
Спеленали осеннюю землю.
До полуночи ели рыдали,
На закате же, слезные, дремлют.*

*И еловая тень на дороге –
Чернокрылое вещее знамя,
Опаленными злыми устами
Провещаю о яростном Боге (с. 442).*

Образ ели у Клюева многогранен. Она бывает не только традиционно-печальной, но и «изюмной, лакомой» (с. 305), «родимой» (с. 314). Последнее определение наиболее точно выражает эмоциональное восприятие лирическим героем Клюева данного образа. Ель для него не просто одна из пород деревьев, она вспоила его «смолистой едкой титькой» (с. 761). Она и кормилица, и колыбель, и будущий памятник, и духовный наставник («О ели, родимые ели...»):

*О ели, родимые ели, –
Раздумий и ран колыбели,
Пир брачный и памятник мой,
На вашей коре отпечатки,
От губ моих жизней зачатки,
Стихов недомысленный рой.*

*Вы грели меня и питали
И клятвой великой связали –
Любить Тишину-Богомать.
Я верен лесному обету... (с. 314 – 315)*

В финале стихотворения «пресвитеры-ели» выступают еще и в роли священнослужителей, омывающих «в волхвующей хвойной купели» «громовых сынов» (с. 316).

В стихотворении «Он придет! Он придет! И содрогнутся горы...» именно ель выполняет функцию Мирового древа, под которым будет вершить суд «огневой царь»: «Он воссядет под елью, как море, гремучей / На слепящий престол...» (с. 156). То же происходит в стихотворении «Мать», только в нем под елью восседает один из языческих славянских богов «старый Велес». Сама же Мать, в чьих «косах седых / Священный сумрак лесов...» (с. 486) сохраняет «еловый дух»; таким образом, возникает параллель Мать – ель, и, следовательно, ели отводится роль прародительницы лесов.

На центральное место ели как Мирового древа в «избьяном космосе» Клюева в контексте стихотворения «Поддонный псалом» указал латвийский исследователь его творчества Э.Б. Мекш: «“Ель покоя” предстает у Клюева как знак Мирового Древа, которое одновременно является и Древом Жизни, содер-

жащим в славянской мифологии семантику дерева животного, райского дерева <...> Ключевский знак Мирового Древа связан с природной флорой Русского Севера, но не только. Ель – символ полисемантический, аллюзивно сопряженный с различными явлениями жизни человека» [6]. Проявляется полисемантизм ели как Древа жизни и в «Избяных песнях». В первом стихотворении цикла, рисуя картину похоронного обряда, поэт уподобляет ели саму избу: «Хрущатой рядниной покрыли скамью, / На одр положили родитель мою. / Как ель под пилою вздохнула изба...» (с. 233). Здесь в триединстве сходятся самые дорогие для него понятия: мать, изба и дерево. Вздох, означающий печаль и смирение перед ликом неизбежной Судьбы принадлежит одновременно избе и ели. Во втором стихотворении цикла мотив неизбежного продолжается: «Лишь в предрассветный час лесной снотворной влагой / На избяную тварь нисходит угомон, / Как будто нет Судьбы...» (с. 234), а в четвертом – возвращается, пересекаясь с мотивом Древа жизни: «Время, как шашель, в углу и за печкой / Дерево жизни буравит, сосет...» (с. 235). В девятом стихотворении цикла ель и осеняет собой «избяной космос»: «Над избою кресты благосенных вершин...» (с. 240), и помогает справлять поминки по усопшей матушке в облике плакальщицы: «Ель гнусавит псалом: "Яко воск от огня"» (с. 240). Сопрягается она и с такими важными в жизни северного крестьянина занятиями, как рыбная ловля: «Как лещ наживку, ловят ели / Луча янтарную иглу» (с. 241) и охота: «Ель на полдень шумит – к звероловным вестям» (с. 244).

Впечатляюще широк у Ключева ряд женских обликов ели. «Схимницы-ели» (с. 169) сопутствуют лирическому герою «на старом погосте», за стеной его дома задремали «старухи-ели» (с. 198), богомольно суровую избу стережет хмурая «привратница-ель» (с. 210). Высокую миссию утешительницы скорбящих исполняет «ель-кружевница трущобная» (с. 272): под ней молится о сыне «солдатская матушка»; с этой елью лирический герой даже вступает в диалог, расспрашивая, отчего она выглядит «верижницей строгою» (с. 272). В цикле «Поэту Сергею Есенину» с есенинским образом девушки-березки перекликается «ёлушка-сестрица». В стихотворении «Кому бы сказку рассказать...» ель является в облике няни, что вызывает аллюзию уже с пушкинским образом доброй старушки. Однако в этом же стихотворении ель, причем рождественская, выступает и в мало привлекательном для русского народного сознания обличье колдуньи:

*На Рождество закличет елку
Впоследки погостить в подвал,
И за любовь лесной бокал
Осушим мы, как хлябь болотца.
Колдунья будет млет, колоться,
Пылать от ревности зеленой... (с. 598 – 599)*

Ключевский образ елки-колдуньи хотя и не имеет ничего общего с традиционно отрицательным фольклорным персонажем, тем не менее, лежит в русле фольклорной и литературной традиций, в которых отношение к этому дереву неоднозначно, что нашло свое отражение и в научной литературе. Одни исследователи на первый план выносят «сакральность» и охранительные функции ели («еловые ветки широко использовали для защиты строений и культурного пространства от непогоды» [3]). Другие – ее демоническое начало: «Если стройные сосны выпрямляют все окружающее пространство, то ели своей мохнатос-

тью искривляют его, вызывают мысли о нечистой силе, живущей на отшибе, в глухомани... <...> ...разлапистые, пушистые, взлохмаченные ели кажутся воплощением темных, спутанных зарослей души, выражением бредового, дремучего состояния мира» [7]. Подобное отношение к ели выражено и в известном стихотворении Федора Сологуба «Чертовы качели»: «В тени косматой ели / Над шумною рекой / Качает черт качели / Мохнатою рукой» [8].

Помимо густой, низко опущенной кроны «демонизации» ели способствует еще одна ее биологическая особенность, а именно поверхностная корневая система. Из-за этого старые еловые деревья часто выворачиваются ветром с корнями, образуя труднопроходимую чащу, которую народное сознание определило местом обитания разной лесной нечисти. Сам Клюев, однако, нечисть в свой лесной храм не допускал и видел в ели, несмотря на ее «сумрачность» и «печальность», исключительно светлое начало. В поэме «Песнь о великой матери» мужики, которых поэт называет «ратью еловой», собираясь на войну «с супостатом», «отпарили в банях житейскую прель, / Чтоб лоснилась душенька – росная ель» (с. 796). Ель, таким образом, символизирует здесь чистоту мужичьей души подобно тому, как букет белых цветов символизирует чистоту невесты.

Еще одна часто встречаемая в клюевских текстах древесная порода – сосна. О ее значимости в поэтическом мире Клюева можно судить уже по названию его первой книги – «Сосен перезвон». Стихотворение, цитата из которого вынесена в название, напрямую связывает сосны с «райскими кринами»:

*Я был прекрасен и крылат
В богоотческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был услугою и пищей.*

*Блаженной родины лишен
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий в пустыне (с. 135).*

Сами же сосны связывают небесное богоотческое жилище с земной юдолью, представляющей лирическому герою пустыней. При этом речь, надо полагать, идет о пустыне духовной, так как очевидна аллюзивная связь между словосочетанием «молитвословящий в пустыне» и библейским выражением «вопиющий в пустыне».

Мотив звенящих сосен в различных словосочетаниях: «звонницы сосен» (с. 283), «сосновый звон» (с. 297, 557), «сосен перезвоны» (с. 575) – повторяется и в других произведениях поэта, что лежит в русле литературной традиции. От «соснового перезвона» отталкивается В.Г. Базанов, говоря о «музыкальной наполненности стиха» Клюева: «Вся оркестровка стиха как бы идет навстречу «сосновому перезвону» и шелесту осенней листвы («В златотканые дни сентября...») Глухое, протяжное «щ» смягчается с помощью успокаивающего, убаюкивающего «ш». Шипящие вторят друг другу, образуя один плавный звуковой поток:

*Ветер-сторож следы старины
Замечает листвой шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чащей!*

Такая неподвижная тишина (шелест листвы, шепот сосен) длится до первого волнения соснового бора. И тогда с удвоенной силой начинает звучать раскатистое «у», предвещая непогоду и донося до слуха людские думы:

*Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!* [9]

Если в стихотворении «В златотканые дни сентября...» сосны разгадывают думы лирического героя, то в более позднем – «Древний новгородский ветер...» – сами становятся его думами:

*Думы – олонецкие сосны
С киноварной мякотью коры,
С тульей от шапки Ивана-царевича на макушке,
С шумом гусяного перелета,
С плеском окуньим в излуче ветвей –
Живут в моих книгах до вечной поры* (с. 494).

Уподобление дум соснам не случайно: среди других древесных пород сосна, благодаря прямизне ствола и высоко поднятой кроне, выделяется особой «возвышенностью» и устремленностью к небу. Поэтому у Ключева наряду с соснами и думами, сопрягаются сосны и небеса: «Помелища сосен / В небеса стучат», (с. 270), «Как ясны были сосны в небе!» (с. 718) и др.

Является сосна и важной составляющей «избяного космоса», в первую очередь потому, что именно сосновые бревна используются при строительстве северно-русской избы. Однако у Ключева они связаны и на мистическом уровне: «У избы есть корни; она как кондовая сосна: хвоя на ней ржаная, а шишки золотом сычены» [10]. Включена сосна и в сакральный перечень ценностей «мужицкого рая», в пробольшевицком стихотворении 1917 года «Красная песня» так проявляется «крестьянский уклон» поэта: «Ставьте ж свечи Мужичькому Спасу! / <...> / Китеж-град, ладан Саровских сосен – / Вот наш рай вожделенный, родной» (с. 353).

«Три тысячи сосен – печальных сестер...» (с. 705) явились «лесными невестами», из чьих «телес Богородице в дар / Смиранные руки» (с. 705) «женихов» (мужиков во главе с мастером Акимом) возвели храм в поэме «Песнь о великой матери». Строительство храма – один из центральных эпизодов поэмы и, пожалуй, самый светлый: деревья здесь не гибнут в неравной борьбе с железом, как то происходит при строительстве железной дороги или завода, а «готовятся к венцу» и «на каждой сосне воссияла свеча...» (с. 706). Знаменательно, что слово «венец» выступает здесь сразу в двух своих значениях: как предмет церковной утвари и как элемент бревенчатого сруба. Вершится священный обряд «венчания» деревьев-невест и мастеров-женихов:

*Меж тем мужики, отложив топоры,
Склонили колени у мхов и коры
И крепко молились, прося у лесов
Укладистых матиц, кокор и столпов.
Поднялся Аким и топор окрестил:
«Ну, братцы, радейте, сколь пота и сил!»* (с. 706)

Моление «перед ликом лесов» еще раз демонстрирует пантеизм Ключева, языческую основу его мировидения. В то же время это и христианская молитва – после нее Аким крестит топор, благословляя «железо» на богоугодное дело.

Соснам-невестам уготована высокая участь, равная деяниям святых великомучеников. Кроме того, через них Ключев проводит в поэме свою давнюю эзотерическую идею о вознесении Руси, прошедшей через муки искупления грехов и собственную гибель:

*И многие годы на страх сатане
Вы будете плакать и петь в тишине!
Руда ваших ран, малый паз и сучец
Увидят Руси осиянной конец,
Чтоб снова в нездешнем безбольном краю
Найти лебединую радость свою! (с. 705)*

Жертве трех тысяч сестер-сосен, легших под топор, чтобы стать Господней церковью, предшествует и создает с ней единое семантическое пространство Господнее деяние по выращиванию неуязвимой для пил сосны в ответ на молитву умершего от непосильного труда заводского паренька: «Там, где гарь и копоть злая,/ Вырасти сосну!» («Вечер ржавой позолотой...», с. 371-372). В кроне этой сосны Господь созидает «хвойный Арарат», чтобы он «приютил <...> ковчеги» праведных Ноев. Как и ель, сосна у Ключева часто выступает в облике Мирового древа. Однако ель в большей мере претендует на роль языческого Мирового древа, сосна же ближе к образу Мирового древа в его христианской интерпретации.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что ель и сосна – основные лесобразующие породы северно-русской тайги – явились для Ключева такими же поэтическими символами родины, каким для поэтов срединной Руси стала береза.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дементьев В.В. Исповедь земли: Слово о российской поэзии. – М., 1980. – С. 48.
2. Ключев Н.А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. – СПб., 1999. – С. 391. Далее ссылки на это издание с указанием номера страницы в скобках.
3. Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. – М.; Л., 1960. – Т. 3. – С. 258, 262.
4. Агапкина Т.А. Ель // Живая старина. – 1997. – № 1. – С. 5.
5. Лазарев В. Об особенностях творческого развития Николая Ключева и их современном восприятии // Николай Ключев: Исследования и материалы. – М., 1997. – С. 17.
6. Мекш Э.Б. Аз Бог Ведаю Глагол Добра («Избяной космос» как будущность России в «Поддонном псалме» Н. Ключева) // Славянские Чтения. I. – Даугавпилс-Резекне, 2000. – С. 178.
7. Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. – М., 1990. – С. 81, 83.
8. Русская поэзия. XX век. Антология / Под ред. В.А. Кострова. – М., 1999. – С. 32.
9. Базанов В.Г. С родного берега: О поэзии Николая Ключева. – Л., 1990. – С. 118-119.
10. Ключев Н.А. Словесное древо: Проза. – СПб., 2003. – С. 153, 51.

ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ

О.М. Байзакова

«ИСТОРИЯ О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ МОСКОВСКОМ» КАК ПРИМЕР РАЗРУШЕНИЯ САКРАЛЬНОГО ОБРАЗА ЦАРЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XVI ВЕКА

«История о великом князе Московском» – книга, написанная князем Андреем Курбским во время польского «бескоролья» 1573 г. и имевшая прямую политическую цель – не допустить избрания Ивана IV на польский престол [1].

До Курбского в русской литературе не было жизнеописания обличительного характера. Были жития святых, ставившие себе целью прославление своего героя. В поисках способов обличительного изложения жизни Грозного он отталкивается от житийного жанра и строит его жизнеописание как своеобразное антижитие [2]. Князь Андрей Курбский написал «Историю о великом князе Московском», так же как и три своих послания царю Ивану Грозному, в Литве. Позиция Курбского, заявленная им в посланиях государю, проявилась в «Истории о великом князе Московском» с другой стороны. Князь Андрей, аристократ и потомок ярославских князей, был за возвращение к порядкам, бывшим при его предках, стремился к сохранению привилегий для бояр. Несмотря на логически убедительную речь Курбского в «Истории...», в произведении сквозит субъективная и во многом пристрастная оценка личности и деятельности царя. Несмотря на название, которое указывает лишь на одного государя, из произведения видно, что Курбский говорит не только о конкретном царе, но и царской власти вообще. Показывая нечестивую жизнь отца Ивана Грозного князя Василия, сомнительное по чистоте рождение царя Ивана и саму его греховную и нечестивую жизнь, князь Курбский хочет доказать, что царская власть в таком случае не может быть от Бога, не может быть священной.

Князь Андрей утверждает, что «История...» написана на основе услышанного им от «достоверных людей» и непосредственно увиденного собственными глазами. Таким образом, описание поведения царя претендует на правду. В «Истории...» Курбский отвечает на вопрос: «откуда сия приключишася такъ прежде доброму и нарочитому царю, многожды за отечество и о здравии своем не радящу, и в военныхъ вещахъ сопротивъ враговъ креста Христова труды тяжкие и беды, и безчисленные поты претерпевающу, и прежде от всех добрую славу имущему» [3]. Все корни зла и пороков царя Ивана IV лежат в его родителях. Отец царя великий князь московский Василий «против Божиихъ заповедей дерзал» и «ко многимъ злымъ и сопровъ закона Божия делом своим приложил» [4] женитьбу во второй раз, заточив пред этим свою первую жену в самый дальний монастырь. Князь Василий изображен невероятно закоренелым грешником, поскольку от этого беззакония не смогли его отговорить не

только бояре, но и «святые и преподобные <...> мнихи». Он одержим великой гордыней и жестокостью, он без зазрения совести придаёт смерти своих родственников, монахов, великих и знатных людей. Василий ведёт настолько преступную жизнь, что «лютости его скорые послушники и во всех злых по-таковницы» являются соперниками и конкурентами в этом.

Таким образом, «теперешний» царь Иван родился через поправление закона и похоть, отсюда его нынешняя жестокость. В «Истории...» в подробностях описывается, как по мере роста царя Ивана, взращивались его страсти. «Злое начало» в царе, привнесенное ему порочной жизнью его родителей, развивалось лестью и угождением ему боярами в его сластолюбии и грехе в самом раннем возрасте. С раннего возраста он начал проливать кровь животных и «также и иные многие неподобные дела творити, являющи хотящее быти немилосердное произволение в себе» [5]. Царь предстаёт перед нами на удивление жестоким человеком, и этой жестокости всячески потворствуют его бояре. Теперешнее поведение царя, как его показывает Курбский, резко контрастирует с прежним представлением людей о милосердном и кротком царе, каким он был, по заверению многих, «доброму и нарочитому». Князь Андрей в своём сочинении изображает царя с самого юного возраста одержимым самыми ужасными пороками: начиная от немилосердия и кончая жестокими убийствами даже своих родственников. Такое поведение царя идёт в разрез с представлениями народа о царе, основанными на ветхозаветном идеале. И сам Курбский, несомненно, знаком с идеальными библейскими образами ветхозаветных владык, поэтому строит «житие» Ивана Грозного от противного. В самом начале «Истории...» указывает, что цари Израиля впадали в беззакония по вине злых жён-колдуний, особенно когда брали их из других племён, то есть формально ветхозаветные властители не виноваты в своих грехах. Царь Иоанн опять же представлен в контрасте с древними владыками. Он сам и никто иной виновен в своих злодеяниях. Лесть и угождение бояр лишь оказали помощь злему началу в нём. У царя Ивана нет ни кротости и милосердия Давида, ни разума Соломона, Господь обделил его этими дарами, поскольку царь был рождён во грехе и постоянно пребывал в нём. Тем самым Курбский подчёркивает не сакральное происхождение власти Ивана IV и отсутствие Благодати Божией на нём, как Богом венчанном царе. А если власть царя не имеет священного характера, значит её можно критиковать. Хотя наверняка князь не забывал ни на мгновение слова апостола Павла: «...нет власти не Бога, существующие же сласти от Бога установлены» (Рим. 13, 1.), но, видимо, Курбский считал или хотел убедить своих читателей, что власть, сосредоточенная в руках у крайне нечестивого правителя, является властью не от Бога, а от антихриста. В таком случае с этой властью можно и нужно бороться.

Более того, князь Курбский показывает царя не как самого неблагодетельного из правителей, а хуже самого простого грешного человека, поскольку мало кто из обычных людей творит подобные злодеяния. Такое описание государя является новаторством вдвойне для литературы XVI в., поскольку, исходя из ветхозаветных представлений и литургических канонов, а также, что немаловажно, по народным представлениям, царь – это не просто человек, а «земной Бог», по словам св. Иосифа Волоцкого. А раз монарх – наместник Бога на земле, то, по древнейшим представлениям, если Господь наказывает государя, то вместе с ним страдает весь народ, всё государство. Князь лишь со-

жалеет, что Господь вместе с царём наказывает весь народ, ни в чём не повинный. По мнению автора, государь настолько переполнил чашу Божественного терпения в своих бесчисленных преступлениях, что Господь, дабы усмирить «его лютость», посылал на государство то пожары, то многочисленные нашествия варваров, которые устроили на Русской земле «неисповедимое пленение и кровопролитие» среди народа. Тогда, утверждает князь, народ осознал, что это «явственный гнев Божий» на злодеяния царя, и так велико было возмущение народа, что «царю пришлось бежать из города со всем своим двором». Это описание можно понять как нежелание царя всенародно покаяться и смириться или как обличение трусоватого царя, который боится собственного народа.

Автор указывает и на другого рода страх, который присутствует в государе. Несмотря на многочисленные пороки самодержца, из-за которых он забыл Бога, всё же он имеет страх Божий, но, как это видно из описаний Курбского, довольно примитивный и суеверный, что опять же не характеризует царя с лучшей стороны. Чтобы помочь русскому народу, Господь послал к царю священника Сильвестра, чтобы усмирить его Божественным Писанием и даже некими чудесами и знамениями: «блаженный малую присовокупляет благокознению, еюже великое зло целити умыслил». Курбский сомневается в истинности знамений Сильвестра, но утверждает, что, чтобы вразумить царя с его развращенным нравом, все средства хороши: «яко многажды и отцы повелевают слугамъ детей ужасати мечтательными страхами, и от излишнихъ игор презлых сверсников» [6]. Поведав о первоначальном «зле», породившем «зло» последующее, то есть о рождении и юности Грозного, Курбский рассказывает подробно о «двух мужах», сумевших обратить к благочестию и воинской доблести «царя юнаго и в злострастиях и в самовольствии без отца воспитанного, и преизлище (чрезвычайно) прелютото, и крови уже напившиися всякие, не токмо всехъ животных, но и человеческия...» [7]. Эти «два мужа» – новгородский «презвитер» (священник) Сильвестр, упомянувшийся выше, и «благородный юноша» Алексей Адашев; они удалили от царя товарищей его трапез, «парозитов или тунеядцев», и приблизили к нему «мужей разумных и совершенных» – «избранную раду». Происходит явное «обращение его и благочестию», и государь возносится на такую высоту, что даже соседние народы удивляются. Царь становится прилежен «молитвам же ко Богу и постомъ, и воздержанию». Сильвестр «отделяет от него всякую нечистоту и скверну, прежде ему преключшуюся от Сатаны» [8]. А премудрые и благочестивые советники государя «возбуждают царя к покаянию, исчистив сосуд его внутренний, яко подобает, ко Богу приводят и святыхъ, непорочных Христа нашего Тайн сподобляютъ» [9].

Естественным последствием доброго влияния «избранной рады» оказывались в «Истории...» военные успехи Ивана IV и, прежде всего, завоевание Казани, подробно описанное Курбским, как очевидцем и участником войны. Подобным описанием счастливых дней, которые, наконец, наступили в государстве, Курбский ещё раз доказывает, что образ жизни самодержца отражается на всей стране в целом. Господь явно обратил Свой взор на раскаявшегося грешника. Но после «преславной победы» под Казанью и «огненного недуга», овладевшим царём в 1553 г., у царя снова наступил перелом. Перелому этому содействовал бывший епископ Вассиан Топорков, посовествовавший царю, если он хочет быть самодержцем, не держать «себе советника ни единого мудрей-

шаго себя». Напитавшись «от православного епископа такового смертоносного яду», Иван IV стал приближать к себе «писарей» из «простаго всенародства» и преследовать «вельмож». Он не последовал их доброму совету продолжать войну с «бусурманами», но посчитался с их планами осторожного и мирного подчинения «Лифляндской» земли. Совет Вассиана Топоркова и влияние «презлых советников» привели к тому, что царь устранил и подверг опале Сильвестра и Адашева и начал «гонения» на своих, прежде «зело любимых» сподвижников. Вторая часть «памфлета» Курбского – перечисление уничтоженных Иваном «боярских и дворянских родов» и «священномучеников» [10].

В «Истории о великом князе Московском» Курбский доказывает, что не люди «из простого всенародства» не могут принести пользы государству, поскольку преследуют свои мелкие интересы, но и верховный правитель, погрязший в грехах ведёт государство в погибель. Тем самым отрицалась обязательная принадлежность монарху особой харизмы, благодатных даров [11]: «Царь же, аще и почтен царством, а дарований которых от Бога не получил, должен искати добраго и полезнаго совета не токмо у советников, но и у всенародных человек, понеже дар духа дается не по богатеству внешнему и по силе царства, но по правости душевной; ибо не зрит Бог на могущество и гордость, но на правость сердечную и даёт дары, сиречь елико хто всестит добрым произволением» [12]. По мнению Курбского царь – это не «земной Бог», а простой человек, который, как и все люди, нуждается в советах умных и дельных людей. Благодать Божия не даётся автоматически даже венценосной особе, неблагочестивого монарха она оставляет. Монарх, по мнению князя Андрея, должен сплотить вокруг престола лучших представителей церкви, родовитого боярства и дворянства – преданных и мудрых советников. В их числе также указаны «всенародные» люди. Некоторые исследователи понимают под этим словом тех, кто не принадлежал к среде Курбского, не входил в государев двор. Это были мелкие феодалы, купечество, посадское население. «К их мнению – гласу народа – нелишне иной раз прислушаться», – говорил князь Андрей [13].

Политическим идеалом Курбского навсегда оставалось время реформ Алексея Адашева и протопопа Сильвестра. Иван не смел «без их совету ничею же устроить или мислити» [14]. Обязанность советников – стать опорой трону, верой и правдой служить общему делу и не искать личной выгоды. Долг Самодержца – разделить с мудрыми помощниками тяжёлое бремя власти, воздать им по заслугам [15]. Андрей Курбский повторял, что «самому царю достоин бытии яко главе и любити мудрых советников своих, яко свои уды» [16]. Курбский говорил, что Грозный правит, прислушиваясь к злым и лукавым советам, которые дают придворные льстецы и клеветники, по влиянию которых Иван IV превратился в «зверя словесного», не признающего никаких пределов своей власти ни на земле, ни на небе [17]. Как замечает один из исследователей творчества князя Андрея В.В. Калугин, Курбский употребляет оксюморон «зверь словесны» не случайно. В Древней Руси «бессловесными», то есть не обладающими разумом и речью, называли животных. В отличие от них человек есть существо «словесное», наделённое разумной душой и даром слова. «Безсловесные», подчёркивал боярин, живут «чувством по естеству», а «всем словесным» людям надлежит руководствоваться «советом и рассуждением» [18]. Поступать так, как велит сама человеческая природа. «Добрые и полезные советы», которые вовремя давала царю Избранная рада, были той нравственной уздой,

которая сдерживала его от низменных страстей и направляла на богоугодный путь. Иван подчинил свой буйный нрав закону, заботился о процветании государства и благе подданных. После опалы на старых советников он, окружив себя раболепными льстецами и безродными выскочками, оказался во власти животных чувств и прихотей. Низвергая божеские и человеческие законы, потрясая до основания страну, разоряя и губя народ, Грозный «затворил... царство Русское, сиречь свободное естество человеческое, аки во адове твердыни» [19]. Он стал мучителем и кровопийцей – «зверем словесным» [20].

В своих сочинениях Курбский доходит до тяжелейшего обвинения в адрес Грозного: царство Грозного – это царство Зверя. В первых же посланиях к царю князь утверждает, что некогда благоверный и христоролюбивый государь стал «сопротивником» православию, «совесть прокаженну имущее» [21]. Одно из его писем заканчивалось тем, что в ближайшем окружении Ивана Грозного появился наушник, подобный по своим злодеяниям Антихристу. Он подстрекает монарха лить, как воду, кровь ни в чём не повинных христиан [22].

Таким образом, по мнению Андрея Курбского, правитель, которого одолевают страсти и похоти, утрачивает в себе образ Божий и превращается из истинного самодержца в «безсловесного естества человекообразное подобие» [23]. Такой царь уже не может служить нравственным примером своим верно-подданным и, следовательно, ведёт государство в тупик. Сатана, как известно, не может созидать, он лишь разрушает. «Историю...» в общем можно назвать описанием череды убийств и казней, которые совершил Иван Грозный. Иными словами, Грозный изнутри разрушает своё собственное царство. По плодам познаётся дерево, и, исходя из дел государя, можно сделать вывод, к какой стороне, к добру или злу, он принадлежит. Так, князь Курбский подводит читателя к пониманию того, плодом какого дерева является царь Иван IV. Если в посланиях Грозному князь практически голословно обвиняет государя в отпадении от Бога, то в «Истории...», показав дела царя, доказывает свою позицию. Царь уподобляется «во всемъ злостию прелютый зверь прилутейшему древнему дракану, губителю рода человеческого» [24], он не просто погубил десятки невинных людей, но дошёл в своей гордыни и преступлениях до предела. Грозный, подобно язычникам первых веков нашей эры, мучит и убивает митрополита московского Филиппа и других священнослужителей и монахов, за что Курбский его называет «зверь кровопивственный». В «Истории...» впервые в литературе Древней Руси возникает апокалиптический образ царя, поскольку государь «избрал себе пространны Антихристовъ путь,... собрал себе войско дъяволе,...и погнал церковь Божию» [25], «поправши заповеди Христа своего и отвергшися законоположения евангелского, егда не явственно обещался дияволу и ангеломъ его,... и ведый волю Царя Небесного, произвел делом всю волю сатанинскую, показующе лютость неслыханную, никогда же бывшую в Руси, над церковью Живаго Бога» [26].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. История русской литературы. XI-XVII вв. / Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. Под ред. Д.С. Лихачёва – С. 288.

2. Лихачёв Д.С. Великий путь. – С. 181-182.

3. Библиотека литературы Древней Руси. – СПб., 2001. – Т. 11. XVI век. – С. 310.

4. Там же. – С. 310.
5. Там же. – С. 314.
6. Там же. – С. 316.
7. Там же. – С. 318.
8. Там же. – С. 318.
9. Там же. – С. 318.
10. Лихачёв Д.С. Великий путь. – С. 288-289.
11. Калугин В.В. «Православное истинное христианское самодержавство»
Ивана Грозного. – С. 13-14.
12. Русская историческая библиотека. – СПб., 1914. –Т. 31. – С. 214-215.
13. Калугин В.В. Указ. соч. – С.14.
14. Русская историческая библиотека. – Т. 31. – С. 221.
15. Калугин В.В. Цит. соч. – С. 15.
16. Русская историческая библиотека. – Т. 31. – С. 211.
17. Там же. – С. 155.
18. Там же. – Т. 31. – С. 172.
19. Переписка Ивана грозного с Андреем Курбским / Текст подгот. Я.С.
Лурье и Ю.Д. Рыков. – М., 1993. – С. 110, 374.
20. Калугин В.В. «Православное истинное...» – С. 15-16.
21. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подгот. Я.С.
Лурье и Ю.Д. Рыков. – М., 1993. – С. 7.
22. Там же. – С. 9.
23. Максим Грек. Сочинения. – Казань, 1860. – Ч. 2. – С. 157-158.
24. Библиотека литературы Древней Руси. – С. 444.
25. Там же. – С. 474.
26. Там же. – С. 476.

«ВИНТЕРСПЕЛЬТ» А. АНДЕРША: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНА

«Винтерспельт» (1974) – роман Андерша, в котором он впервые обращается к непосредственному описанию событий второй мировой войны: для того чтобы осознать военное прошлое и осмыслить его с учетом современности ФРГ, потребовалась временная дистанция.

Время описываемых в романе событий – октябрь 1944 года, место – небольшой участок в районе Эйфеля, на границе Германии и Бельгии, где расположились противостоящие друг другу немецкие и американские войска. Андерш показывает период военного затишья перед кровопролитной битвой, получившей впоследствии название «Арденнское сражение». В исторические координаты Андерш вводит вымышленные события, в которых участвуют герои, различными путями оказавшиеся в Эйфеле перед сражением. Действие романа строится вокруг попытки реализовать план немецкого майора Йозефа Динклагера о передаче своего батальона американской роте под командованием капитана Джона Кимброу. Реализации плана содействуют люди разного возраста и профессий: берлинская учительница Кэте Ленк, бывший коммунист Венцель Хайншток, профессор искусств Бруно Шефольд.

При этом Андерш в первой же главе сообщает читателю, что содержание романа – фикция. На протяжении всего повествования автор выдвигает различные варианты развития событий, предлагая читателю самому домыслить, что могло бы произойти.

Все вышесказанное позволяет выделить в «Винтерспельте» три повествовательных плана: *конкретно-исторический*, представленный реальными событиями второй мировой войны; *индивидуально-психологический*, отражающий своеобразное видение и понимание всего происходящего во времени и пространстве героями; *игровой*, выраженный в создании автором фикции на разных уровнях произведения.

В «Винтерспельте» двенадцать больших глав, включающих в себе множество более мелких. Те, в свою очередь, состоят из фрагментов многочисленных документов, мемуаров, биографий, переплетающихся с воспоминаниями героев, – роман представляет собой гигантский коллаж. Такой способ подачи материала позволяет показать, что происходит в разных местах в одно и то же время, так как, по словам И.В. Млечиной, «создавая эстетически сложную структуру, вмещающую в себя различные элементы, он <Андерш – Е.Г.> пытается найти возможность раскрыть временное и пространственное многообразие действительности» [1]. Поэтому в «Винтерспельте» одним из способов, способствующих целостному восприятию произведения, является использование пространственных параметров.

В основе последнего романа Андерша, так же как и в других его произведениях, лежит противопоставление *внутреннего* и *внешнего* миров. При этом *внешний* мир представлен через конкретно-исторический план, передающий атмосферу военного времени, а *внутренний* – через индивидуально-психологический, отражающий душевные переживания героев. *Внешний* мир ограни-

чивает свободу их действий: герои оказываются в условиях, продиктованных военным положением. Андерш пытается преодолеть такое противопоставление при помощи «контрафактной силы фиктивной смоделированной ситуации», которая возражает «фактам и необратимости исторического развития, соответствующего результату “так-и-никак-иначе”» [2]. Автор придумывает возможное развитие событий, чтобы показать, как человек может преодолеть обстоятельства военного времени. По мнению В. Ведекинг, «последний роман Андерша делает возможным другое движение истории, выраженное в утопическом, абстрактном акте сопротивления» [3]. Именно этот акт демонстрирует возможность достойного противостояния героев *внешнему* миру. Таким образом, главная тема произведений Андерша остается неизменной – «борьба за сохранение гуманности в человеке в мире, воспринимаемом *a priori* враждебно» [4].

Пространство имеет в «Винтерспельте» огромное значение, так как определяет многие аспекты повествования. Как пишет Ю.М. Лотман, «сама конструкция миропорядка неизбежно мыслится на основе некоторой пространственной структуры, организующей все другие ее уровни» [5]. В романе конкретно-исторический план, в котором пространственная организация представлена стратегическим расположением войск, взаимодействует с индивидуально-психологическим планом – местоположение военных подразделений группирует героев. Поэтому в «Винтерспельте» пространство имеет трехфазную структуру, при этом каждую из сторон представляет населенный пункт: немецкие позиции – Винтерспельт, американские позиции – Маспельт, «ничейную землю» – хутор Хеммерес, расположенный между ними. Каждый персонаж принадлежит к одной из этих пространственных зон.

При всем различии жизненных дорог героев, их пути пересеклись на *границе* между Бельгией и Германией, представленной рекой Ур, по обе стороны которой и расположились противостоящие войска. Но если в конкретно-историческом плане военные режимы по разные стороны *границы* противопоставлены друг другу, то в индивидуально-психологическом плане происходит их отождествление – подчеркивается схожесть жизненных установок людей, находящихся на разных берегах. Подобную ситуацию можно прокомментировать словами Ю.М. Лотмана: «Мир за чертой враждебен (или просто “чужой”), но ничем в принципе не отличается от “моего”» [6]. Говоря о *границе* между войсками, нужно отметить признание авторской фикции у Андерша. В одном из своих отступлений он признается, что в романе «линия фронта с исторической точки зрения воспроизведена неточно... И если в начале октября мы еще оставляем американцев на западном берегу Ура, то лишь ради того, чтобы придать плану майора Динклагге большую топографическую достоверность» [7].

Винтепспельт и Маспельт, выступающие в качестве крайних точек оппозиции, изолированы друг от друга, в соответствии с тем, что «основным свойством границы является нарушение непрерывности пространства, ее недоступность» [8]. В романе этими свойствами наделена река, протекающая между позициями. Особый статус такой *границы*, по мнению В.Н. Топорова, «в значительной степени объясняется пограничной функцией реки: она рубеж... между своим пространством и чужим». Поэтому важную роль играет «переправа через реку», рассматриваемая как «обретение нового статуса, новой жизни» [9].

В связи с изолированным положением противостоящих армий особое зна-

чение приобретает Хеммерес – «ничейная земля». Этот хутор выступает как *пограничное* место: именно на этом участке существует единственная возможность перехода через линию фронта – такова функция этого *пограничного* пространства в конкретно-историческом плане романа. В индивидуально-психологическом плане переход *пограничного* пространства по мосту через реку символизирует преодоление определенного жизненного рубежа. Такая интерпретация возможна потому, что «мост изофункционален пути, точнее, – наиболее сложной его части... Наведение моста открывает путь из старого пространства и времени к новому, из одного цикла в другой, как бы из одной жизни в другую, новую» [10], – считает В.Н. Топоров. Поэтому именно переправа через мост означает отказ от прошлого, реализацию выбора, *бегство* в новую жизнь.

Как мы видим, в «Винтерспельте» реализация выбора у героя связана с *бегством*. В последнем романе писателя этот пространственный параметр представлен двояко: как стремление Кэте покинуть Германию и как попытка Динклагге передать свой батальон американской стороне.

Бегство определяет судьбу Кэте: вынужденная весной 1944 года уехать из Берлина, она оказывается в положении нелегального эмигранта. Ее душевная неустроенность выражается в частой смене мест пребывания. По мнению И.В. Млечиной, такая «тяга к перемене мест – ...характерное для героев Андерша стремление коренным образом изменить собственную жизнь, вариация темы бегства, исчезновения, поиска свободы и собственной идентичности» [11]. Стремление героини к открытому пространству выражается в ее желании преодолевать *границы*. Винтерспельт привлекает ее внимание как ближайший к западному рубежу населенный пункт: единственный шаг означает переход *границы*. И Кэте делает этот шаг, перейдя через мост к американским войскам, осуществив тем самым свой выбор до конца.

Анализируя ситуацию *бегства* в последнем романе Андерша, Н.Н. Козлова отмечает, что «герои “Винтерспельта” изображаются традиционно в ситуации переходной, но речь здесь идет не столько о бегстве, о сохранении индивидуальной свободы, сколько о возможности такого нравственного выбора, который ведет к практическим действиям, к изменению сложившихся обстоятельств, хода исторических событий» [12]. Наиболее полно этот тезис иллюстрирует неудавшееся дезертирство Динклагге, его своеобразное *бегство*. Попытка Динклагге реализовать свой выбор, сдать батальон противнику, терпит фиаско. Тем не менее, его поступок приобретает особую значимость в конкретно-историческом плане: в условиях переменчивого положения на линии фронта решение одного человека было способно изменить ход военных сражений, предотвратив начало Арденнского сражения. Как пишет П. Бекес, «автору удается немало усилить тему попытки бегства, и именно благодаря структуре фиктивно смоделированной ситуации эта тема объективируется» [13].

Подведем итоги. Пространственные параметры в «Винтерспельте», объединяя три повествовательных плана, способствуют созданию целостности произведения. Противопоставление *внутреннего* и *внешнего* миров, которое автор пытается преодолеть при помощи фиктивной смоделированной ситуации, выступает как основа романа. В «Винтерспельте» пространство, имеющее трехфазную структуру, группирует героев. При этом актуализируются такие пространственные параметры как *граница*, и *пограничное* место. Описание бегства, с одной стороны, продолжает традицию изображения этого параметра

в романах Андерша (бегство Кэте), с другой стороны, демонстрирует его новые стороны (бегство Динклагге).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Млечина И. В. Человек перед выбором. Творчество А. Андерша. – М., 1998. – С. 155.
2. Bekes P. Wie man sich verweigert // A. Andersch. – München: Text + Kritik, 1979. – S. 54.
3. Wehdeking V. A. Andersch. – Stuttgart: Metzler, 1983. – S. 134.
4. Gorlich P. A. Anderschs "Winterspelt" – Modell humanistischer Bewahrung in existenzieller Situation // Wiss. Ztschr. der Pad. Hochschule. – Potsdam, 1988. – Jg. 32, H. 2. – S. 233.
5. Лотман Ю.М. Семиотика пространства / Ю.М. Лотман. Избранные статьи. – Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 389.
6. Там же. – С. 395.
7. Андерш А. Винтерспельт: Роман / Пер. с нем. И. Млечиной. – М., 1979. – С. 115.
8. Лотман Ю.М. Семиотика пространства / Ю.М. Лотман. Избранные статьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 398.
9. Мифы народов мира. Энциклопедия (в 2-х томах) / Гл. ред. С.А. Токарев. – М., 1988. – Т. 2. – С. 376.
10. Там же. – 176-177.
11. Млечина И. В. Человек перед выбором. Творчество А. Андерша. – М., 1998. – С. 135.
12. Козлова Н.Н. Проблема нравственного выбора и личной ответственности в романах А. Андерша // Проблемы нравственности в зарубежной литературе. – Пермь, 1990. – С. 89-90.
13. Bekes P. Wie man sich verweigert // A. Andersch. – München: Text + Kritik, 1979. – S. 57.

ЖИЗНЬ СТИВЕНА ДЕДАЛА КАК ПРОСТРАНСТВО ПУТИ В РОМАНЕ ДЖ. ДЖОЙСА «ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ»

Начало литературной деятельности Джойса совпало с важными социально-психологическими изменениями в обществе и с культурным возрождением Ирландии. Несомненное влияние на писателя оказали новые веяния в искусстве Западной Европы конца XIX – начала XX вв. Постепенный отход от реалистической классической традиции отразился в трансформации жанра и тематики, а также в выдвижении нового типа героя. Определяющим началом во всех видах искусства эпохи модернизма становится индивидуализм, обусловивший эгоцентрическую точку зрения, которая завоевывает господствующие позиции на всех уровнях художественного текста.

Одним из важнейших средств моделирования мира и формирования художественных смыслов во всех романах Джойса является художественное пространство. Типология жанровых форм романа, предложенная М.М. Бахтиным, включала в себя 4 типа: роман странствований, роман испытания героя, роман биографический (автобиографический), роман воспитания. Основой для данной классификации послужили особенности хронотопа и образа героя. Роман воспитания предполагает подвижность как героя, так и мира, который выступает в роли школы для героя. Переход от одной эпохи к другой происходит не параллельно, а через героя, вынуждая его меняться вместе с изменениями устоев мира. «В таком романе становления во весь рост встанут проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблема творческой инициативности» [1], – утверждал исследователь. Анализ эволюции конкретных пространственных моделей приводит к выявлению важнейших этических принципов, определяющих жизненный путь главного героя.

В центре всего художественного мира романа находится Стивен Дедал, чья точка зрения определяет знаковую (положительную/отрицательную) окрашенность пространства, а также его качественные изменения на различных уровнях.

Одним из основных топосов, с которым связаны все события романа, становится топос *дома*, принадлежащий к важнейшим компонентам пространственной организации художественного мира. Дом как культурная универсалия символизирует освоенное, покоренное, «одомашненное» пространство, где человек чувствует себя в безопасности. Устройство дома во всяком произведении, претендующем на художественное обобщение, в какой-то степени является моделью миропорядка. Именно пространство «родного дома» во всех своих проявлениях (строение, семья, род, страна) становится основой идиллического хронотопа, описанного М.М. Бахтиным [2]. В романе Джойса пространство уютного и теплого дома, в котором живут несколько поколений одной семьи, неразрывно связано с окружающей его местностью (курортным городком и маленькими деревушками), являющейся его органичным продолжением.

Первым локусом «вне дома» [3] становится для героя романа иезуитский колледж Клонгоуз, пространство которого противопоставлено «родному дому» на различных уровнях: описания еды, запаха, света, цвета и тепла / холода

формируют бинарную оппозицию «свой» / «чужой», соотносимую в тексте романа с противопоставлением «приятный» / «неприятный». Негативная характеристика пространства колледжа подчеркнута введением зооморфных образов inferнального и хтонического происхождения, а также образом туннеля как одного из типичных локусов отрицательного пространства.

Агрессивная враждебность колледжа по отношению к Стивену Дедалу проявляется не только в моральных и физических унижениях его со стороны соучеников и преподавателей, но и в их мировоззренческой позиции, ставящей под сомнение жизненные принципы, внушенные ему в семье. Несмотря на физическую слабость и отсутствие поддержки домашних, герою удается преодолеть влияние атмосферы колледжа, а затем кардинально изменить свое положение в нем, став из жертвы победителем и всеобщим героем. Героическая атмосфера его собственных «баталий», усиленная рассказами о доблестных предках и героях литературных произведений, окружает идиллию родного пространства, восстановленную его возвращением домой.

«Одомашненностью» характеризуется тоpos самого курортного городка Блэкрока: его пространство объединяет в себе такие же теплые, уютные и наполненные радостью дома, как дом Дедалов. Наличие парка и садов, а также палисадников перед домами дополняет образ города как воплощения жизненной гармонии. Этот пространственно-временной отрезок жизни Стивена становится эталоном идеального мира, ностальгия по которому сопровождает его на протяжении всего романа.

Переезд семьи Дедалов из Блэкрока в Дублин является не только физическим перемещением, но оказывается точкой отсчета в качественном изменении пространства дома и окончательном разрушении идиллии в сознании Стивена. В столице локус дома не образует оппозиции с внешним пространством, оказываясь незащищенным и несостоятельным. Семантика ущерба, разрушения «домоустройства» реализуется в различных художественных деталях: бессильный огонь в камине, вещи, потерявшие свои привычные места, остающиеся без присмотра дети. Постепенное «умирание» дома фиксируется как на уровне изменений в облике самого строения, так и во взаимоотношениях членов семьи. Становясь причиной отчуждения героя, переезд инициирует его «коренное превращение, равносильное гибели одного человека и рождению другого» [4]. Даже наличие денег, которые Стивен получает в качестве награды за лучшее сочинение, не способно изменить общего вектора разрушительных тенденций. Дом не может быть воссоздан, знаком чего становится в романе образ потухшего камина. Другие локусы, принимающие на себя некоторые качественные характеристики «родного дома», оказываются «ложными домами», не имеющими истинного тепла и не дающими Стивену состояния покоя и чувства защищенности. Герой обречен на бездомность, поскольку тот идеальный истинный дом, который оказался утерянным, не существует нигде в мире и потому не может быть найден.

Перемены, произошедшие в доме после банкротства отца и переезда семьи в Дублин, обусловили трансформацию той системы ценностей, которая определяла собой мировоззрение героя в целом. Системой религиозных норм и обрядов у мальчика были сформированы четкие структуры мировоззрения, в основе которых лежит оппозиция «грех» / «добродетель», коррелирующая с оппозицией «профанное» / «сакральное».

Внутренний протест против унижительных для него перемен, презрение к бедности и убожеству всей окружающей его жизни вызывают в душе героя ожесточение, злобу и чувство отчужденности не только от дома, но и от религии и церкви, чувство, которое усиливается от «бунта крови» и чтения произведений бунтарей-романтиков. Теперь уже ничто не может удержать его душу от пренебрежения к тому, что принадлежало к категории высших ценностей. Превращение алтаря церкви в театральные кулисы и сцену для школьного спектакля во время великого праздника Святой Троицы в корне изменяет не только восприятие Стивеном храмового пространства, но и его отношение к самим религиозным канонам. Глубокий разрыв между жизнью его души и жизнью церкви толкает героя на поиски новой святыни, и то, чего он так старался избежать, теперь становится целью его ежевечерних блужданий по городу.

«Ночной мир» города, открывшийся Стивену, являет собой особое пространство, «этот травестированный мир ориентирован на антиповедение» [5]. Здесь все правила и законы жизни общества оборачиваются своей противоположностью: главным временем жизнедеятельности является ночь, а женщины демонстрируют свое желание предаться плотским утехам. Очень скоро Стивен понимает, что «святыня», где служат лишь потребностям плоти, не может стать для него воплощением высокого пространства.

Толчком к возвращению в лоно церкви становятся духовные упражнения, во время которых описания ада побуждают героя к точному и правдивому осознанию местонахождения его души. Это не вселенная звездной ночи, где хаос еще не переродился в космос, а лишь темная пещера, глубина которой все увеличивается. Осознание собственного местоположения не на вершине, а внизу, не как первого, а как последнего, а главное – видение предназначенного ему вонючего и омерзительного пустыря-ада заставляет Стивена осознать свое положение «блудного сына» и решиться на исповедь и причастие. Теперь его целью становится вершина добродетелей, дорогу к которой он пытается вымостить постами, молитвами и самоистязанием. Однако такое самоотречение не избавляет его от сомнений и искушений и не способствует превращению пустыря в райский сад. Пройдя столь долгий путь от веры через полное греховное падение к полному же посвящению себя религии, Стивен получает предложение вступить в орден иезуитов, где перед ним будут открыты все возможности для блестящей карьеры.

Орден, как символ полного порядка и подчиненности, выступает в романе в качестве прямой альтернативы разрушенному дому и семье Дедалов. Однако дом Божий, как и дом отцовский, не может больше стать для героя пространством идеальным, истинным, сакральным. Свобода, к которой он стремится, должна быть абсолютной, как абсолютной должна быть красота, окружающая его в этом локусе свободы.

Так сакральное пространство, которое в начале романа является пространством церкви, религии и веры, в конце произведения соотносится с пространством искусства, одним из главных символов которого становится образ башни из слоновой кости. Этот локус высшей ценностной наполненности, появляющийся в самом начале произведения, трансформируется вместе с мировоззрением главного героя. Возникнув в сознании Стивена как воплощение всего самого прекрасного в молитве Деве Марии (Башня из слоновой кости, Золотой чертог) и будучи символом неприступной чистоты, он перестает существовать,

как только герой утрачивает чистоту души, и возникает вновь лишь в конце романа, но уже в противоположном качестве – как прибежище для художника в его бегстве от действительности. «Эта башня воплощает в себе презрение к Божьему миру, и в некотором смысле задумана повыше Вавилонской» [6].

Стремясь выковать из грязи повседневности золото духовной красоты, герой лишь воздвигает ширмы из прекрасных фраз и описаний, чтобы заслонить убожество мира, в котором он обречен пребывать. Чувственно переживая слова и образы, которые сверкают и переливаются перед его мысленным взором, подобно белой слоновой кости, Стивен Дедал не осознает бесцельности своих блужданий в создаваемом им самим словесном лабиринте. Несмотря на все физические перемещения, он так и остается в башне из слоновой кости, «которая превращает изгнанность в избранность» [7], а после чаемого «полета» иммиграции ему приходится очнуться в башне Мортелло, в которой начинается действие «Улисса».

Таким образом, в своем стремлении «отряхнуть со своих ног пыль» родного пространства, ставшего для него чужим и профанным, по дороге к воплощению всего высокого и прекрасного – Таре, мифической столице древней Ирландии, Стивен отвергает именно те столпы, на которых она зиждется: семью, веру и отчизну. Бросая в конце: «Не буду служить!», он не только попирает христианский идеал, уподобляясь Люциферу, но также ирландский национальный идеал, призывающий поставить родину выше собственных эгоистических целей. «Убежденность в том, что ирландцы неизбежно предадут друг друга, является одним из его оправданий, чтобы умыть руки от судьбы своей родной страны» [8]. Считая, что «кратчайшая дорога в Тару лежит через Холихед» [9], герой начинает путь, уводящий его все дальше от так страстно желаемой цели.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С. 203.
2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
3. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М., 1996. – С. 189.
4. Краснощекова Е. «Семейное счастье» в контексте русского «романа воспитания» // Русская литература. – 1996. – №2. – С. 15.
5. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. – М., 1996. – С. 189.
6. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост. В.Андреева и др. – М., 2001. – С. 75.
7. Там же.
8. Parrinder, P. Joyce's *Portrait* and the Proof of the Oracle // James Joyce's *A Portrait*. Ed. by Harold Bloom. – NY – Philadelphia, 1988. – P. 139.
9. Joyce, J. *A Portrait of the Artist as a Young Man*. – London, 1992. – P. 220. (Холихед – порт в Уэлсе, откуда отправлялись корабли в Европу).

С.А. Моркунцов

ТРАДИЦИИ Г.ДЖ. УЭЛЛСА В РУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

Данная работа представляет собой попытку раскрытия основных принципов и форм влияния традиций Г. Дж. Уэллса на фантастическую прозу В. Брюсова, А. Богданова и П. Инфантьева, так как в начале XX века русская фантастика, вслед за мировой обращается к жанру рациональной социально-философской фантастики, в которой четко прослеживается «уэллсовская традиция»: «В литературе прошлой, дореволюционной, – писал Е.И. Замятин в работе «Герберт Уэллс», – образцов социальной и научной фантастики почти нет: едва ли не единственными представителями этого жанра окажутся рассказ «Жидкое солнце» Куприна и роман Богданова «Красная звезда» [1]. К ним же, по-нашему мнению, можно отнести и повесть В. Брюсова «Республика Южного Креста».

Основным художественным принципом рациональной фантастики является выдвинутый и обоснованный Уэллсом принцип единства рациональной фантастической посылки: «Я поступал очень просто: подмечал в окружающей меня жизни какую-либо черту и, следуя биологическим методам, мысленно развивал ее до логического конца... Мне хотелось несколько напугать людей, моих современников, и таким образом заставить подумать, как предупредить подобный ход развития» [2]. Фантастические произведения Уэллса («Война миров» (1898), «Когда спящий проснется» (1897), «Первые люди на луне» (1901), «Война в воздухе» (1908); А. Богданова «Красная звезда» (1906) и «Инженер Мэнни» (1912), а также повести В. Брюсова «Республика Южного Креста» (1907) и П. Инфантьева «На другой планете» (1901) построены на единстве фантастической посылки, по принципу «а что, если», при котором все сюжетные события являются следствиями развития одного единственного допущения, изображающего будущее как воплощение преувеличенных тенденций настоящего. Рациональная фантастическая посылка в произведениях Уэллса, Брюсова, Богданова и Инфантьева основана на вере в научно-технический прогресс, который изменит общественную действительность.

Герой повести Инфантьева г-н Роша установил связь с марсианами, передавшими ему технологию создания «астрономической акустической трубы», которая предназначена не только для общения с Марсом, но и позволяет перемещаться в пространстве на большие расстояния, посредством гипноза. Сон как средство передвижения в пространстве и времени Уэллс использует в романе «Когда спящий проснется» (1899) и рассказе «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» (1895): Грэхэм впадает в летаргический сон от переутомления и неприятностей и попадает в будущее (проспал 203 года); а Дэвидсон может видеть события, происходящие в восьми тысячах миль от него, оказавшись во время грозы между двумя полюсами большого электромагнита, получил сотрясение сетчатки глаз, а «благодаря перемене поля силы при ударе молнии тело может жить в одном месте, а зрение бродить в другом» [3]. Таким образом, рациональная посылка «сна» и у Уэллса, и у Инфантьева научно мотивированы. Очень близки по описанию и фрагменты, посвященные состоянию сна.

Средством передвижения в пространстве в романе Богданова «Красная

звезда» служат этеронефы, принцип действия которых основан на «минус-материи» – «такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается Землей, Солнцем и другими знакомыми нам телами» [4]. Этот же принцип передвижения в пространстве присутствует и в романе Уэллса «Первые люди на луне» (1901), ученый Кейвор создает вещество, непроницаемое для притяжения, которое «защищает от тяготения Солнца или притяжения Земли» [5], используя его для постройки межпланетного летательного аппарата (минус-притяжение – САМ). В обоих произведениях космические аппараты выглядят как шар. Уэллс: «шар ... сделан из стали и выложен толстым стеклом» [6]; Богданов: «это был почти шар со сглаженным сегментом внизу ... и стекло ...» [7]. Описания полета и ощущение невесомости совпадают в этих романах. Также совпадают описания аэропилов Уэллса в романе «Когда спящий проснется» и гандол у Богданова в «Красной Звезде». Но фантазия Уэллса превосходит богдановскую. Если Богданов изображает стереоскопический кинематограф, то в романе Уэллса «Когда спящий проснется» – телевидение. Рациональная посылка, содержащаяся в произведениях Уэллса и Брюсова, предполагает раскрытие возможностей технического прогресса будущей цивилизации. В своих взглядах на техническую революцию они сходятся полностью и считают, что, несмотря на все преимущества, она несет разрушение. Все эти элементы фантастического служат у Уэллса, Брюсова и Богданова одному – дать возможность писателям перейти к изображению не статичной, а динамичной «будущей», «марсианской» и т. п. социальной реальности, рисуемой их воображением и предопределенной их собственной философской позицией.

В будущем, описанном Уэллсом, Богдановым и Брюсовым, есть капиталисты, рабочие, города, машины. Только капиталисты стали сильнее и корыстнее, рабочие потеряли остатки свободы, города стали больше, машины убыстрили ход. Все сделалось больше, быстрее, выразительней. Грэхэм, герой романа Уэллса «Когда спящий проснется» (1897), погружается в летаргический сон простым человеком, а просыпается «Правителем Земли». За время сна, продолжавшегося 203 года, доставшийся Грэхэму капитал, опека над которым была поручена общественному совету, состоявшему из «не только способных, но почти гениальных дельцов» [8] приумножился в миллионы раз, что позволило Совету Опекунов завладеть всей собственностью мира и управлять Землей от имени Грехема-«Спящего». Дни демократии миновали, «выборы стали простой формальностью, <...> пережитком древности» [9], на планете властвует всемогущий капитал, «сила в руках у тех, кто владеет капиталом» [10]. У Брюсова Трест сталелитейных заводов за 40 лет в пределах Южного полярного круга образовал Республику, влияние совета директоров Треста в международных отношениях огромно, его решения могли разорить целые страны, «цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле» [11]. Конституция Республики «по внешним признакам казалась осуществлением крайнего народовластия» [12], всеобщее голосование, Законодательная Палата Республики лишь прикрывали самодержавную тиранию Совета директоров Треста. Изображая общество будущего марсиан, Богданов описывает не только его структуру, принципы функционирования, но и представляет нам динамику его развития; цивилизация марсиан не статична, а динамична. Социальная реальность близкая современному Богданову общества, в котором также царствует капитал и монополии, описана в романе «Инженер

Мэнни» (1912), а ее развитие в будущем раскрывает роман «Красная звезда» (1906). У Богданова тресты капиталистов объединяются в Совет Синдикатов, а в среде рабочих появляются сначала союзы труда, а затем – Совет Федерации Великих Работ. Совет Федерации Великих Работ с помощью разоблачений Нэтти уничтожает власть крупного капитала, а затем начинает борьбу с обществом и демократическими институтами. В романе Уэллса «Когда спящий проснется» Острог с помощью Грэхэма свержает власть Совета Опекунов, устанавливается власть «аристократии ума», но, как и у Богданова, это не меняет положения рабочих. Таким образом, Уэллс, Богданов и Брюсов в описаниях будущего допускают, что дальнейшее развитие монополистического капитализма породит век всевластия капитала и приведет к уничтожению демократии.

Технический прогресс, развитие средств сообщения и информационных технологий способствовали появлению единых глобальных цивилизаций, основанных на промышленном производстве, как в романе Уэллса и в повести Брюсова, так и в произведении Богданова. В условиях роста индустрии крестьянство не выдержало конкуренции и исчезло, а урбанизация поглотила мир. Поэтому рабочие в романах «Когда спящий проснется», «Красная звезда» и повести «Республика Южного Креста» составляют основную часть общества будущего. Жизнь рабочих Уэллса, Брюсова и пролетариата у Богданова нормирована и регламентирована. Уэллс изображает эту тенденцию посредством Рабочей компании – «надел синее – до смерти не снять». Средством нормирования у Богданова выступает статистика. Рабочие у Брюсова ничем не отличаются от «синих рабочих» Уэллса, не имеют денежного вознаграждения за свой труд и обеспечиваются пожизненной пенсией, только если не покинут Республику. Жизнь граждан нормирована до мельчайших подробностей. Общество будущего Уэллса, Брюсова и Богданова жестко дифференцировано по признаку «элита – низы».

Закрытость социальной структуры в романе «Когда спящий проснется» предопределена системой образования: аристократии доступны фонографы, которые читают лекции «О влиянии Платона и Свифта на любовные увлечения Шелли, Шезлита и Бёрнса», обучение «низов» предполагает только воспитание послушания и трудолюбия, ведь их в недалеком будущем ждет работа, а излишнее обучение заменено внушением, гипнотические сеансы позволяют внушить «нужные знания», как в процессе обучения «аристократии», так и для выполнения механических операций рабочими, которые «превращаются в безукоризненно точные машины, свободные от всяких мыслей и увлечений. Недоступность образования низшим классам также является причиной социального расслоения и в романе «Инженер Мэнни», и в повести «На другой планете».

Еще одним последствием «научно-технического прогресса», изменяющего общество, становится нивелировка личности и исчезновение искусства как средства выражения индивидуального. Город Наслаждений Уэллса и Звездный город Брюсова нужны государствам будущего для того, чтобы общество забыло о духовном совершенствовании, а стремилось бы к плотским утехам, впадая в животное состояние. Диктатурам капитала Уэллса, Брюсова и пролетариата Богданова в романе «Красная звезда» необходимо не общество, состоящее из индивидуальностей, а управляемая толпа.

Кроме этого, заявляет о себе общая идея о крови как средстве омоложе-

ния и поддержания организма марсиан, раскрываемая и в «Войне миров», и в «Красной звезде».

Еще более интересны параллели в изображении облика марсиан в повести «На другой планете» и романе «Война миров», а также подводных существ в рассказе «В бездне» Уэллса. При конструировании их образов Инфантьев и Уэллс опирались на принцип естественного отбора и борьбы за существование, демонстрируя общую для них приверженность идеям дарвинизма.

Таким образом, в анализируемых произведениях мы обнаруживаем следующие общие черты: описание развития общества, личности, техники, использование биологизаторского метода, идей эволюционизма, совпадения в изображении средств передвижения, принципов их движения, структуры общества, роли личности, ее нивелировки в условиях диктатуры и «социального рая». Это позволяет говорить о влиянии традиции Г. Дж. Уэллса на сюжетно-композиционную структуру романов А. Богданова «Инженер Мэнни» и «Красная звезда», повестей В. Брюсова «Республика Южного Креста» и П. Инфантьева «На другой планете».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Замятин Е.И. Герберт Уэллс. – Петербург, 1922. – С. 47.
2. Майский И.М. Б. Шоу и другие: Воспоминания. – М., 1967. – С. 89.
3. Уэллс Г. Дж. Собрание сочинений. В 15 т. – М., 1964. – Т. 2. – С. 413. (Далее : Уэллс Г. Дж. Собр. соч. и указание тома и страницы).
4. Брюсов В.Я. Республика Южного Креста // Библиотека русской фантастики: В 24 т. – М, 1998. –Т. 10. – С. 308. (Далее: БРФ и указание страницы).
5. Уэллс Г.Дж. Собр. соч. – Т. 3. – С. 16 .
6. Там же. – С. 27.
7. БРФ. – С. 316-317.
8. Уэллс Г. Дж. Собр. соч. – Т.2. – С. 276.
9. Уэллс Г. Дж. Собр. соч. –Т.2. – С. 278.
10. Там же . – С. 318.
11. БРФ. – С. 119.
12. БРФ. – С. 117.

Е.В. Никольский

«ЦАРСКОЕ ПОСОЛЬСТВО» ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЁВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРАВООПИСАТЕЛЬНЫЙ РОМАН

В правоописательных произведениях изображается замкнутый в себе мир, для них типично устойчивое изображение какой-либо общественной среды; акцент сделан на социально-психологических, predetermined спецификой эпохи, чертах характера и мировоззрения представителей определенного класса или сословия, что приводит к свойственной исторической беллетристике некоторой «неполноте в изображении человека, но не мешает качеству эстетического восприятия» [1]. В «Царском посольстве» Вс. Соловьёва сосредоточивается внимание на обрисовке взглядов и нравов кремлевской аристократии, бытовых сторон жизни русского общества XVII века.

В одном из писем Вс. Соловьёва его близкому другу А.А. Александрову, датированном 1893 годом, содержится следующее упоминание о произведении: «<...> По отзывам людей, это самый веселый и игривый, самый интересный из моих романов; сам я его люблю очень, и писал его *con amore* <...> и вынашивал долго» [2]. В основе сюжета лежит подлинная история русской миссии в Венецию во второй половине XVII века во главе с А.П. Чемодановым. По словам историка А.Н. Сахарова, можно с полным основанием думать, что Всеволод Соловьёв внимательно изучил материал посольства, история которого легла в основу сюжета очередного романа, ведь в архивах сохранился «наказ» Алексея Михайловича, «отчет <...> о путешествии и выполнении царского поручения, все сопутствующие документы» [4]. Это нашло отражение в диалоге царя с послами: «<...> Все сие обсудить надобно в приказе, там тебе, по нашим мыслям, подробный наказ напишут» [5].

В романе повествуется о том, как в 1656 году на Аппенинский полуостров морским путем (вокруг Скандинавии и берегов Западной Европы) на нанятых голландских судах русский государь направил своих дипломатов во главе с воеводой Алексеем Чемодановым и дьяком Иваном Постниковым.

Главный герой, молодой боярин Александр Залесский, жизнь которого и история его любви описаны в первой части произведения, – оказывается в центре напряженной международной интриги, возникшей во дворцах Варшавы, Ливорно, Венеции, в хорамах московского посольского приказа.

Действие второй части произведения происходит в Италии, в Ливорно, во Флоренции и Венеции. «Автор хорошо знает жизнь позднесредневековых <...> городов, чувствуется, что он сам прошел той же дорогой, которой путешествовал его герой Чемоданов» [6].

Романист весьма кратко описал международную обстановку того времени: интерес Москвы к Венецианской республике вызван сложным комплексом противоречий между итальянскими государствами и Турцией, Турцией и Россией, нестабильной обстановкой в Восточной Европе, бесконечными русско-польскими противоречиями.

В произведении трижды, хотя и коротко, упоминается о задачах дипломатической миссии. Однако не государственные проблемы московского правительства интересуют прозаика. Вс. Соловьёв показал, как происходило

знакомство русских людей с западным миром, как с помощью добродушного юмора (что типично для нравоописательного жанра) [7] и искреннейшей любознательности осуществлялся своеобразный «диалог культур».

Каждый народ, как известно, имеет свои внешние и внутренние формы и нормы бытия, выработанные ходом развития культуры. Оттого смешным обычно представляется все то, что таким нормам не соответствует. Поэтому так часто курьезными кажутся иностранцы. Чем резче их отличия от соотечественников, тем вероятнее комическая ситуация.

Культ «ничегонеделания» и постоянная праздность итальянского народа вызывают противоречивые чувства у московских послов. С одной стороны, воспитанные в традициях старорусского православного благочестия, они крайне негативно воспринимали то, что видели вокруг себя. С другой, русские послы оказались очень падки на соблазны итальянской жизни, впоследствии, пройдя церковное очищение и покаяние, они вспоминали свои развлечения, как «греховное падение и мимолетное дьявольское наваждение» [5: 213].

Московиты потрясены обликом западного мира. С большим юмором автор описывает переживания русских людей при виде заморских чудес, разного рода курьезные ситуации, в которых они оказывались по незнанию местных порядков: «<...> Приноровиться к итальянскому обращению москвичам было трудно, почти даже совсем невозможно. <...> Когда послы выезжали осматривать городские достопримечательности или вообще показывались на улицах, вокруг них собирались толпы народа, разглядывали их без всякой церемонии, нисколько не стесняясь, подсмеивались над ними» [5: 107]. Все в русских людях казалось итальянцам комичным. Говорили, что московиты живут очень грязно и спят где попало, объедаются рыбой так, что все пропитано рыбным запахом, упиваются водкой. «Между тем, одежда на них всегда оказывается чистой и красивой, и пьяными их никто не видел» [5: 107].

Примечательны определения, которые дают русские дипломаты отдельным явлениям итальянской светской жизни: «шабаш» [5: 110], «позорище греховное» [5: 111], «нехристи, басурманы» [5: 111], «грех» [5: 126], «дьявольское наущение» [5: 126], «черные хари» [5: 152], «поганое место» [5: 160]. Своеобразны и характеристики, сделанные московскими дипломатами в отношении итальянских женщин: «голошей, голоруки», [5: 111], «бесстыжие озорницы» [5: 112], «срамницы» [5: 113], «пучеглазая дьяволица» [5: 113], «богомерзкие обезьяны» [5: 178]. В то же время герои (хотя и редко) положительно высказываются об итальянцах: «<...> Знатно проживают. <...> Добрый народ, вежливый, жаль вот, что немцы и басурманы!» [5: 124].

Однако не столько само посольство в этом произведении становится центром повествования (как бы ни были замечательны и забавны приключения послов), а описание быта последних лет допетровской, «дремотной» Руси. Старый мир представлен на примере двух враждующих боярских родов, двух соседей, Залесских и Чемодановых, своеобразных «монтекки» и «капулетти» с берегов Москвы-реки.

Бояре Залесский и Чемоданов – типичные представители старой Москвы, автор характеризует их как хороших отцов, истовых служителей своего монарха. С одной стороны, они неглупы, честны, простодушны. С другой – чванливые, спесивые феодалы, жесткие и хитрые, когда затрагиваются коренные интересы их фамильной чести. И даже сам царь не в силах сбить с них

спесь, на которой замешана их вражда, так мешающая исполнению обязанностей государственной важности. В доме того и другого одинаково скользят безропотные жены и послушные дети. Вот характеристика внутрисемейных отношений старших Залесских: «Изредка он, по обычаю и для порядка, приступал к супружескому учению, то есть давал волю рукам своим, <...> она никогда не поднимала криков и воплей, <...> нужно отдать справедливость Никите – он «учил» жену крайне редко, всего три-четыре раза в год, да и то под пьяную руку» [5: 14].

Интеллектуальный кругозор обеих семей крайне скуден; их образование ограничивалось умением читать и писать, изучением основных молитв и скудными сведениями из истории и географии. Например, в Венеции Чемоданов в диалоге с Александром Залесским говорит: «О-о-о пера <...> не слыхал я что – то о таком звере» [5: 160]. В разговоре со Ртищевым старший Залесский заявляет: «<...> никаких тальянских стран я не знаю, что за такая птица – дук – не ведаю» [5: 78]. А вот реакция его супруги, узнавшей о том, что их сын направлен по воле монарха в далекую Италию: «Антонида Галактионовна <...> в голос вопила, окруженная перепуганными служанками. Она поняла, <...> что Санюшку царь посылает к басурманам на погибель, <...> что будут рвать нехристи на части и кидать его тело белое черному воронью» [5: 79]. Священник лубянской феодосеевской церкви отец Савва, тупой фанатик и мракобес, пользовался у Залесских весьма большим авторитетом, несмотря на то, что распространял популярные у будущих староверов бредни и побасенки: «Придет поп Савва, скажет, что народился антихрист» [5: 34]. Или: «Неведомая странница <...> рассказывает, что в городе Капите летает змей огненный, и что поповская корова отелилась теленком о трех головах, и теленок этот говорит человеческим языком» [5: 34], и боярыня всему верит.

Эти же люди выражали недовольство свое по поводу исправления святителем Никоном богослужебных книг и по поводу того, что «антиохийский патриарх Макарий и прочие восточные архиереи к нам наехали, да сговорясь с <...> Никоном в Успенском соборе при всем народе православном объявили, что тремя перстами креститься подобает, и тех, кто двумя перстами крестится, всенародной предали анафеме» [5: 38].

Однако, несмотря на упорное сопротивление консервативной части общества, постепенно происходило обновление российской жизни, а вместе со всеми новшествами приходили иные культурные традиции, понимание необходимости перемен в жизни страны.

«Царское посольство» Вс. Соловьёв посвятил любимому периоду русской истории – Московской Руси XVII века, к которому он ранее обращался в своем «теремном триптихе».

В этом романе, безусловно, присутствуют два художественно-тематических пласта. Во-первых, юмористически колоритное и красочное описание приключений русских послов в сказочной для них Италии; во-вторых, воспроизведение быта и нравов, социально-психологических и религиозных конфликтов и противоречий эпохи царя Алексея Михайловича «Тишайшего». Все это позволяет нам рассматривать «Царское посольство» как исторический нраво-описательный роман.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чернец Л.В. Литературные жанры. – М., 1982. – С. 115.
2. РГАЛИ. Ф.2, оп. 1, ед. хр. 735., л. 3, об.
3. Сахаров А.Н. Предисловие // Соловьёв Вс. Царское посольство. – М., 1994. – С. 4.
4. Там же. – С. 7.
5. Соловьёв Вс. Царское посольство. – М., 1994. – С. 70. В дальнейшем текст романа цитируется по этому изданию, в скобках указывается страница
6. Сахаров А.Н. Указ. Соч. – С. 6
7. Чернец Л.В. Указ. Соч. – С. 135.
8. Вс. Соловьёв использует такое написание этого имени.

Т.В. Перфильева

**«ОН СО МНОЙ, ТОЖЕ НАШ, САМЫЙ РУССКИЙ, ИЗ САРОВА...»
(СЕРАФИМ САРОВСКИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ
ИВАНА ШМЕЛЕВА)**

Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков, переломные эпохи в истории России, оказались освящены именем преподобного Серафима Саровского. Обретение святых мощей и второе их обретение в 1991 г., благоговейное перенесение их по Русской земле в Дивеево; причисление великого Чудотворца к лику святых в начале прошлого столетия (1903) и Серафимовские торжества 2003–2004 годов, посвященные столетию прославления угодника Божия, 170-летию его блаженной кончины и 250-летию со дня рождения, – эти символические в своем параллелизме события оказали колоссальное воздействие не только на жизнь Русской Церкви, но и всего общества.

Образ Саровского Чудотворца воплощался в народно-поэтическом творчестве еще до официального прославления его как святого, и устная словесность сохраняет традиции почитания и воспевания батюшки Серафима по сей день. Духовные стихи, посвященные ему, легенды о его житии и служении, паломнические рассказы фольклористы записывают в России, Белоруссии, на Украине и в других странах [1]. Стихи бытуют в устном исполнении, встречаются также в рукописных сборниках. Так, летом 2000 года исследователь из Санкт-Петербурга А.А. Чувьуров записал в селе Усть-Нем (Коми) духовный стих, посвященный Серафиму Саровскому: *«Ночка безмолвна, зрительна. Звездочки смотрят с небес. Тихо вокруг обители, тянется Саровский лес...»*. Как рассказала фольклористу исполнительница, несколько лет назад она переписала этот духовный стих из одного рукописного сборника, когда была на богослужении в Ульяновском монастыре (Усть-Куломский район). При этом она не запомнила напев (глас) и музыкальную основу стиха ей пришлось воссоздавать заново [2].

Не менее значимыми для воплощения образа святого старца явились традиции церковной книжности. Жития святого, тропари, кондаки, стихирь, прославляющие молитвенника и чудотворца Серафима Саровского, дали действенный импульс появлению светской литературы о святом Угоднике. Начало XX столетия, ознаменованное причислением Серафима к лику святых, не только «обновило» этот образ для русского религиозного сознания, но и открыло его для художественного творчества.

Литературно-художественное отражение личности и деяний святого Серафима еще не стало предметом специального научного рассмотрения. Серафимовские торжества способствовали появлению широкого потока антологий и сборников научных, мемуарных и художественных произведений о святом. Юбилейные издания [3] включили как новые научные и художественные отклики, так и тексты начала XX века, а также сочинения писателей русского зарубежья, которых образ святого сблизил в изгнании, придавая силы и надежду. Но далеко не все художественные произведения, посвященные данной теме, выявлены, собраны и осмыслены, причем речь идет даже о текстах ведущих писателей эпохи.

Так, творчество И.С. Шмелева – общепризнанного выразителя православной сущности русского характера – представлено в нескольких антологиях, посвященных Серафиму Саровскому, очерком «Милость преподобного Серафима». Документальный рассказ можно рассматривать как свидетельство чуда, явленного по молитвам святому Серафиму. Шмелев повествует о своем чудесном исцелении в 1934 г., которое укрепило его в вере, освободило от отчаяния и страха. «...Нет, я не один, у меня здесь родные души, и он со мной, тоже наш, самый русский, из Сарова, курянин по рождению, мое прибежище – моя надежда, – обращается автор в мыслях к своему истинному целителю – батюшке Серафиму. – Здесь, в этой – чужой всему во мне – Европе. Он все видит, все знает, – и все Он может. Уверенность, что Он со мной, что я в Его опеке, – могущественнейшей опеке, во мне все крепнет, влилась в меня и никогда не пропадет, я знаю» [4].

Однако обратим внимание на другое произведение И.С. Шмелева (не вошедшее в антологию, не сопровождаемое комментариями и разъяснениями в собрании сочинений) – написанный в июле 1947 г. в Париже и включенный в цикл «Заметы...» рассказ «Еловые лапы» [5].

По своей форме рассказ напоминает бытовую зарисовку – случай, даже «происшествие» в музее. Музей не назван, но, по-видимому, это учреждение занималось пропагандой «атеистических знаний», и среди прочих экспонатов здесь были выставлены под стеклом в витрине «останки из Сарова».

«День был будний, метельный, музейные посетители были редки, и появление старика, в ветхом полушубке, в лаптях-онучах, с мешком за спиной, привлекло любопытство музейских и хорошо запомнилось» (С. 275), – так начинается рассказ Шмелева, и сразу завязывается интрига: противостояние странного пришельца и представителей нового советского учреждения культуры.

«Выдававшая входные ярлычки спросила старика с удивлением: откуда он и что ему тут нужно?

Старик сказал: “из-под Сарова, пришел Батюшке Серафиму поклониться”. Сказал твердо, – видимо, знал, что не ошибся местом. На его спрос – “где тут у вас Батюшка Серафим?” – выдавальщица показала на лестницу: “там укажут”.

Как узналось после, она – “смутилась как-то... забыла приказать старику оставить мешок здесь”» (С. 276).

Оказалось, что необычный посетитель «пришел пешком, по обещанию; от Сарова верстов сот пять, шел боле месяца, “все было хорошо, задачливо”; а пришел – “по маменькину наказу, для памяти”» (С. 276).

С тех пор, как маменька отмолила больного сына, они ходили на могилку святого старца за сорок верст от дома дважды в год – поклониться тому, кто «воздвиг» мальчика, носили на могилу цветы летом, еловые лапы зимой [6].

Вкрапление в повествование реплик, словечек старика, неполный, сжатый, урезанный пересказ диалогов посетителя и «музейских» (обилие кавычек, выделяющих прямую речь) создают у читателя иллюзию присутствия при этом необычайном происшествии. Нарочитая недосказанность отдельных фраз, своего рода «эзопов» язык, которым можно намекнуть о том, о чем при новых властях говорить не дозволено, передают атмосферу 30-х годов: «А как Батюшку Серафима “взяли от нас...” – стал дознавать, куда увезли его. Верные

люди и указали, только молчать велели... Вот и пошел Батюшку искать» (С. 276). За кратким «взяли от нас...», за ироничными кавычками и многозначным многоточием – и трагедия разорения и осквернения национальной святыни (имплицитный рассказ об изъятии святых мощей преподобного Серафима и водворение их в атеистический музей), и неприятие акции безбожных властей народом, и сохранение верности вечным ценностям. Старик успел рассказать о людях, которые встречались на его паломническом пути через «безбожную» уже Россию: «И теперь хорошие люди есть, “законные”: и ночевать пускали, и покормят от скудости, и копеечки подавали – и от них чтобы поклониться Батюшке Серафиму, свечечку родимому, поставить... А то и всплакивали... – “Скажу им святое слово – ‘плачущи утешутся...’ – ан и станет им весело”» (С. 276).

В кратко переданных словах старика Шмелев сумел показать, что русские люди видели в нем странника и, возможно, своего тайного ходатая, они помогали ему найти дорогу к святым мощам, просили о них помолиться Батюшке Серафиму. Как писал И.А. Ильин, характеризуя книгу И.С. Шмелева «Богомолье», «...русский человек, уходя к святым местам через леса и степи, “уходил” ко *святым местам своего личного духа*, пробираясь через чащу своих страстей <...> Он постигал, что надо хотя бы на время оторваться, сложить с себя все и уйти в богомолье, к богомыслию. Он делал усилие, вырывался из тисков обыденной полуслепоты и шел вдаль добывать себе трудами и молитвами доступ к святости и к Богу. Богомолье! Оно выражает само естество России – и пространственное, и духовное <...> Это ее способ быть, искать, обретать и совершенствоваться. Это ее *путь к Богу*. И в этом открывается ее *святость*» [7].

Не обращая внимания на запреты «музейских», «темный человек» выполнил, что задумал – принес, как раньше на могилку, из далекого Саровского леса («любил Батюшка свой борок») «память по маменьке» еловые ветки с шишками. «Станный» посетитель крестился и молился у витрины, а затем, не приняв от «ответственной» барышни даже воды в кружке – «не, там снежку пожую» (С. 279), – усталый, но просветленный, удалился. Появился во второй раз он в августе [8] и был встречен без всякого сопротивления: «Было, как и в тот раз: поклоны и “память-радование” – еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто там ни слова не сказал старику. Он ушел с миром, благодарный. Ласково сказал барышне: “ну, милая... прощай”.

Больше не приходил» (С. 279).

«Еловые лапы» написаны Шмелевым с элементами сказа, финал произведения также роднит его со сказовой манерой. В то же время здесь имеются следы казенного, протокольного стиля (отчет о событии). Чувствуется, что после зимнего паломничества «темного», «странного» ходака в музей было «разбирательство» неординарного и недопустимого происшествия и строгое «внушение, но без особых последствий» (С. 277), о чем свидетельствуют оговорки автора при воссоздании событий.

В словесной ткани произведения сталкиваются две языковые стихии: сбивчивая речь старика, насыщенная «простецкими» словами, диалектными выражениями некнижного человека из глубинки, при этом живая и образная, – и примитивный канцелярит, советский новояз, принятый в «учреждениях» 20–30-х гг. XX века и с горькой иронией обыгранный и осмеянный в произведениях М.М. Зощенко, М.А. Булгакова, К.И. Чуковского.

Советские служащие в рассказе лишены индивидуальных черт, они названы субстантивированными прилагательными («музейские», «ответственная», «нижняя», то есть находящаяся на первом этаже) или нелепыми должностными наименованиями («барышня-пробивальщица», «выдавальщица входных ярлычков») – люди, выполняющие каждый одну определенную функцию.

Внешность странника обрисована подробно: белая борода, лапти, мешок за спиной, фигура усталого человека и неожиданно легкая, неслышная его походка. Читателю она может напомнить известный по иконам и картинам облик самого преподобного Серафима: «Старик, хоть и очень старый и согбенный, поднимался по лестнице легко и совсем неслышно, в своих лаптях. Лестница была в три колена и крутовата, и бодрость старика удивила выдавальщицу» (С. 275).

Кто же приходил в советский музей? Почему этот «странный», «темный» старик беспрепятственно смог помолиться и поклониться мощам? Поняли ли «музейские барышни», что не просто останки, «косточки», выставлены на обозрение в витрине? Скорее всего, поняли, потому что во второй раз уже любезно пустили и проводили старика, и приношение его уже было ожидаемым: «На ее вопрос – “с елочками?..” – сказал: “да, милая... еловые лапы, Батюшке Серафиму”. Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались» (С. 279). «Барышня» предстает перед читателями и перед паломником *преображенной*, тихой. Старец больше не приходил, так как достиг своей цели – доказал, чьи «косточки» лежат здесь, и дал понять, что поруганная святыня все равно не лишается святости, а поклониться ей вместе с ним приходила сама Россия, несмотря на строгость новой власти, насаждавшей новую идеологию и «новую культуру».

Вспоминаются заключительные строки поэмы Максимилиана Волошина «Святой Серафим» (1929).

«Тутошний я... Тутошний...» – из вьюги,
Из лесов, из родников, из ветра,
Шепчет старческий любовный голос.
Серафим и мертвый не покинул
Этих мест, проплавленных молитвой,
И, великое имея дерзновенье
Перед Господом, заступником остался
За Святую Русь, за грешную Россию [9].

Важно учесть, что рассказ о паломничестве к мощам угодника Божьего написан И.С. Шмелевым в 1947 г. – задолго до второго их чудесного обретения. Известны были легенды 20-х годов о тайном и внезапном исчезновении святыни, а также пророческие обещания святого Серафима возвратиться в Дивеево. Кстати, представители РИПЦ, не признавшие факта второго обретения мощей преподобного Серафима, ссылаются на молву о похищении у чекистов дивеевскими монахинями святыни и сокрытии ее [10]. Отрицая, что когда-либо мощи находились в безбожном музее, они опираются еще на такие источники, как поэтические тексты (весьма тенденциозно трактуемые) Анны Ахматовой и Надежды Павлович [11]. Если уж прибегать к такой аргументации, почему тогда игнорировать свидетельство И.С. Шмелева, автора рассказа «Еловые лапы»? Судя по сюжету рассказа, до Парижа доходили вести об акции, предпринятой большевиками. Значит, у писателя было представление о том, где сохраняется

реликвия, и, значит, у иерархов Русской Православной Церкви были все основания обращаться в Музей религии и атеизма в надежде отыскать утраченную святыню.

«Еловые лапы» – центральная часть цикла из пяти рассказов, каждый из которых одновременно был и притча, повествующая о свидетельстве присутствия русских святых и русских святынь в тогдашней грешной нашей земле, населенной «кощунниками». Не тонет в реке икона, хотя к ней привязывают груз («Врешь, есть Бог...»), пущенная пьяным красноармейцем в храм пуля отскакивает от иконы и рикошетом убивает самого стрелка («Бескрестный Лазарь»), найденная и сбереженная православная икона «выводит из ада» Соловков попавшего туда швейцарца-лютеранина («Угодники Соловецкие»). В тексте некоторых рассказов есть указание на год, когда случилось то или иное событие (1915, 1922, 1928), в «Еловых лапах» датировки нет, но угадывается то время, когда о присутствии на русской земле и заступничестве за нее перед Спасителем и Богородицей Святого Серафима задумывались Максимилиан Волошин [12] в Коктебеле и Константин Бальмонт в Капбертоне.

Стихотворение Бальмонта «Паломники» (8 января 1930 г.), не введенное, как и рассказ близкого ему в эмигрантские годы Шмелева, в корпус художественных текстов о Серафиме Саровском, заканчивается обращением к христианским святым с надеждой и мольбой:

Доколе будет кровь распятия России?
Уж всей земле бы расцветать!
Молитесь же, – молю, – паломники, святые,
Чтоб вышла к свету наша Мать! [13]

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отмечу, например, доклад проф. Ю.А. Лабынцева «Народные песнопения о преп. Серафиме Саровском у православных Белоруссии, Литвы, Польши и Украины», прочитанный на последней конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы России» (15 июня 2007).

2. См.: Чувьуров А.А. Локальные традиции в народной культуре русского Севера // Материалы IV науч. конф. «Рябининские чтения – 2003»: Сб. науч. докладов. – Петрозаводск, 2003.

3. См., например: Угодник Божий Серафим: В 2 т. – Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1993; Серафим Саровский: Задушевное слово о великом подвижнике земли русской. – М., 2002; «Радость моя...»: Книга о преподобном Серафиме, Саровском чудотворце. Житие, чудеса, духовные наставления. – М., 2002; Преподобный Серафим Саровский в XX-XXI веках: С репортажами о торжествах, посвященных 100-летию прославлению великого святого. – М., 2004.

4. Угодник Божий Серафим: В 2 т. – Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1993. – Т. 2. – С. 244.

5. См.: Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. – М., 1998. – Т. 3. Рождество в Москве: Роман. Рассказы. С. 275-279. Далее все ссылки на данное издание даются в тексте, в круглых скобках с указанием цитируемой страницы.

6. Вспомним, что 15 января – день памяти блаженной кончины Угодника, а 1 августа – день обретения мощей и прославления Святого Батюшки.

7. Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – Кн. 2. – С. 133-134.
8. Вновь обратим внимание на хронотоп рассказа: январь – август.
9. Волошин М.А. Стихотворения и поэмы. – СПб., 1995. – С. 392.
10. См.: Правда о мощах Св. Прп. Серафима Саровского Чудотворца. Из Докладной записки Комиссии по вопросам канонизации. Архиерейскому Синоду Русской Истинно-Православной Церкви о положении с Мощами Св. Прп. Серафима Саровского Чудотворца // portal-credo.ru <http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=518>
11. Имеются в виду строки стихотворения А.А. Ахматовой «Причитание» «...И выходят из обители, / Ризы древние отдав, / Чудотворцы и святители, / Опираясь на клюки. / Серафим – в леса Саровские, / Стадо сельское пасти...» (Ахматова А.А. Стихотворения и поэмы. – Л., 1977. – С. 163) и неопубликованная поэма Н. Павлович «Серафим» (РГАЛИ. Ф. 410 (Н.А. Павлович). Оп. 1. Ед. хр. 5).
12. Поэму «Святой Серафим» М. Волошин начал писать в 1919 г., в разгар братоубийственной, жестокой войны, и работал над ней вплоть до 1929 г., почти до конца жизни. И.С. Шмелев также написал свои «Заметы...» за три года до смерти. Это были их молитвы о России.
13. Константин Бальмонт – Ивану Шмелеву. Письма и стихотворения. 1926-1936. – М., 2005. – С. 193.

О.А. Платонова

ЧЕХОВСКИЕ НАЧАЛА В ПРОЗЕ И.С. ШМЕЛЕВА (ПО РАССКАЗУ И.С. ШМЕЛЕВА «СВЕТ РАЗУМА»)

Художественное восприятие И.С. Шмелевым творчества и личности А.П. Чехова привлекало внимание исследователей, отмечавших «большое влияние», оказанное на Шмелева Чеховым, существование общих тем в творчестве художников (А.П. Черников), «постижение» Шмелевым «именно чеховских приемов» ритмической организации речи и «синтаксического построения фразы» (М.М. Дунаев), использование сложных мотивных и «семантико-поэтических комплексов». Так, по мнению А.П. Черникова, раннее произведение Шмелева «Весенний шум» (1913) тематически и сюжетно восходит к чеховскому «Студенту»; М.М. Дунаев, сопоставляя рассказ Шмелева «Поденка» с повестью Чехова «Огни», отметил, что, следуя принципу объективного и беспристрастного отображения реальности, Шмелев «должен был обратиться к творчеству Чехова» [1].

Однако представляющая собой литературно-художественный феномен творческая преэминентность прозы Шмелева в ее отношении к чеховским традициям изучена недостаточно. Помимо исследования частных случаев сходства поэтических приемов, актуальным, на наш взгляд, становится выявление общих художественно-мировоззренческих закономерностей, допускавших творческое общение писателей. Открытая «духовная» направленность произведений Шмелева и, напротив, «сокрытость» религиозного переживания как характерная черта поэтики Чехова – не препятствовали творческому диалогу, «читаемому» в шмелевских текстах. К примеру, рассказ Шмелева «Почему так случилось» может быть воспринят как художественное дополнение к портрету Николая Степановича – героя чеховской «Скучной истории», а более ранние произведения писателя «Лихорадка», «Свет Разума», «На том берегу» вызывают в читательской памяти рассказы Чехова «Святою ночью», «Свирель» и другие.

Чехов воздействовал на творческое сознание Шмелева непосредственно как художник, способный передать поэзию религиозного чувства [2]. Литературно-художественные параллели в творчестве писателей обнаруживаются, благодаря глубокой связи с древнерусской книжностью, проникнутой «буквой» и «духом» Священного Писания [3] и нередко становившейся источником вдохновения обоих авторов, что создает дополнительный, «диалогизирующий фон» (М.М. Бахтин) при восприятии произведений Шмелева и Чехова. Однако рассказы Шмелева могут восприниматься не только как диалог, но и как художественный «комментарий» (И.А. Ильин) к сюжетам и образам Чехова, своеобразная трактовка, проясняющая замысел его произведения. Например, наблюдаемое в рассказе Шмелева «Два Ивана» (1924) намеренное соотнесение автором идеи ложных «огней» с повестью Чехова «Огни» (1888) позволяет, на наш взгляд, перевести вектор восприятия чеховской повести с уровня бытового или даже философского сознания читателя на духовный, религиозный уровень. В этом своеобразии понимания Шмелевым Чехова-художника, обеспечивающее созвучие образов и мотивов в творчестве двух писателей.

Таким образом, главным в преемственности шмелевского дарования по отношению к чеховскому представляются не столько отдельные случаи совпадений с Чеховым (в ритмике, стилистике), сколько «глубинное» восприятие писателем чеховской художественной традиции в целом. Создавая свою концепцию религиозного переживания, Шмелев обращался к опыту Чехова, шел по чеховскому пути. Одной из ярких иллюстраций этой точки зрения является его рассказ «Свет Разума» (1926), который, несмотря на временную дистанцию, может быть рассмотрен как творческий отклик на произведение Чехова «Святою ночью» (1886). Художественное родство этих текстов, композиционно организованных как диалоги и формирующих, в свою очередь, диалогичность их восприятия читателем, проявляет себя в комплексе взаимосвязанных мотивов. Объединяющим началом стала лежащая в основе произведений идея «постижения духовной красоты, как она выражается, до восторга, народной душой» [4], – усмотренная Шмелевым у Чехова и предлагаемая им в собственной интерпретации. Остановимся подробнее на одном из главных мотивов повествования, реализуемом в художественной ткани избранных рассказов двух авторов. Этот мотив представлен в текстах проблемой антиномии между «сердцем» и «умом», художественно разрешаемой в пользу благотворной роли «высшего сердечного разума» в жизни каждого человека.

В завуалированной форме мысль о противоречивом единстве «ума» и «сердца» в человеке намечена Чеховым в разговоре героя с мужиком на пристани (в ожидании парома). «Поехал бы, – говорит мужик, – да, признаться, пяточка на паром нет. – Я тебе дам пяточок. – Нет, благодарю покорно... Ужо на этот пяточок ты за меня там в монастыре свечку поставь... а я и тут постою...» [5]. Отказ мужика не вызывает недоумения у рассказчика, так как воспринят не внешней, рассудочной логикой, а внутренней, «сердечной». Этот мотив имеет и непосредственное звуковое сопровождение, свою волнующую «музыку». Герои рассказа «Святою ночью» отчетливо слышат, как «с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий... Мужик снял шляпу и перекрестился. – Христос воскрес! – сказал он...» [5: 94].

Как бы раскрывая чеховскую мысль, «комментируя» ее, дьякон из рассказа Шмелева прямо говорит о том, что для мужика предпочтительнее земной выгоды (получить пяточок, поехать на пароме): «Мужику на глаза икону надо, свечку надо, теплую душу надо... Храм Господень с колоколами надо!... В сердце колокола играют... А не пустоту. С колоколами я мужика до последнего неба подниму!» [2: 79]. «Игра колоколов» символизирует иную реальность, является знаком мира Горнего, воспринимаемого духовным взором человека. Таким образом, затронутая Чеховым тема вечного, непреходящего, эхом отзывается в шмелевской метафоре, которая сразу настраивает на восприятие особого рода – «сердцем», в котором «колокола играют». Мелодия церковного колокола, символизируя внутреннюю жизнь человека, становится и выражением авторской идеи, лежащей в основе повествования в обоих произведениях.

В сопровождении «бархатного звона» [5: 94] льется незатейливый рассказ чеховского героя, Иеронима, об умершем друге, обладавшем «даром акафисты писать». И характеристика его дается Чеховым снова в сопоставлении умственных и душевных человеческих качеств: «Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким был у меня этот Николай!... Ваше благородие, а ум какой светлый!...» [5: 96]. «Душа», «серд-

це» человека извечно понимаются как средоточие его веры, самых сокровенных стремлений, а «разум», рассудок – как нечто трезвое, расчетливое, способное обуздывать сердечные влечения. Отсюда распространенное, «искусно» придуманное человеком и бытующее в его сознании «противостояние» веры и рассудка, религии и науки. Творческое единодушие Шмелева и Чехова проявилось в образном строе их рассказов, где «ум» вовсе не «противостоит», не противоречит «сердцу»: согласно благоговейному отзыву Иеронима об удивительно гармоничной личности отца Николая, «светлый ум» находится как раз в созвучии с чувством. Именно в таком контексте воспринимается откровение Иеронима о мастерстве писания акафистов: «Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил» [5: 97].

Фокусируя внимание на проблеме соотношения данных составляющих в человеке, художник обнаруживает свое равнодушие к религиозно значимым вопросам. Герой рассказа Шмелева «Свет Разума», дьякон, развивает в своем монологе мысль чеховского послушника и выражает ее в логически завершенном виде: «Высший Разум – Господь в сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми. Это и это, – показал он на голову и на сердце, – но в согласовании неисповедимом. Как у Христа» [2: 86]. Символично слово «Разум» (с прописной буквы) в тексте и в самом названии шмелевского рассказа, сознательно, нет ли, но заимствованного из древнейшего памятника русской словесности. В «Слове о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона, благодарно воспевающего Божественную милость, ниспосланную славянскому народу в Святом Крещении, говорится: «... помиловал нас Бог – и воссиял в нас Свет Разума к познанию Его...» [6]. В заголовке рассказа Шмелева, таким образом, заключен глубоко религиозный смысл, дополнительные вариации которого могут прочитываться, в словах дьякона, ощущающего, как и чеховский герой, свое одиночество и жалующегося на оскудение добродетели в людях, исчезновение живой души: «А я... не знаю, куда деваться, души не стало... Я про реформацию учил – всё на уме построено! А что на уме построено – рассыплется!» [2: 76, 79]. Эта мысль напрямую соотносится с Евангельским пророчеством Спасителя, где пренебрегающий словами Божиими уподоблен «человеку безрассудному, который построил дом свой на песке...» (Мф. 7; 26-27). Лишенным рассудка является тот человек, который вознамерится создавать что-либо без Бога, отрицая тем самым свою духовную связь с Творцом. Для дьякона предметом тревоги, обусловленной опасением за духовное здоровье целого народа, нации, становится не вообще разум человеческий, а именно возгордившийся «ум», теряющий связь с Богом, а значит, – и веру, и «живое» сердце: «Ни церкви, ни икон, ни... воспылания?! Отними у народа храм – как бак остался!» [2: 78].

Таким образом, предлагая художественное решение проблемы соотношения «умственной» и «сердечной» линий, формирующих человеческую личность, Чехов, а вслед за ним Шмелев направляют читательскую мысль не в сторону углубления «противоречия» между данными категориями, а, наоборот, побуждают восстановить гармонию между ними. Наблюдаемый в прозе Шмелева творческий диалог с Чеховым способствует проявлению религиозного подтекста, скрытого в литературных созданиях «самого сложного, самого «синтетического» художника, стоявшего на перекрестке исторических эпох, эстетических систем и течений» (А.П. Черников). Творчески «комментируя»

текст Чехова посредством включения мотивов его произведений в свои, Шмелев отстаивал религиозность художественного мироощущения любимого писателя и утверждал: «...Принимать его надо сердцем...» [7: 547].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Черников А.П. И.С. Шмелев и русская классика // Художественный текст и культура. – Владимир, 2004. – С. 16; Дунаев М.М. Православие и русская литература. – М., 2003. – Т. 5. – С. 663; Куликова Е. «Light in the Darkness»: Чехов глазами Шмелева // Молодые исследователи Чехова. – М., 2001. – С. 419; и др.

2. Ильин И.А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1935–1946). – М., 2000. – С. 327.

3. Николаева С.Ю. А.П. Чехов и древнерусская культура. – Тверь, 2000; Черников А.П. Проза И.С. Шмелева: Концепция мира и человека. – Калуга, 1995; Мерцалова О.С. Древнерусские традиции в повести И.С. Шмелева «Богомолье» // Духовные начала русской словесности. – Великий Новгород, 2006. – С. 155-158; и др.

4. Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 7 (доп.). – М., 1999-2000. – С. 547. Ссылки на произведения И.С. Шмелева даются по этому изданию с указанием тома и страниц в скобках.

5. Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. (Соч.: В 18 т.) – М., 1974–1982. – Т. 5. – С. 94. Ссылки на произведения А.П. Чехова даются по этому изданию с указанием тома и страниц в скобках.

6. Иларион. Слово о Законе и Благодати // Древнерусская библиотека. – М., 2001. – С. 24.

А.Ю. Слепнёва

ТВОРЧЕСТВО ГЮНТЕРА ГРАССА И ПОЭТИКА АБСУРДА

В XX веке одной из значимых категорий философии и эстетики становится абсурд. В. В. Бычков определяет абсурд «не как отсутствие смысла, но как значимое иное, чем формально-позитивистско-материалистическая логика, уровня. Абсурд, алогизм, парадоксальность, бессмыслица, беспредметное, нефигуративное, заумь и тому подобные понятия привлекаются для обозначения творчески насыщенного потенциального хаоса бытия, который чреват множеством смыслов, всеми смыслами; для описания в сфере творчества того, что составляет его глубинные основы и не поддается формально-логическому дискурсу; в продвинутых современных философских концепциях абсурд часто осмысливается как обозначение избыточности смыслов» [1].

В 1950-е годы возникает театр абсурда, главными представителями которого стали Э. Ионеско и С. Беккет. Их драматургия строится на принципиальном алогизме действия, шокирующих приемах, абсурдной и нечленораздельной речи, немотивированных поступках. Обостренный до предела трагизм распада личности или ее уничтожения механическим абсурдным социумом, черный юмор, отчаяние, безысходность, безобразное во всех его формах – основы эмоционально-эстетического настроения театра абсурда, абсурдистской литературы.

Под влиянием театра абсурда находились драматурги Германии: В. Хильдесхаймер, К. Хубалек, Г. Грасс.

Основной смысл обращения Грасса к абсурду заключался в том, что писатель, прибегая к гротеску, к языковой игре, к варьированию действительностями и мирами, разрушает традиционные представления о разуме, рассудке, логике, порядке как незыблемых универсалиях человеческого бытия, пытается с помощью эпатажа или шока активизировать человеческое сознание, направляет творческий потенциал на поиски принципиально иных парадигм бытия, мышления и художественно-эстетического выражения.

Взгляды Грасса на противоречивость мира и бытия, отношение к свободе, неоднозначная оценка места и роли человека в мире и в обществе формировалась под влиянием философии А. Камю. Грасс, вслед за Камю, определяет абсурд как чувство, возникающее на основе противоречия между человеком и окружающим его миром или, словами Камю, «между актером и декорациями» [2]. Главным знаком абсурда является ощущение человеком своей чужеродности. Принципиальная непознаваемость действительности приравнивается Грассом к крайней степени отчуждения, когда мир кажется абсолютно враждебным. Автор придает этой ситуации не только социальное, но и метафизическое значение.

Герой Грасса – «избранный» одиночка, Сизиф. Позиция автора — «героический пессимизм». Надежды у человека нет, но у него есть внутренняя свобода. По мнению Грасса, мир трагичен только потому, что человек осознаёт свою участь и надежды нет. Грассовский герой ищет и находит свободу в себе самом, в глубинах собственного духа. В «ранних» произведениях Грасса свобода синонимична творчеству. Герой творит свой мир – мир фантазии и искусства, перекладывая его мотивы на реальную действительность.

В пьесе «Злая кухарка» («Die bosen Koche», 1957) Грасс размышляет о роли человека в мире, думает о том, как научиться жить в условиях иррациональности, принципиальной бессмысленности любых начинаний и моральных ориентиров.

Критик М. Юргенсен отмечает: «В театральной пьесе Грасса «Злая кухарка» жизненная позиция действующих лиц выражена через смертельный мефистофелевский танец, символизирующий приготовление пищи» [3]. Главный смысл пьесы заключён в детской песенке, которая многократно повторяется: «Четыре кухарки из домика посадили белые злые цветы, которые зацветут чёрной ночью. Когда люди захотят отдохнуть, кухарки придут и сварят суп. Чёрной ночью сварят белый суп» [4]. Суп – метафора жизни, чёрно-белая символика «кухни существования».

Художественный мир пьесы делится на две части: мир кухни – злые повара, похожие друг на друга, и образ графа, пытающегося противостоять абсурдности существования. Основная интрига пьесы – поиски рецепта таинственного «серого супа», известный только графу. Грасс определил главную проблему пьесы как «принцип преследования и давления на индивидуальность» [5]. Писатель характеризует человеческое поведение как беспринципное и интриганское. «Серый суп» включает в себе не рецепт, а иное мировидение, отличное от общепринятого. Граф заявляет: «Я давно хотел сказать, что я владею рецептом путешествий, знаний, изменений...» [6], но кухарки не слушают его. Они всячески провоцируют графа, чтобы завладеть чудесным рецептом. Вместо того чтобы учиться жить и мыслить по-новому, общество приходит к чужому принципу жизни. Граф называет кухарок «предприимчивой, впитывающей губкой» [7].

Повар Васко, заполучив рецепт «серого супа», понимает, что приготовить второй раз чужой суп ему не удастся, поэтому он покидает кухню. Критик Петер Шпайхер увидел в этом действии параллель с рецептом искусства: «Грасс, надев маску Графа, показывает позицию художника, собственное отношение к искусству. Поэзия противоречит жизненному опыту, так же как и форма зачастую не совпадает с содержанием» [8]. Творчество наследует абсурд, воссоздаёт «драму интеллекта», ясно осознающего бессмысленность мира и мужественно приемлющего свой удел в нем. Подобное «творчество без будущего», когда произведение создают из праха, отдавая себе отчет в его бренности, сродни вне-религиозной аскезе, способной дать человеку свободу и господство над собой.

Тесно связана с категорией абсурда языковая игра. Реплики героев в пьесах Грасса иллюстрируют абсурдно-игровое восприятие действительности, показывающее, что мир выходит за пределы человеческого представления о нем. Действительность устроена таким образом, что не все её события равновероятны. Например, в пьесе «Десять минут до Буффало» («Noch zehn Minuten bis Buffalo», 1954) между героями художником Котшенройтером и скептиком-пастухом Акселем идёт полемика. Котшенройтер пытается объяснить происхождение бытия: «Корова, корабль, профессор, лютик. Всё комплексный обман. Что появилось раньше, корова или пароход? Ты рассматриваешь обстоятельства их появления в силу собственного кругозора. Сначала было судно. Позднее обнаружилась корова. А из стада – игра в шахматы, после построили пирамиды, затем пришла журналистика и с ней железная дорога» [9]. Отсутствие причинно-следственных отношений в репликах героев Грасса приводит к

тому, что каждое событие становится случайным и тем самым равновероятным самым произвольным фактам. Поэтому реакции героев на редкие и обыденные явления могут быть одинаковыми, и даже, наоборот, на обыденные события они могут реагировать с неадекватным изумлением.

Многогранная, искажённая действительность появляется в пьесе Грасса «Наводнение» («Hochwasser», 1955). Действие пьесы происходит в некоем «прошлобудущем», которое подразумевает смешение времён и реальностей. Таким образом, рождается многомирие, многовариантная картинка, порождённая человеческим сознанием.

Символом новой реальности является дом семьи, в пределах которого развиваются основные события. Действующие лица – три поколения. Родители Ной и Бетти – представители прошлого, дочь Ютта и её жених Хенн – настоящее, крыса и дождь – будущее. Ной и Бетти живут воспоминаниями: для Бетти проводником в прошлое является детский рисунок племянника Лео, для Ноя – старинная чернильница. Взаимоотношения Хенна и Ютты строятся на том, что жених хочет знать о своей невесте всё, о чём она думает и что делает. Это граница желаемого и возможного: хотеть, но не мочь. Лишь Ютта живёт настоящим. Только она видит приближающееся ненастье, природную стихию – наводнение: «Трещина сверху и снизу, сверху и снизу, я уже ничего не вижу» [10] – данный монолог – взгляд из заточения.

По мнению М.Г. Анищенко, «монолог в театре абсурда подчёркивает тотальное одиночество персонажа» [11]. В пьесе Грасса «Наводнение» («Hochwasser») разговор героя с самой собой и с надвигающейся стихией связан с ожиданием, которое способно вернуть людям сознание. Наводнение у Грасса является символом реальных событий. Но герои пьесы не хотят учиться у стихии и продолжают жить в своём мире.

В «Наводнении» («Hochwasser») Грасс прибегает к характерному приёму драматургии абсурда: «автор подвергает сомнению слова как признак разумности человеческого существования, нарушает постулат общей памяти, общепринятых и давно известных явлений» [12]. Например, возвращение блудного сына Лео и его приятеля Конго расценивается в семье как вторая катастрофа. Бетти не реагирует на слова племянника и всякий раз засыпает, когда Лео начинает рассказывать о своей жизни. Зато, когда Лео замолкает, Бетти просыпается и, глядя на детскую картинку, мечтает о встрече с племянником. Диалоги между героями лишены смысла и не могут быть поняты. Иначе говоря, процесс общения не является нормальным вследствие нарушения постулата тождества: отправитель и получатель имеют в виду не одну и ту же действительность.

Принцип противоречия является ведущим в пьесах Грасса, выражает абсурдность человеческого существования. М.Г. Анищенко отмечает: «Персонажи драмы абсурда лишь воспроизводят услышанные банальности» [13]. В грассовском «Наводнении» («Hochwasser») отец Ной считает себя писателем и повторяет одну и ту же фразу: «Мои произведения имеют свой смысл. Всё имеет свой смысл» [14]. Реплики в пьесах Грасса – языковая игра. Грасс искажает законы общения между героями, используя намеренное нарушение причинно-следственных связей. Двусмысленность речи указывает на банкротство здравого смысла.

Художественные произведения Грасса интерпретируют искажённый об-

раз мира, с помощью языковой игры отражают его противоречивость, абсурдность. Для этого Грасс нарушает постулаты общения: отсутствие причинно-следственных отношений в диалогах, разговор с неслышащим, «глухим» собеседником, искажение идеи общей памяти. Язык используется Грассом как средство нагнетания «обычных» смыслов с тем, чтобы прорваться в новое, многомерное пространство культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бычков В.В. Эстетика. – М., 2002. – С. 556.
2. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990. – С. 32.
3. M. Jurgensen. Gunter Grass // Akzent. Heft 8. – Munchen., 1963. – S. 231.
4. Grass Gunter. Die bosen Koche // Werkausgabe in 10 Bd. – Bd. 8. – Darmstadt., 1987. – S. 154.
5. Grass Gunter. Materialienbuch. – Darmstadt., 1976. – S. 32.
6. Grass Gunter. Die bosen Koche // Werkausgabe in 10 Bd. – Bd. 8. – Darmstadt., 1987. – S. 174.
7. Ebenda. – S. 176.
8. P. Spycher. Lektion. – Frankfurt., 1980. – S. 19.
9. Grass Gunter. Noch zehn Minuten bis Buffalo // Werkausgabe in 10 Bd. – Bd. 8. – Darmstadt., 1987. – S. 112.
10. Grass Gunter. Hochwasser // Werkausgabe in 10 Bd. – Bd. 8. – Darmstadt., 1987. – S. 165.
11. Анищенко М.Г. Структура диалога в драме абсурда // Идеино-художественное многообразие зарубежной литературы нового и новейшего времени. Часть 7. – М., 2006. – С. 28.
12. Там же. – С. 27.
13. Там же. – С. 29.
14. Grass Gunter. Hochwasser // Werkausgabe in 10 Bd. – Bd. 8. – Darmstadt., 1987. – S. 165.

ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИКЕ И КРИТИКЕ Н.С. ЛЕСКОВА

Н.С. Лесков проявлял постоянный интерес к детской книге как могучему средству воспитания личности в ребенке, пробуждения и развития его ума, нравственного чувства, эмоциональной сферы. Статьи, отзывы, заметки писателя на эту тему появляются в печати, начиная с 1860-х годов, но большая их часть остается не опубликованной и сегодня. В Российском государственном историческом архиве (РГИА) находится 253 рецензии Лескова на 268 народных и детских книг [1], написанные им во время службы в Министерстве народного просвещения (1874-1883). Однако вопрос об отношении Лескова к детской литературе на материале публицистики и критики писателя в целом и архивных отзывов, в частности, специально не изучался. Исключение составляют работы Л.Г. Чудновой, которая обратилась к некоторым из этих материалов в небольшой заметке «Чтоб чувства добрые в читающем рождать» [2] и в предисловии к публикации статьи Лескова «Что читать подросткам?» [3]. Наша задача – продолжить обсуждение данной проблемы, учитывая не только названную публикацию, но и другие малоизвестные статьи писателя, а также отзывы-рецензии, находящиеся в РГИА.

Требования Лескова к детской книге и кругу детского чтения определяются его педагогическими воззрениями, органически связанными с программой нравственного переустройства жизни. «Изменение всего, но вначале всего в самом человеке» [4], – утверждал писатель. Вот почему на протяжении всей своей литературной деятельности Лесков проявлял особое внимание к проблемам воспитания и образования, размышляя над ними и в специальных статьях, и в художественных произведениях. В одной из первых заметок по этому вопросу <«Несколько слов об учителях сельских школ»> он писал: «Первоначальное образование – дело великой важности! Для ребенка оно определяет весь его дальнейший склад мыслей, можно сказать даже, всю его будущность». И выдвигал главную задачу: «... в каждом субъекте следует заботиться прежде всего об образовании *человека* <...> мы тогда только *живем*, когда преследуем в своей жизни известные чистые цели, наши идеалы. И не думайте, чтоб эти идеалы, эти цели, этот закон для жизни были чужды там, где дело касается простого букваря...» [5]. (Курсив Лескова. – Е.Т.). Такое представление о первой школьной книге весьма показательно для концепции детского чтения писателя.

Лесков никогда не смотрел на детское чтение как на простую забаву, развлечение. Детская книга, утверждал писатель в рецензии на роман Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш», «должна не только занять внимание читателя, но и дать какое-нибудь доброе направление его мыслям» [6], способствовать «строению ума и души» [X, 195] ребенка. И это «дело великой важности» не осуществимо без высокого идеала. «Ребенку <...> нужен идеал», – говорит он в той же рецензии и, как правило, в своих отзывах не рекомендует для школьных библиотек книги, которые «не возвышают духа».

Гуманистические идеалы в сознании писателя тесно связаны с христиан-

ской этикой. «По словам Христа, по учению 12 апостолов, по толкованию Льва Николаевича и по совести и разуму, – человек призван помогать человеку в том, в чем тот временно нуждается, и помочь ему стать и идти, дабы он в свою очередь так же помог другому, требующему поддержки и помощи», – писал Н.С. Лесков А.Н. Пешковой-Толиверовой 14 апреля 1888 года [XI, 376]. Именно в активной и «деятельной нравственности» видел писатель смысл жизни и высокое призвание человека. И к ребенку он обращается с теми же призывами. Своей крестнице, Александре Кандибе, он пишет, определяя, по существу, целую программу будущей жизни настоящего человека, его нравственную позицию: «Ты от природы добра, – пишет он, – и пусть это превосходное свойство твоей натуры будет с тобою всегда и неотступно – в горе и в радостях. Пусть мысль и забота о благополучии других всегда смирят в тебе довольство собою и заботу о самой себе, – и, наконец, приведет к самому верному счастью – к умению обходиться без своего личного счастья... Счастье есть любовь к другим, ничего себе не требующая и ничего для себя не ожидающая. Будешь истинно добра, – будешь всегда счастлива...» [7].

Как справедливо заметила Н. Старыгина, Лесков умел говорить с читателем-ребенком о самом важном и сокровенном: о душе, идеале, вере. Высоко оценивал писатель и «добрые» книги на эту тему. В первую очередь здесь следует назвать «Чтение для детей пастора Тодда». (Перевел с английского протоирей Евгений Попов. – СПб., 1875). Лесков считает книгу Тодда подлинно христианской, «одной из приятнейших душеполезных книг»: «она вся исполнена желания растолковать юному читателю: во что, судя здраво, нельзя не верить» [8].

Тема детского чтения рассматривается Лесковым в органической связи с проблемами семьи и школы. Судя по его высказываниям, писатель не представляет детского чтения без чуткого руководства со стороны родителей, понимающих, что они должны в детях «воспитывать, а что искоренять», умеющих оградить ребенка от «всякого материала», который представляет современная журналистика. «вовсе не подходящего и детскому возрасту вовсе не интересного и не нужного» [9]. Отрицательно оценивая в статье «Что читать подросткам?» детскую периодику 1890-х годов, которая, по его мнению, не отвечает своему назначению, он ставит перед детской книгой и журналистикой, задачу воспитания в детях «качеств истинного добротолюбия»: «правдивости, простоты, чистосердечия, искренности» [10].

Требую от пишущих для детей учета возрастных возможностей реципиента, а также занимательности («интересного») сюжета произведения, Лесков в остальном применяет к детской книге те же критерии, что и к большой литературе, в нравственно облагораживающем влиянии которой на человека он уверовал смолоду.

Подходя с теми же мерками к литературе для детей, Лесков требует избавить ее от бессодержательности, беспредметности, от «неразборчивого и вредного вздора» и от «карамели сентиментализма» [11], какими наполнены детские журналы. Он резко выступает против отстранения ребенка от реальной жизни, против «одурманивания» его ложными мещанскими идеалами.

Но его беспокоит и слабость художественного исполнения, невыразительность языка, что весьма важно, так как внимание к вопросам художественной формы в произведениях для детей было совсем не характерно для науки

и критики не только лесковского времени, но и всего XIX и начала XX веков. Традиция игнорирования художественной формы сохранилась и в советском литературоведении. «Основной недостаток подобного подхода», по мысли Т.В. Ковалевой, исследователя детской поэзии, состоит в том, что в книге для подростков «по-прежнему видится лишь некий инструмент идеологического или нравственного воздействия» [12: 4].

Для Лескова, безусловно, книга – могучее средство нравственного воспитания ребенка. И в своих отзывах-рецензиях он рекомендует для детского чтения только те книги, которые «способны принести очевидную пользу детскому умственному развитию или нравственности». Но, по его убеждению, только подлинно художественное произведение может воздействовать на детскую душу и выполнить свою сверхзадачу: «воспитать *человека*» в юном читателе. Он ратует за такие книжки, которые «писаны умом и талантом» [13], что вполне соответствует и сегодняшнему взгляду на детскую литературу.

Не удовлетворенный состоянием детской литературы, писатель предлагает обратиться к классике, «приспосабливая» ее для детского чтения. Уже в 1869 году, в обзоре «Русские общественные заметки» он с одобрением отзывается об издательской деятельности Маврикия Вольфа, обратившегося к выпуску произведений «больших писателей вроде Вальтера Скотта, Купера, Виктора Гюго и др.». И Лесков продолжал: «...вот эти-то *приспособленные к детскому развитию* произведения, писанные большими писателями для взрослых, и составили отдел книг, наиболее удовлетворяющих детские вкусы. Это и понятно, ибо дитя отнюдь не хочет читать о Петеньке и Машеньке, которых оно воочию знает, а хочет читать про Айвенго, про Следопыта и, одним словом, *про больших*, а к тому же эти книжки писаны умом и талантом, а не посредственностью, которая берется за стряпню книг для народа и для детей» (Курсив Лескова. — Е.Т.) [14]. А в начале 1870-х годов писатель и сам обратится к обработке для детей романа В. Гюго «Труженики моря», высоко оценив духовно-нравственный потенциал произведения, из которого «юный читатель может почерпнуть ... образцы высокого духа и достойного подражания характера, очертание которых далеко не часто встречается в детских повестях в такой художественной форме, в какой они являются у Виктора Гюго» [15]. Таким образом, Лесков смотрит на детскую книгу, детское чтение как на «дело великой важности», способствующее, «образованию *человека*», формированию личности в ребенке, его духовному, нравственному, эстетическому становлению. Такой взгляд на сущность и значение детской книги во многом сближался с позицией Белинского, Чернышевского, известных педагогов и писателей того времени (о своем единодушии с Н.И. Пироговым и Л. Толстым Лесков и сам писал не однажды). Он же вдохновил писателя на создание собственных подлинно художественных произведений для детей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Рейсер С.А. Н.С. Лесков и народная книга // Русская литература. — 1990. — № 1. — С. 181.

2. Чуднова Л.Г. «Чтоб чувства добрые в читающем рождать» // Детская литература. — 1979. — № 3. — С. 29-31.

3. «Что читать подросткам?» / Вступительная статья, публикация и комментарии Л.Г. Чудновой // Неизданный Лесков: Литературное наследство:

В 2 книгах. – Т. 101. – Кн. 2. – М., 2000. – С. 105-110.

4. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – М., 1957. – Т. 5. – С. 207. В скобках том и страницы указаны по этому изданию.

5. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. – М., 1998 –Т. 2. – С. 665.

6. Российский государственный исторический архив (РГИА). – Фонд 734. – Оп. 3. – Ед. хр. 162. – Л. 77.

7. Рукописный отдел Пушкинского дома. – Ф 220. – № 38. – Лл. 1-2

8. РГИА. Ф. 734. – Оп. 3. – Ед. хр. 28. – Л. 797, 798.

9. Неизданный Лесков: Литературное наследство: В 2 книгах. – Т. 101. – Кн. 2. – М., 2000. – С. 109.

10. Там же.

11. Там же.

12. Ковалева Т.В. Русская поэзия для детей от Лаврентиз Зизания до Ивана Бунина. – Орел, 2005. – 240 с.

13. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. – М., 2004 – Т. 8. – С. 280.

14. Там же.

15. Трудники моря. Роман Виктора Гюго, приспособленный для детей М. Стебницким. – СПб., 1872. – 441 с. (Вместо предисловия. – С. I-II).

РЕЦЕНЗИЯ

На книгу: «Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика. Стилистика: Избранные труды: Учеб. пособие/ А.М. Пешковский; Сост. и науч. редактор О.В. Никитин. – М.: Высшая школа, 2007. – 800 с., ил. (Серия “Лингвистика XX в.”)»

Замечательный том избранных трудов Александра Матвеевича Пешковского, 130-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2008 году, вышел в издательстве «Высшая школа». Переиздания работ учёного ждали долго² не только исследователи грамматики, специалисты в области методики преподавания русского языка, работники вузов, но и учителя школ, студенчество: достижения научной мысли выдающегося лингвиста и педагога не теряли своей актуальности в XX веке, будут, несомненно, вызывать интерес и в XXI веке. “Русский синтаксис в научном освещении” стал классическим трудом, его широко и активно цитируют в монографиях, диссертациях, дипломных работах, статьях. Не забыт вклад А.М. Пешковского в развитие методики преподавания русского языка в школе, прежде всего его книга “Наш язык”, с методической частью, адресованной учителю, где отстаивается главная задача школьного обучения – дать точные, научные знания о родном языке, развивать речь и языковое чутьё, пользуясь “методом живого наблюдения и индукции, методом развития мыслительных и сенсорных способностей учеников” (с. 46-47). Его выводы актуальны. И все-таки толчком к изданию в этом томе трудов, которые объединены в соответствии с выделенными в названии “Лингвистика. Поэтика. Стилистика” аспектами, послужило составителю и научному редактору доктору филологических наук О.В. Никитину то, что многие работы А.М. Пешковского не переиздавались, оказались по разным причинам труднодоступными и даже забытыми, что о прекрасных гранях дарования замечательного ученого современники знают непростительно мало.

О.В. Никитин и издательство “Высшая школа” выпуском данной книги отдадут дань заслуженного уважения таланту замечательного лингвиста и педагога, показывая, что смена научных парадигм не умаляет достигнутого им. Современному исследователю языка/речи предоставлена возможность ощутить биение творческой мысли А.М. Пешковского при чтении его трудов, оценить дистанции, которые преодолены наукой, в том числе благодаря плодотворным идеям ученого, осмыслить ход истории. Таков дух этой книги, таков ее пафос.

Книга зовет к размышлению, диалогу. Это придает ей качество, которое применительно к человеку назвали бы *открытым характером*. Такое впечатление создается благодаря прекрасно продуманной композиции издания.

В первом разделе наш современник О.В. Никитин разворачивает панораму событий жизни и научно-педагогической деятельности А.М. Пешковского, взвешенно характеризует данный период развития отечественного языкознания, показывает крены идеологической борьбы (см. с. 37-38), не обходит острых углов научной полемики (например, с. 42 – М.М. Бахтин – А.М. Пешковский в 1940-50-е гг.; с. 52-54 – Л.И. Тимофеев – А.М. Пешковский о “новой теории ритма прозы”; с. 40-41 о косвенной речи и др.). О.В. Никитин подчеркивает,

² Последнее переиздание ряда работ ученого было в 1959 г. (Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 1959.).

что время помогло отделить зерна от плевел: “Такой полярный разброс мнений, жестокая, часто несправедливая полемика, с одной стороны, показывают большую ценность и оригинальность выдвинутых А.М. Пешковским идей, с другой – отражают “методологические пороки” того времени, которому была свойственная “передержка” в понимании наследия недавнего прошлого, а реплики вроде “идеалистический шлак”, “контрреволюционная теория о языке” и подобные господствовали в научной печати тех лет. Вместе с тем воззрения А.М. Пешковского вписались в общий характер развития языкознания у нас и на Западе” (с. 39). Справедлив тезис: “Жизненность трудов А.М. Пешковского состоит в том, что они не стали отражением внешних наслоений и не находились под печатью идеологического или же личностного гнета” (с. 15).

Ярко, живо, свободно, с высокой степенью объективности, основанной на глубоком проникновении в тексты трудов ученого, привлекая новые архивные данные, документальные материалы, характеризует составитель и редактор издания в этом разделе систему взглядов А.М. Пешковского (см., например, с. 16-17 – философское письмо М. Волошину о выборе жизненного пути; с. 44-45 – характеристика лексикографической работы ученого; с. 47-50 – показательные примеры методических удач в презентации материала с использованием такого метода обучения, как «живое наблюдение» и т.д.). О.В. Никитин обрисовывает сложную фигуру теоретика и педагога-практика, заинтересованного в решении спорных вопросов, проблем, которые появлялись “на стыке” языковедения и методики; представителя Московской лингвистической школы и знатока европейской практики; логика и поэта, неотделимого от лингвистической эстетики своей эпохи. Голос этой эпохи звучит в поэтических строках М. Волошина и В. Брюсова, которые прекрасно вписались в текст данного издания (см. с. 15, 20-21, 27, 30).

Итак, в первом разделе воссоздан портрет заслуживающей глубокого внимания и уважения языковой личности грамматиста и педагога, исследования которого касаются также семантического пространства языка, поэтики, стилистики, поэтому читатель укрепляется в мысли о том, что “в жизни и трудах ученого есть немало общего: он одинаково долго, не без личных переживаний и раздумий, шел к своей цели в науке и весь жизненный опыт пытался реализовать в педагогическом творчестве...” (с. 14).

Данный очерк О.В. Никитина настраивает на внимательное прочтение работ А.М. Пешковского, представленных *во втором разделе*, в скомпонованных по тематическому принципу частях. Их четыре, и каждая включает ряд различных по объему трудов, раздвигающих представление современной научно-педагогической общественности о диапазоне творческих интересов А.М. Пешковского. Следует отдать должное тому лингвистическому вкусу, с которым статьи в этих частях скомпонованы, благодаря чему выдерживается жанровая установка издания – «учебное пособие».

Наиболее объемной, представительной является первая часть – “Избранные труды по русскому языку и методике преподавания в средней и высшей школе” (с. 61-406). Она открывается полемическим материалом “Противоречия между школьной и научной грамматикой”. Благодаря такому расположению создается необходимый «вектор» в прочтении части, где собраны статьи, в которых А.М. Пешковский отстаивает свое кредо грамматиста и педагога. И в настоящее время преподавателю вуза или учителю школы по-прежнему важ-

но прямо ставить перед собой вопросы, которые поднимал А.М. Пешковский, видеть и не допускать недостатков в обучении, о которых ученый в свое время написал с горечью: "...Школьная грамматика не только *упрощает* факты, как всякая школьная переделка науки, но и *искажает* их, не только умалчивает о том, что недоступно школьному возрасту, но и дает ложные сведения о том, что могло бы быть доступно ему" (с. 61). Осмыслить это положение полезно и применительно к тому, что знания по русскому языку в современной школе проверяются в форме ЕГЭ.

Важно для более глубокого понимания идей ученого включение с данное издание трудов "Синтаксис в школе", "Грамматика в новой школе", "Правописание и грамматика в их взаимоотношениях в школе", где поднимаются сложные и не имевшие однозначного решения вопросы, при освещении которых А.М. Пешковский требовал соблюдения принципа научности, учета исторической изменчивости языка.

В первую часть О.В. Никитиным включены также работы А.М. Пешковского, в которых отражается верность ученого установке на научную точность при передаче знаний учащимся в школах *различных типов*, учащимся разного возраста: "Навыки чтения, письма и устной речи в школах для малограмотных", "Как вести занятия по синтаксису и стилистике в школах для взрослых", "Вопросы изучения языка в семилетке". Как видно, замечательного педагога волновала мысль "о связи языковых знаний с языковыми навыками" в процессе изучения языка, что остается насущным вопросом методики преподавания, актуальным для формирования языковой компетенции личности.

Ценный материал для размышлений и практического использования дают статьи "Глагольность как выразительное средство", "Роль грамматики при обучении стилю", в которых поднимаются по-прежнему злободневные вопросы культуры речи, касающиеся стилистически оправданного/неоправданного употребления форм, предпочтения слова той или иной грамматической природы (глагол или отглагольное имя существительное, например – с. 211), возможности использования грамматических средств языка во имя воздействия на воображение, волю слушателя и возбуждения "в нем эстетических переживаний" (с. 253). Нельзя пройти мимо публикации "Интонация и грамматика", в которой освещена одна из функций интонации – выражение грамматической стороны речи, тонко подмечен подвижный, свободный характер интонационных средств, их особенность *наслаиваться* "сложными прихотливыми узорами на звуковые средства", *блуждать* "по грамматической поверхности языка" (с. 299). В вузе и школе этот материал найдет и сегодня свое применение.

Вторая часть избранных трудов А.М. Пешковского включает статьи по лингвистике из "Литературной энциклопедии" (1925 г.). Прагматика текста такого жанра, как *энциклопедическая статья*, обусловила представление в соответствующих статьях автора ("Грамматика", "Лексема", "Предложение", "Синтаксис", "Слово", "Слово отдельное", "Стилистика", "Стилистическая грамматика") концептуальных положений, отражающих научное кредо А.М. Пешковского. Таковыми, судя по данным статьям, можно считать широкий взгляд на грамматику, осознание *цельности* предмета науки, понимание теснейшей связи синтаксиса и морфологии и выдвигание задачи дать "общее определение предложения, приложимое ко всем языкам человеческим", во имя определения предмета синтаксиса (см. с. 416: "Определение синтаксиса тор-

мозится трудностью определения предложения”), представление *слова отдельного* как “члена речи”, “отрезка предложения”. Этот материал полезен для изучения истории языкознания, и его введение кажется нам вполне оправданным. Его адресат – ученый, аспирант и студент; студенту теоретический материал поможет понять, что ставшие общепринятыми ныне определения вырабатывались в результате напряженной работы мысли нескольких поколений ученых, что развитие этой мысли невозможно остановить. Не в одном только стандартном учебнике надо искать знаний!

Большим достоинством данного издания и несомненной заслугой О.В. Никитина является подготовка третьей части “Язык художественной литературы, поэтика, стилистика”, в которую были включены труды А.М. Пешковского, не переиздававшиеся со времени первой их публикации, а потому ныне оказавшиеся забытыми, между тем как интерес к этой проблематике не угасал никогда. Все работы вызывают живой интерес и увлекают кропотливым, глубоким анализом текстов художественных произведений, строгостью научной статистики (см. скрупулезные подсчеты гласных, согласных, сопоставление по частоте использования тех или иных звуков и т.д. в *Приложении* к работе “Десять тысяч звуков (Опыт звуковой характеристики русского языка как основы для эвфонических исследований)” – с. 470-473).

Становится очевидным, что А.М. Пешковский изучает тексты художественной литературы как речевые произведения, как *звучащую речь*. Показательны своего рода *программная* статья “Стихи и проза с лингвистической точки зрения”, а также основанная на принципах, которые были в ней выдвинуты, следующая, развивающая теоретические позиции А.М. Пешковского аналитическая статья “Ритмика “Стихотворений в прозе” Тургенева”. Они вызвали полемику, и потому интересны. В них, как и в многочастной работе “Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы”, предметом научного внимания явились ритм, благоритмика, мелодия, звуки в их влиянии на благозвучие текста и звуковой символизм, звуковые повторы, а также лексика (как основа образности – тропов) и средства грамматики в их “стилистических возможностях” (затронут вопрос предпочтительного употребления, выбора из возможных стилистических вариантов типа *сделал мне – сделал для меня; пришел и сказал – придя, сказал* и др. – с. 507). В этих трудах А.М. Пешковского разработаны основы анализа и подняты актуальные вопросы, касающиеся “устройства” текста, рассматриваемые в рамках таких современных учебных дисциплин в вузах, как теория текста, филологический анализ текста, лингвистический анализ текста, в курсе стилистики. Это свидетельствует о ценности опубликованной и тем самым возвращенной к активной жизни части научного наследия А.М. Пешковского.

Еще одно достоинство переизданных трудов хотелось бы отметить. История и современность в рецензируемой книге говорят не сухим метаязыком лингвистики. Стиль замечательного лингвиста и педагога может послужить образцом для начинающего исследователя, в нем ощутима та “беспокойная страстность” (с. 28), которую называют в качестве главной черты характера А.М. Пешковского. Увлекает свободное движение его научной мысли: *Таким образом, в разных отделах грамматики приходится этот вопрос решать по-разному, хотя, кажется, кроме надежды, везде применим принцип “от значения к звуку”*. А что с общепедагогической стороны он предпочтительнее, в

этом, конечно, не может быть сомнения (с. 382). Оно подчеркивается характером синтаксических конструкций и отбором форм слов (прежде всего перволичных у глаголов), прямо указывающих на ответственность автора за каждое слово, на верность занимаемой им позиции: *Пишущий эти строки в первом издании своего “Русского синтаксиса” еще стоял на том, что это не двойная терминология, а два разных подхода к одним и тем же фактам, две разные точки зрения* (с. 351); *Во всем «Кавказском пленнике» Л. Толстого я нашел только одну фигуру (сравнение, притом совершенно не развитое) и ни одного тропа (кроме, конечно, языковых)* (с. 511); *Поясню свою мысль конкретно* (с. 513). На отклик и диалог с читателем рассчитаны проблемные вопросы, поставленные А.М. Пешковским в текстах отобранных для переиздания статей: *Необходимы ли грамматические сведения для приобретения правописных навыков?* (с. 159); *Что же дает членение Леонида Гроссмана для моей гипотезы? Но чем же тогда создается эта “лирическая напевность”?* (с. 521-522). В них звучит и призыв к совместному наблюдению (излюбленный методический прием ученого): *Теперь сопоставим с этими 11-ю строками перевод Михайлова: Меркнет вечернее море...* (с. 445) и т. д. Это также создает особую атмосферу для доверительного общения адресанта и адресата, прививает «пешковский», не менторский стиль общения с аудиторией, учит учиться и передавать знания.

Но наиболее ярко диалогичность, открытый характер данной книги (по замыслу составителя и редактора О.В. Никитина, несомненно), проявляется в ее четвертой части “Miscellanea. Вокруг А.М. Пешковского: рецензии и полемика”. Здесь в диалог вступают время и люди... Место в науке А.М. Пешковского и значение его трудов вырисовываются то в лучах оценок рецензентов – известных филологов, современников ученого, то в свете внутренних оценок в ответах-откликах автора на эти рецензии, то в его собственных полемических публикациях. Пересекаются положительные оценки и критические рассуждения об А.М. Пешковском: современный читатель может сделать самостоятельные выводы, получив различную, «не приглаженную» информацию. Это ценно: нет подлинной науки без свободы мнения. Материал способствует формированию целостного впечатления об ученом и его научно-педагогической концепции.

О.В. Никитин поддерживает традиции подобных изданий, помещая в конце книги “Библиографию опубликованных трудов А.М. Пешковского” (с. 796-800), что позволяет представить масштаб деятельности языковеда и педагога, возбуждает к ней интерес.

В заключение еще раз подчеркнем, что большим достоинством книги является широкое использование найденного в архивах документального иллюстративного материала, добросовестная, уважительная подготовка текста, качественное и интересное оформление.

В.В. Леденёва (г. Москва, МГОУ)

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

22 ноября 2007 г. кафедрой современного русского языка Московского государственного областного университета была проведена Всероссийская научная конференция «Русское слово, высказывание, текст: рациональное, эмоциональное, экспрессивное», посвященная 75-летию Заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой современного русского языка МГОУ, академика и вице-президента МАНПО Павла Александровича Леканта.

Этот научный форум собрал единомышленников – представителей одной из развивающихся грамматических школ России, созданной юбиларом, выдающимся лингвистом, неуклонно придерживающимся классического структурно-семантического направления в грамматике, и известных русистов современности, имеющих авторитетные публикации, в числе которых проф. Клобуков Е.В., проф. Химик В.В., проф. Фурашов В.И., проф. Голованевский А.Л. и др., под руководством которых сформировались собственные школы. Участие этих ученых в конференции придало ей определенный вес.

В начале пленарного заседания прозвучало вступительное слово декана факультета русской филологии, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой истории русского языка и общего языкознания МГОУ Льва Феодосьевича Копосова.

В докладе «Грамматика есть грамматика» П.А. Лекант продемонстрировал уважение к научным предшественникам, внимание к языковым фактам, поразил тонкостью наблюдений и глубиной научной мысли. Докладчиком отстаивался главный принцип грамматического учения – приоритет формы. Были раскрыты интереснейшие перспективы исследования грамматики.

Продолжили пленарное заседание доклады докторов наук профессоров В.В. Химики, Т.С. Мониной, Г.Д. Фигуровской.

Проф. Химик В.В. в своем докладе представил ученого Леканта П.А. «как лингвокультурологический дискурс».

В глубоком докладе проф. Мониной Т.С. «Речевая актуализация грамматических значений предложения» было доказано, что законы речевого проявления знака базируются на законах его языкового функционирования, а коммуникативное содержание предложения является результатом эксплицирования сложно организованного механизма, функциональную основу которого составляет взаимодействие языковых и речевых инвариантов.

Проф. Фигуровская Г.Д. в докладе «О классификации второстепенных членов предложения» предложила квалифицировать компоненты предложения с точки зрения семантики, синтаксических связей и способов выражения. В результате применения разных принципов деления членов предложения, комплексного подхода к ним, подчеркнула исследовательница, будет достигнута многоаспектная характеристика членов предложения, которая способна вобрать в себя все, что обнаружено и описано современной синтаксической наукой.

В рамках конференции ученые объединились по научным интересам и осуществили работу по следующим направлениям: «Рациональное и эмоцио-

нальное в русской грамматике», «Слово и словоформа в грамматическом рассмотрении», «Рациональное и эмоциональное в осмыслении языковой личности и русской языковой картины мира», «Русский язык: формы существования, особенности развития», «Текст: реализация рационального и эмоционального», «Рациональное и эмоциональное в передаче различными средствами текста». На секционных заседаниях выступили гости из разных вузов и городов России. Москва, Тула, Уфа, Архангельск, Пенза, Борисоглебск, Таганрог, Йошкар-Ола, Мичуринск, Елец, Ульяновск, Саранск, Рязань, Екатеринбург, Смоленск, Саратов, Ярославль, Владимир, Санкт-Петербург, Тамбов, Орехово-Зуево, Петропавловск-Камчатский, Брянск – вот неполная география прошедшей конференции. Вниманию аудитории было предложено более 60 докладов и сообщений, в которых освещались частные и общие вопросы, насущные проблемы русистики и которые вызвали большой интерес, активно обсуждались, что свидетельствует об их актуальности. Следует отметить высокий уровень предъявленных научных изысканий, их интересную проблематику, сопряженную с идеями, представленными в трудах П.А. Леканта.

На заключительном пленарном заседании выступили доктора филологических наук профессор Фурашов В.И., Маркелова Т.В., Чернова С.В.

Проф. Фурашов В.И. отстаивал вполне достаточный для раскрытия многозначных членов предложения термин «синкретичный член предложения» в докладе «О так называемой многозначности членов предложения».

В докладе проф. Маркеловой Т.В. «Аксиология русской языковой личности в пространстве современной лингвистики» доказывался тезис о том, что аксиология русской языковой личности представляет собой совокупность всех элементов общей ценностной иерархии индивидуального или коллективного сознания, репрезентируемых лингвистическими единицами различных уровней языка в их взаимодействии: лексическим, фразеологическим, словообразовательным, синтаксическим.

«Язык эмоций и чувств (на материале рассказа Ю. Казакова «Отход»)» – тема доклада проф. Черновой С. В. Автором выявлены различные языковые средства выражения эмоций и чувств – лексические, синтаксические, стилистические.

Активно участвовали в работе конференции преподаватели кафедры современного русского языка МГОУ: к. ф. н. доц. Л.А. Марченкова, к. ф. н. доц. Н.Б. Самсонов, к. ф. н. доц. Г.В. Кузнецова, к. ф. н. доц. Н.Ф. Ермакова, к. ф. н. доц. Т.Г. Крапотина, к. ф. н. ст. преп. Е.Н.Топтыгина, аспиранты и докторанты кафедры.

Участники конференции выразили глубокую благодарность ее организаторам: декану факультета русской филологии д. ф. н. проф. Копосову, оргкомитету конференции, в который вошли д. ф. н. проф. Леденева В. В., д. ф. н. проф. Герасименко Н. А., д. ф. н. проф. Шаповалова Т. Е., к. ф. н. доц. М. В. Дегтярева, к. ф. н. доц. Канафьева А. В., к. ф. н. доц. Тихонова В. В., членам кафедры современного русского языка, подарившим всем участникам тепло и внимание.

Т. Е. Шаповалова

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Для публикации научных работ в выпуске серии «Русская филология» «Вестника МГОУ» принимаются статьи на русском языке с аннотацией на русском и английском языках. При этом публикуются научные материалы преимущественно докторов и кандидатов наук, докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов.
2. Объем статьи – не более 16 тысяч знаков.
3. Необходимо сдать дискету с электронным вариантом и распечатку на бумажном носителе (1 экземпляр). В материалы следует включить сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы или учебы (должность), ученая степень, ученое звание, домашний адрес, контактный телефон. К материалам аспирантов и докторантов приложить отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендацию кафедры, на которой выполняется работа.
4. Текст статьи оформляется в соответствии со следующими требованиями: 1) текстовый редактор Microsoft Word for Windows; 2) межстрочный интервал–1, 5; 3) верхнее поле–2 см, нижнее–3 см, левое–3 см, правое – 1,5 см; 4) шрифт Times New Roman; 5) кегль–14; 6) страницы не нумеруются; 7) выравнивание по ширине; 8) перенос не задается.
5. Иллюстративный материал (слова, словосочетания, предложения) печатается курсивом без **кавычек**; семантика языковых единиц печатается обычным шрифтом и выделяется ‘английскими кавычками’: Речь. ‘Способность говорить, говорение’; дефиниция слова, взятая из словаря, должна быть паспортизирована последующей ссылкой на словарь в примечаниях.
6. На первой строке у правого поля полужирным курсивом печатаются **сначала инициалы**, затем фамилия автора. Через строку по центру–название статьи прописными буквами полужирным шрифтом. Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных скобках. **Концевые сноски исключаются**. В конце статьи через строку прописными буквами полужирным шрифтом пишется **ПРИМЕЧАНИЯ**.
7. Редакционная коллегия оставляет за собой право не рассматривать материалы, оформленные без учета перечисленных требований. Присланные материалы не возвращаются. В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.

Ответственный редактор серии «Русская филология»—доктор филологических наук профессор *Лекант Павел Александрович*, **зам. отв. редактора**—доктор филологических наук профессор *Шаповалова Татьяна Егоровна*.

Адрес редколлегии серии «Русская филология» «Вестника МГОУ»: 107005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 21-а, МГОУ, комн. 105. Телефон (495) 265-08-07.

ВЕСТНИК
Московского государственного
областного университета

Серия
«Русская филология»

№ 4

Подписано в печать: 22.01.2008.
Формат бумаги 60x86 /₈. Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBookC».
Уч. — изд. л. 14,25. Усл. п. л. 13. Тираж 500 экз. Заказ № 4.

Издательство МГОУ
105005, г. Москва, Радио, д. 10а.